

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ 1 1999

В НОМЕРЕ
ЛЕВ АННИНСКИЙ
А. БЕЛОВ
ИГОРЬ ГУБЕРМАН
АВИ ДАН
ВЛАДИМИР ДРУК
ЕВГЕНИЯ ЗАВЕЛЬСКАЯ
ЕЛЕНА ИГНАТОВА
ВИТА ИОФФЕ
ГРИГОРИЙ КАНОВИЧ
АРНОЛЬД КАШТАНОВ
ЮЛИЙ КИМ
ИГОРЬ КОГАН
ХАВА-БРОХА КОРЗАКОВА
ЕЛЕНА КОСОНОВСКАЯ
ЛЕОНИД ЛЕВИНЗОН
ВЕНИАМИН КЛЕЦЕЛЬ
АЛЕКСАНДР ОКУНЬ
НАТАЛЬЯ РУБИНШТЕЙН
ВЛАДИМИР ФРОМЕР
АВИГДОР
ШАХАН

N1



JERUSALEM REVIEW

ישראלית רב-צדדית

99' 1

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ



И Е Р У С А Л И М

1999

Иерусалимский Журнал

1, 1999

Литературно-художественное периодическое издание

Виртуальный вариант в Интернете: **www.antho.net/L**

Союз израильских русскоязычных писателей

Творческое объединение "Иерусалимская антология"

Редколлегия:

Игорь Бяльский (главный редактор), Семен Гринберг,
Зинаида Палванова, Дина Рубина, Роман Тименчик,
Светлана Шенбрунн.

Ответственный секретарь - Леонид Левинзон.

Художник - Сусанна Чернобова.

Компьютерный макет - Елена Косоновская.

Корректор - Бина Смехова.

Издательство ЛИРА.

Издательство "Скопус".

При поддержке Министерства абсорбции, Центра интеграции репатриантов – деятелей литературы и искусства, Отдела культуры и Управления абсорбции Иерусалимского муниципалитета и Сионистского Форума.

Copyright © "Иерусалимский журнал" 1999 All rights reserved.

Авторские права на публикуемые произведения принадлежат их авторам.

ISBN 965-7129-01-X

Адрес редакции: **Jerusalem Review**, P. O. Box 32297

Jerusalem 91322

E-mail: **review@antho.net**

Тел.: 972-2-6720025; 972-2-6434005, факс: 972-2-6720025

Представитель "Иерусалимского журнала" в Москве –

Игорь Меламед. Москва 119048, Хамовнический вал 24 кв. 116.

Тел. 095-2427042

Представитель "Иерусалимского журнала" в Санкт-Петербурге –

Ольга Крупень. 191186, Санкт-Петербург, ул.Казанская, дом 5.

Тел.: (812) 312-54-65 и (812) 311-60-09.

Представитель "Иерусалимского журнала" в Нью-Йорке –

Андрей Грицман. Andrey Gritsman, 1590 Anderson Ave., #16A Fort Lee NJ 07024 USA.

Phone: 201-346-1090 home 201-447-8246 office

E-mail: agritsman@worldnet.att.net; agritsm@valleyhealth.com

Представитель "Иерусалимского журнала" в Чикаго –

Александр Блинштейн. Alexander Blinstein, 5157 Jarvis, Skokie IL 60077 USA.

Уважаемые читатели!

Не тратя слов и страниц на манифесты, мы предлагаем вашему вниманию первый номер "Иерусалимского журнала".

В ближайших номерах журнала, который, в основном, посвящен современной израильской литературе на русском языке, читайте прозу Марка Зайчика, Лорины Дымовой, Феликса Кривина, Дины Рубиной, новые переводы Шая Агнона, стихи Елены Аксельрод, Марка Вейцмана, Беллы Верниковой, Риты Бальминой, Аси Векслер, Геннадия Беззубова, Семена Гринберга, Петра Межурицкого, "Песнь Песней" в переводе Бориса Камянова и произведения других авторов.

Игорь Бялский

ЛЬВИНЫЕ ВОРОТА

Ави Дан

БИБЛИОТЕКА НИЧЕЙНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

BAGATELLE

Эвксинский понт, понтовый океан,
Игрушечный, со скуки новогодней
Я был тогда не то чтоб слишком пьян,
А просто мелким бесом обуян
(Хотя и не якшаюсь с преисподней),
Глядел туда, где Солнце – гаврский франт –
Подельниками вздернут был на рее
С одной лишь мыслью: восемь лет назад
Он зря лечил себя от гонореи.
Какого черта!

Взглянешь вдругорядь
На сонный лик своей полуевропы
И висельников станешь понимать.
(Читатель, верно, ждет уж рифмы розы...
Но не дождется). Скука в несезон
Диктует слог. Ямбическая сила,
Которую успел воспеть Назон,
Пока его кондрашка нехватила,
Куда-то вверх и вбок меня ведет,
На том еще конце ломая Cellcom.
Она как друг: уж если продает,
То никогда – по сниженным расценкам.

"Мы будем жить у моря. Будем жить
У моря", – застучит речитативом.
Волнуясь, твой след перебежит
Волна. Зане – спасительным спасибом
Отделаться, не сетуя ни на
Судьбу, ни на судебники Китая,
Все лучше, чем татарская Луна,
Качающая чайкино со сна
На полдороге к Ялте "пейдодна",
Как медленные души, отлетая.

1998

Поднимает глаза свои Вий,
Вопреки твоему кукареку.
Не предай. Не наплюй. Не убий.
С глаз долой. Человек человеку.

Как тянул ты, по капле дробя,
Злое пойло из мелкой посуды!
Разве смерти я предал тебя
За лихие твои самосуды?

Разве губы мои не мертвы
Прошептать перед смертью навывнос
За избыток спасибо судьбы?
Даже слишком ее получилось.

Разве мертвым сумеешь помочь,
Что и так до конца доволынишь?
Только я, брат, и сам не охоч
До заплеванной сцены судилищ.

Нас ведь тоже сочтут загодя,
Потакая крикливым харонам,
Когда мы похороним тебя.
Если мы тебя, век, похороним...

1997

* * *

А я тобою не любим.
Бог нелюдим и мир безлюден.
Мы есть. Мы рядышком сидим.
И скоро, видимо, не будем.

На заповедные холмы
Садятся ангелы несмело.
Как заколдованные мы
Среди Иудина удела.

Вот мимо нас они идут,
Заваливаясь, как с похмелья.
И крылья следом волокут,
На мокрый снег роняя перья.

Так и моя забудет плоть,
Душой скорбя и холодея,
Вести свою простигосподь
От твоего азохенвея.

Я тоже с небом был на ты,
Заподлицо, запанибрата.
И лили светы с высоты
Любви взыскующие грады.

А нынче небо – решето.
Ночь рваным ситом затянуло.
Я пил не с теми и не то.
И мне уже не встать со стула.
И не осталось не на грош
Тоски по городу поминок,
Где я топтал стопы подошв:
Всей пыли не собрать с ботинок.

И мне уже не отогреть
Всех твоих ангелов, Иуда.
Которым некуда лететь.
И неоткуда.

1998

БЕЗ НАЗВАНИЯ

1

Когда от нас с тобой не останется даже пыли,
Когда забудут язык, на котором мы с тобой говорили,
И человек, различая Бога в толпе имен,
Мерю всех вещей станет в конце времен;

Когда нам не быть и пылью в глазах бытия-зазнайки,
Когда за постелью вовсе отменят в лесах дензнаки
И сеньора Осень постелит, да жестко спать,
В будущем вне истории, в местности нам подстать;

Когда за и нам деревьями станет не видно леса
Кладбища, крошки мраморной, камня его, железа,
Но, как уходят из дому, подняв воротник пальто,
Сами случимся городом, где не живет никто.

2

Я знаю: никто не откроет для нас ворота
Туда, где кружатся ангелы с лицами идиота.
Мы говорим: их штербе. И отыскать зело
Трудно средь звездной мороки поставивших на зеро.

И где мы вольны не в горницу чью-нито вплыть закатом,
Не различая в голосе прошлого знать за кадром,
Но меж себя глаголая, между мильард лампад,
Что как попало по небу наскоро невпопад.

Впрочем, когда бессмертие, в горле слова убиты.
Больше рядиться незачем в люди и пирамиды.
Но, как Харон не в силах ни сбросить ни сжечь весла,
Жизнь не бывает прожита, бо ее несть числа.

1998

Елена Игнатова

ПЕДИВЕР

Правдивый рассказ о том, как некий рыцарь Педивер обманом обезглавил жену свою, как принял он обет искупить вину, странствовал, прибыл к папе римскому и как, раскаявшись, окончил дни в сем грешном мире.

Есть литературные произведения с судьбой скитальца. Так же, как порою человек не может найти себе пристанища и повсюду, куда ни пришел, воспринимается чужаком, так, бывает, какой-нибудь рассказ или повесть никак не может "улучься" под обложкой журнала с произведениями других авторов. То ли тема не ко двору, то ли герои вообще "не из той оперы". Редактор-составитель и так и сяк раскладывает литературный пасьянс, пытаясь пристроить неудобного постояльца в тот или иной раздел альманаха, как-то "увязать", объединить по направлению... Все тщетно: абсолютным особняком стоит такое литературное произведение, "торчит" макушка из любого раздела, "высовываются пятки" из любого круга тем.

Таков рассказ Елены Игнатовой.

Написанный давно, много лет назад, он кочевал из одной редакции в другую, путешествовал по разным странам, не находя пристанища, пока не приплыл в наш журнал.

"При чем тут рыцарская тема?" – спросил один из нас. "И какой-то странный поворот сюжета", – пожал плечами другой... "Но написано прекрасно, – заметил третий. – И разве это не наша цель: представить талантливых писателей разных направлений, разных тем, разных стилей, живущих и работающих в Иерусалиме?"

И мы единодушно решили опубликовать рассказ Елены Игнатовой.

Посвящается феминисткам

Глава первая

К зениту июньского дня в лесу устоялся сладкий запах цветения. В зарослях калины, теснившихся по сторонам дороги, гудело великое множество пчел. По этой дороге медленно ехал рыцарь в темных, покрытых пылью доспехах. Конь, не подгоняемый всадником, шел трусцой; поводья были приспущены. Вдруг прямо перед ним промелькнула, взрывая пыль, змея. Конь встал. Всадник оставался безучастен.

Ему невольно было в горячих доспехах. Тело леди Хелависсы сползало и давило на спину; локоны ее, завязанные вокруг шеи рыцаря, спутались, жесткий завиток упрямо лез ему в рот.

— Добро, Педивер, ты поступил по чести. Все сделал, как следует... — размышлял рыцарь. — Что скажешь, Хелависса? Ты ведь мастерица врать, а?

Но Хелависса не отвечала. Рот ее был сомкнут в безразличной усмешке. Голова при неровном ходе коня постукивала о его панцирь, на корке запекшейся крови еще выступала вязкая жижа и изредка капала наземь.

Мысли рыцаря тянулись дальше.

— Как не дивиться помощи Божьей? За кого Бог стоит, тот всех одолеет — истинная правда! А что выше честного права супруга?..

Тут и Ланселот, буйвол, не страшен ничем!

Букашка забралась под доспехи, медленно сползала по шее, по груди. Наконец попала в стружку пота и поплыла к животу. Сэр Педивер почувствовал зуд и снова затуманился.

— Как он налетел! "Дама, дама! Кровь дамы... позор!" Навертели премудростей эти Артуровы рыцари, делай все по-ихнему!.. Какой позор?

Дорога свернула под гору. Тело леди Хелависсы упрямо крепилось набок. Маленькая рука с кружевами на запястье качалась возле бедра Педивера. Пальцы сведены судорогой.

— Нет, — вскричал он, усаживая ее прямо, — я поступил по чести! А что ты померла без покаяния, так тому Ланселот виной!

Но пока наш рыцарь странствует в бриттских лесах, оставляя в дорожной пыли черные пятна, пока душа его движется по кругам сомнений, а тело преет в доспехах, посвятим читателя в его историю.

Сэр Педивер жил на окраине владений славного короля Артура. Он совсем не помнил отца, и мать умерла рано. О ней у Педивера сохранилось только одно воспоминание: его лицо вжато в мокрый, глубокий мех, так что нечем дышать, а жесткая рука матери тянет его за волосы. Это было, когда его нашли на Заклятом болоте, и она едва не задушила его от радости, закутывая в плащ. Кислый запах меха, сильные пальцы — а лицо в памяти почти стерто, голос забыт.

Зато он крепко запомнил ту, которую видел на болоте. Она стояла у черного озера с неподвижной водой. Это она заклятьем и чарами вызвала его на исходе ночи из дому, так что он не просыпаясь добежал до Заклятого болота, до озера, не отражавшего неба. Высокая дама с блеклым, словно сотканным из тумана лицом, с волосами легкими, как паутина. На голове — жемчужная сетка, тусклым жемчугом отливали глаза. Она поманила, и он пошел по топкому мху, попадая в ее следы. Вода в следах была ледяной, холоднее болотной. Дама оборачивалась, кивала, мальчик

спешил, засыпая на ходу, тянул к ней руки. Он ничего не видел и не слышал, пока не выскочил вдруг рыжий зверь и не сбил его с ног.

Педивер упал в воду, закричал и проснулся. Пар поднимался из узких, острых следов, ведущих в топь. Ключья белого мха свисали с засохшего куста. Дама исчезла.

Он с плачем побежал на голоса, его подхватили, отнесли к матери, и ее грубые руки заворачивали его в рыжий мех, так что нечем стало дышать. Кислый запах сырого меха, жесткие пальцы, смазывающие маслом его ссадины – вот и вся память о матери.

От родителей к Педиверу перешли большие угодья, дом и челядь, житницы и погреба. Он с отрочества постигал военное искусство, а у монаха тщился постичь премудрость благочестия. Но добрый монах ушел поклониться Гробу Господню, и больше его в наших краях не видели.

Достигнув зрелости, сэр Педивер обнаружил буйную силу, упрямый нрав и неповоротливый ум. Однажды случилось ему принять в доме девицу, бежавшую от злого великана. Педивер и великанова девица полюбили друг друга. Она была веселого нрава, умела складывать песни о рыцарских подвигах и втихомолку ворожила. Услаждая его тело, она услаждала и душу историями о славной жизни короля Артура и его двора. У Педивера дух захватывало от этих рассказов. Более всего хотелось ему побывать в Камелоте и пожить той жизнью. Но никто из рыцарей Артура не появлялся в их краях, а самому ехать незванным было боязно. К тому же великанова девица сомневалась, что в столь блестящем обществе он придется ко двору, и всячески отклоняла его от путешествия. Они вместе разъезжали по его полям, охотились, по вечерам он слушал ее рассказы и ничего лучшего не желал.

Но однажды все переменялось. В первый день майского турнира рыцарь Педивер одолел в поединках двух противников и под крики толпы удалился с ристалища. Он остановился у поля, ожидая слугу, чтобы спешиться. Тут из-за кустов бузины послышались голоса. Спорили женщины.

– А славно бился нынче молодой Педивер! – говорил старушечий голос.

– Да. Но все же где ему до Артуровых рыцарей! – возразил другой.

– Ах, Хелависса, у тебя одно на уме! Наши молодые люди не хуже. Как он хорош, ловок, какие богатые доспехи! Хоть сейчас в Зачарованный лес!

– Простите, матушка, но и он, и другие храбрецы хороши только для наших глухих мест.

Старуха зашипела, как дракон, пораженный святым Георгием.

– Не смей спорить со мной!

Сэр Педивер приподнялся на стременах, заглядывая через кустарник. В тени дерева расположилось семейство. Старая дама со сморщенным сердитым лицом сидела на ковровой скамеечке. У ее ног дремал ребенок. Девушка стояла поодаль, полуобернувшись к полю. Педивер увидел стройный стан и светлые волосы, схваченные жемчужной сеткой.

Рыцарю хотелось получше разглядеть ее, и он приподнялся повыше. Подпруга поползла на сторону, конь беспокойно переступил ногами, и Педивер едва не свалился в кусты. Девушка обернулась.

Широкие синие глаза, нахмуренные брови и странно яркий на бледном лице рот. Такой он увидел ее. Домой сэр Педивер возвращался в задумчивости. В сердце ему запал запах цветущей бузины.

Вскоре он посватался к леди Хелависсе, и дело сладилось. Свадьбу назначили на конец лета. В доме шли приготовления, и в дар будущей хозяйке издалека привезли ларец кипарисового дерева, а великанова девушка покинула Педиверову усадьбу. Ее выпроводили не с пустыми руками, но ее проклятья неверному рыцарю были еще щедрее. Однако Педивер и думать забыл о ней.

Под осень, когда воздух стал хмельным и прозрачным, молодая жена вошла в его дом. И они зажили: не хорошо – не плохо, не весело – не скучно... Педивер приглядывался к жене и находил то, чего хотел: Хелависса была спокойна, тиха, разумна. Он не был говоруном, и она стала молчалиницей. Поначалу она несколько раз заговаривала, не отправиться ли ему со временем ко двору славного короля Артура, но Педивер не имел к тому охоты, и она отступилась. Редко кто из соседей заглядывал к ним. Педивер и прежде был нелюдимым, а теперь, затворясь в доме с женою, вовсе не желал видеть гостей. Страсть его была неизменна, и вскоре он стал леди Хелависсе в тягость.

Втайне она горевала, что супруг ее не хочет искать рыцарских подвигов, а доспехи словно в насмешку надевает, разъезжая по своим полям и деревенькам. Вместо героя она получила в мужа увальня, вместо рыцаря – грубого мужика.

Педивер не знал этого. Он мнил, что жизнь устроилась ладно и в полном согласии с женою. Так они перезимовали, продремали, проговорили, провздыхали – до первой травы, до весеннего солнца. До появления в усадьбе сэра Лакота, сводного брата Хелависсы.

Некогда они с сестрой росли вместе, но уже несколько лет рыцарь Лакот пребывал в Камелоте, служа славному королю. Когда он вернулся в их края и заехал в дом нового родича, Педивер немало обрадовался. Он принял гостя с подобающей честью и проводил до его владений. С тех пор сэр Лакот нередко заезжал к шурину.

В такие дни Хелависса испрашивала позволения сидеть допоздна и слушать его рассказы. И сам Педивер внимал им с жадностью. Он немного робел перед сэром Лакотом, хотя тот с виду был похлипче его. Однако у Лакота была слава победы над Синим рыцарем и спасение трех непорочных девиц. Он мерился силой с самим сэром Бомейном!

Педивер и Хелависса за полночь засиживались в зале, у огромного камина, внимая Лакоту. Хелависса на глазах хорошела, смеялась, любопытствовала, какие кружева носит королева Гвиневра и все ли любит Ланселота Озерного. Сэр Лакот охотно отвечал на расспросы и дарил сестре кружева, привезенные из Камелота.

Педивера история королевы и Ланселота и смущала, и забавляла безмерно. Он только не мог взять в толк, отчего король до сих пор не снес жене голову или не изгнал ее. Сэр Лакот пробовал толковать о страсти, о любовном зелье, о Прекрасной даме, но Педивер при этом только гоготал и подмигивал. И рыцарь в негодовании смолкал. А красивое лицо леди Хелависсы бледнело от гнева и стыда. После таких размолвок сэр Лакот не появлялся в их усадьбе несколько дней, затем Педивер сам отправлялся за ним. К сокрушению Хелависсы он при этом облачался в доспехи. "Молчи, Хелависса, надо ему знать, что мы тоже не лыком шиты, не хуже других", – бурчал Педивер, взгромоздясь на коня и прилаживая меч.

В тот день они вернулись поздно. Стол был накрыт, и Хелависса тревожилась, что жаркое пересохнет, а хлеб остынет. Педивер, кичась своими доспехами, не снял панциря, на груди Хелависсы красовалось кружево, подаренное братом. Но все же сэр Лакот, в простой суконной одежде, казался Педиверу наряднее, чем они. Он как-то по-особому носил плащ, а платье было ловко пригнано, подчеркивая статность, силу и гибкость его тела. Он был похож на Хелависсу синевой глаз и светлыми кудрями.

После ужина, просьб сестры и поощрительного мычания Педивера, он начал рассказ. Сегодня Лакот повествовал о своем поединке у Проклятого замка. Он говорил все горячее, шрам у него на лице наливался кровью. Вдруг он захрипел, голова его страшно задергалась. Испуганный Педивер напоил его вином, Лакот затих, но взгляд его был бессмысленным, как у младенца.

Хелависса заплакала от жалости.

Наконец, сэр Лакот пришел в себя и сказал, что такое времянами приключается с ним после поединка с великаном у Проклятого замка. Он продолжал говорить о поединке, Хелависса слушала вроде бы спокойно, но слезы текли по ее лицу. Приободрившийся Педивер выбралил жену: женщинам не стоит слушать о славных делах, они трусливее овец. Пусть она идет в свою

спальню. Она не уходила, а все так же глупо плакала, не сводя глаз с Лакота, и тем рассердила мужа как никогда.

Но едва он приподнялся, рука Лакота легла ему на плечо и вернула на место. Брат сказал, что если Педивер удалит жену, он тотчас же отъедет со двора, ибо внимание, волнение и похвала дамы – лучшая награда для рыцаря. Педиверу пришлось по душе, как ловко шурин это сказал, и Хелависсе дозволено было остаться.

Лакот все рассказывал, но Педивер сильно опьянел и последнее, что помнил, как тот пел: "Сильна любовь Тристана и Изольды и смерть не разрушит ее", – потом заснул. Когда Лакот растолкал его, дрова в камине догорели, а Хелависсы за столом уже не было. Педивер проводил гостя до его покоя, а сам, не добравшись до спальни, свалился в галерее среди мешков и корзин.

Под утро его стал душить дьявол. Педивер в страхе проснулся и огляделся. Он не мог вспомнить, что с ним приключилось, хотел освободиться от холодного, скользкого от росы панциря, но руки не слушались.

Вдруг скрипнула дверь сэра Лакота, и в его покои скользнула какая-то тень. Засов изнутри тихо задвинули. Сон Педивера как рукой сняло. Он таращился на дверь, словно желая проникать ее насквозь, и почему-то не мог сдерживать дрожи. Поднялся, прошел к себе, опоясался мечом, надел шлем... Все это он проделывал, не замечая, как бесшумно ступает и движется. Вернулся и опять сел между корзин и мешков. Он не отрывал взгляда от двери и не понимал, почему его трясет, чем он так напуган.

Дверь отворялась медленно и беззвучно, как ему случалось видеть во сне. И так же медленно в размытой белой фигуре на пороге проступали черты Хелависсы. Хелависсы в рубахе до пят, с распущенными, спутавшимися волосами. Она внимательно оглядела свои обнаженные руки, улыбнулась, подняла глаза.

Рыцарь возопил от всей боли сердечной и хватил кулаком по мешку. Мешок лопнул. Педивер никак не мог подняться, барахтался среди проклятого хлама.

Леди Хелависса застыла на миг, не видя, не слыша, не узнавая... И без крика прыгнула вперед. Она мчалась по галерее, и рубаха крылом билась за ее спиной. Педивер наконец вскочил, испугав корзины. Под его ногами трещали рассыпавшиеся бобы. Он бросился за женой, но на бегу успел задвинуть наружный засов на двери благородного сэра Лакота.

Хелависса бежала через двор. В это время пастух выводил из конюшни лошадей. Женщина вскочила на коня и вылетела за ворота, едва не сшибив полусонного парня. Почти сразу за нею с ревом проскакал господин. Пастух, разинув рот, застыл.

Хелависса летела по белому от росы лугу, конь Педивера тяжело топотал следом. Ни одной мысли не было в голове всадника, все сошлось на том, чтобы схватить ее проклятую рубаху, сдернуть, изодрать в клочья.

Он все не мог нагнать жену. Наконец, настиг и взвыл, подавшись вперед, ловя холстину и светлые пряди волос...

Страшный удар в бок. Он скатился с коня, чудом избежав копыт. В глазах почернело. Он не почувствовал, как ударился оземь, но затылок расклинило болью. "Зарубили!" – понял.

Зрение медленно возвращалось. Педивер увидел над собою всадника в светлых доспехах. Тот держал копьё наперевес.

– Подымись, негодяй! – грянуло сверху.

Он пошевелился и снова замер, словно разглядывая стремяна и поножи рыцаря. Всадник потолкал его древком копья. Педивер с усилием приподнялся в мокрой траве и увидел пестрый щит рыцаря. Он сразу узнал его по рассказам – щит Ланселота Озерного. Поодаль на земле сидела Хелависса и лила слезы.

Педивер со стоном повалился навзничь. Зажмурился, и соленая вода полилась из глаз, стекая по щекам, обжигая кожу.

– Нечестивец... – прорывался сквозь плену голос жены, – за брата... Как не почитать и не любить брата?

– Как не почитать и не любить брата! – громовым голосом воскликнул сэр Ланселот и снова ткнул Педивера древком.

– Ревнивец! – лепетала Хелависса, – он убьет меня, ибо он безжалостен...

– О, ревнивец! – грянул Ланселот.

Конь Педивера испуганно всхрапнул.

– Подымайся!

Но Педивер не мог встать. Тогда Ланселот и Хелависса подняли его и взгромоздили на коня. Леди, дрожа в сырой рубахе, ехала рядом с Ланселотом, держась поодаль от мужа.

Педивер, похожий на грубого глиняного идола, кренился, едва держась на коне. Он был туп и бесчувственен, пока не заломило в ушибленном боку, но боль сделала его зорче. Он увидел, что Хелависса глаз не сводит с Ланселота. Тот же, глубоко задумавшись, глядел перед собой.

– О, рыцарь, вам я обязана избавлением от злой смерти, – робко сказала она. – Назовитесь, чтобы мне знать, за кого молить Бога.

– Я зовусь Ланселот Озерный.

От восторга у нее перехватило дыхание. Немного погодя она опять начала расспросы:

– Сэр Ланселот! Не собирается ли в наши края славный король Артур со своим двором?

– Не ведаю, благородная дама, – кратко отвечал тот.

– А наша королева Гвиневера в добром ли здравии? – продолжала Хелависса, пристально глядя на Ланселота.

– Гвиневера? – откликнулся герой со смутной улыбкой. – О, Гвиневера благоденствует!

– Как бы я желала хоть раз увидеть королеву Гвиневеру, – сказала Хелависса, и на лице ее появилась та же смутная улыбка. Они смолкли.

И тут Педивер все вспомнил. И про любовное зелье, и про Ланселота с блудницей Гвиневерой... Жгучая злоба придала ему силы. Он завозился и поднял голову под презрительным взглядом жены.

– Сэр Ланселот, обернитесь, – сказал Педивер, не узнавая своего хриплого голоса, – поглядите, нам вдогонку скачут три рыцаря!

Ланселот удивленно глядел на него.

– Там, там... – Педивер указывал назад здоровой рукой. Ланселот быстро перехватил копьё, разворачивая коня. Леди Хелависса обернулась и тотчас остро, испуганно взглянула на мужа. А тот, вмиг собравшись и напружинясь, вырвал меч из ножен. Хелависса отпрянула, багровое лезвие свистнуло ей в уши... И голова покатилась в траву.

.....

Ланселот впал в ярость. Лицо его страшно перекосилось, рука вцепилась в конскую гриву. Конь дернулся и ступил копытом в кровь. Ланселот жестоко осадил его, не отрывая взгляда от затылка леди Хелависсы, залитых кровью волос.

– Предатель! Ты опозорил меня навеки! – вскричал рыцарь.

Педивер снова застыл – грубый глиняный идол.

– Я убью тебя, как собаку! Защищайся! – проревел Ланселот, ударив его в плечо. Негодяй медленно сполз с коня и остановился возле тела леди Хелависсы. Тогда и Ланселот спешился. Он изготовился к поединку. Но негодяй будто не замечал его. Ланселот снова ударил его. Педивер покачнулся и осел наземь.

– Что это за червь? – с отвращением подумал Ланселот. – Убить его – и то позор.

– Ты недостойн искупить злодейство в честном поединке, убийца женщины! Кто воздаст тебе за твою мерзость? – воскликнул сэр Ланселот. Педивер уткнулся головой в траву. Только шумное сопение указывало, что он жив.

– О, конечно, госпожа моя, она мудра! Слушай же ты, опозоривший имя рыцаря! Ты возьмешь останки жены, и нигде не задерживаясь в пути, отправишься в Камелот. Пусть королева решит, как поступить с тобою... Подымись. И отправляйся немедленно, сегодня же! Клянись исполнить сказанное мною!

– Клянусь душой и телом, я исполню это, – приглушенно донеслось из травы. Ланселоту показалось, что от убийцы исходит тяжелый запах. Он поспешил отставить проклятое место.

А Педивер в тот же день отправился исполнить обещанное.

Глава вторая

Путь в Камелот занял несколько дней. Ночи в июне коротки, и Педивер спал недолго, до начала рассветных сумерек. Он спешил покончить с делом, да и оголодал изрядно. Лишь однажды ненадолго остановился у отшельника, ютившегося под аркой древнего моста. Мост был сложен из огромных камней, поросших кустарником. Река под ним давно пересохла, русло ее затащило землей, поднимавшейся почти до вершины арки. В щели между камнем и землей и лепилась хижина отшельника. Он встретил рыцаря смиренно, ни о чем не расспрашивал и поделился припасами. Педивер спросил, какие великаны построили этот мост, и отшельник сказал, что то были не великаны, а люди, и было это еще до Рождества Христова. Рыцарь решил, что старик тронулся умом.

Когда он достиг цели своего странствия, день клонился к закату. Дорога была пуста. Лишь при въезде в деревню у стен Камелота вышел из кустов черный козел с наглыми глазами и встал, преграждая ему путь. Но Педивер распознал дьявола, сотворил крестное знамение – и козел исчез.

Женщина, сидевшая у порога с пряжей, равнодушно посмотрела на рыцаря, на облепленные мухами рубаху и голову Хелависсы и отвернулась. Через открытые двери домишек был виден слабый свет. Конь Педивера, оскальзываясь в лужах, миновал грязные улочки и вышел к крепостной стене.

Стена была такой высоты и кладки, что Педивер изумился. Мост через ров был опущен, ворота открыты. Никогда прежде он не видел такого великолепного замка, столь огромного двора, вымощенного камнем. В верхних окнах башни сверкали цветные стекла.

– Вот куда мы, жена, заехали... – растерянно пробормотал он. Но Хелависса была бестрепетна.

У ворот приблизился к нему мальчик в богатом плаще и спросил с подобающей учтивостью: "Благородный рыцарь, это у вас великанша?"

– Лопни твои глаза, олух! – вспылил Педивер. – Эта дама моя жена!

Глаза мальчика округлились, он шагнул назад, наступив на полу плаща.

– Ну, Олаф, точно колдунья? – прокричал другой. – Для великанши маловата будет!

Педивер тронул коня, не слушая дурацкого спора. Во дворе было шумно, толпилось множество людей. Рыцари в доспехах или в нарядном платье, оруженосцы, слуги были заняты кто чем, но все перекликались, громко говорили и, казалось, радовались друг другу. Но при его появлении примолкли, разглядывая несчастную леди Хелависсу. Никто не отшатнулся от него, не попятил-

ся, однако пустота между ними и Педивером была ощутимой. Он заметил, как вдруг погасли голоса, забеспокоились и зафыркали кони во дворе. Из толпы вышел еврей в черных одеждах и приблизился к нему.

– Осмелюсь спросить у благородного рыцаря, это суккуба? – с важностью произнес он.

– Кто? – не понял Педивер.

– Это – суккуба? – повторил тот, указывая на голову Хелависсы.

– Что ты мелешь, враг Христов, ругатель! – вскричал Педивер. – Какая еще суккуба? Это моя жена!

– Для чего же так сердиться? – отвечал тот, отступая с достоинством. – Я не сказал ничего дурного. Суккубой зовется дьявол в женском облики.

Пожав плечами, он отошел прочь. Вокруг опять заговорили.

– Эй, вы, кто-нибудь! Скажите обо мне королеве. Меня прислал Ланселот Озерный! – растерянно прокричал Педивер.

Кто-то рассмеялся. Один из отроков шутовски поклонился рыцарю и пошел к башне.

– А видать, славная дама была! Возят душегубцы незнамо что, – сказала старуха, проносившая мимо стопу корзин. Педивер взял у нее верхнюю корзину и спешил, старательно закрепив у седла тело жены.

– Ступай к королеве! – крикнули из нижнего окна. Он опустил в корзину голову Хелависсы и пошел.

Королева Гвиневера была в тревоге. Супруг ее король Артур отправился с немногими рыцарями в Гиблый Лес и от него давно не было вестей. Ланселот Озерный странствовал один и тоже не давал о себе знать. Наконец, доверенная дама и старинная подруга королевы леди Эдит вышла из послушания.

Гвиневера быстрыми шагами ходила по зале, опустив голову и теребя стеклянное ожерелье. В сумерках пурпур ее платья казался черным, а кожа особенно белой. Подходя к окну, она резко поворачивалась и опять спешила в полумрак. На скамье у окна сидела молодая женщина и с беспокойством следила за ней.

– Наш король и Ваш супруг получит дары от великого Мерлина...

– Мерлин! – фыркнула Гвиневера.

– Наш король и Ваш супруг знает, что вы благоденствуете, оттого и не тревожится, – продолжала леди Эдит.

– Он, должно быть, забыл обо мне! – воскликнула Гвиневера.

– Ваш король и наш супруг... – твердо начала леди Эдит и осеклась.

– Вот это верно! Славно, Эдит, славно, – язвительно подхватила королева. – Не бледней, я не сержусь... Положимся на волю providения, что еще остается?

Она присела рядом с подругой, глядя в узкое окно. Куковала кукушка, внизу следом за нею кто-то громко считал.

– А Ланселот, Эдит? Покинул Камелот, не простившись, не дождавшись моего возвращения, – жалобно сказала Гвиневера. Эдит промолчала.

– Он тоже забыл меня. Отчего никто меня не любит?

– Два, – сказала Эдит, отворачиваясь от окна.

– Что два? Что это значит?

– Два года осталось мне жить, госпожа моя... И я положила себе окончить дни в чистоте и покаянии.

– Опять за свое! – с яростью вскричала Гвиневера. – Тебя не образумить, я вижу!.. Эй, кто там считал кукушку? Сколько лет обещала?

– Двадцать три, прекрасная королева! – весело откликнулись снизу.

– Слышишь?.. А помнишь ли, Эдит, ты обещала привести колдуна? – вкрадчиво начала Гвиневера, – того, что умеет...

– Это греховно, – перебила ее подруга, – умоляю, одумайтесь, госпожа! Вы забыли: сам первосвященник, папа, прислал Вам в дар ноготь с мизинца Иоанна Крестителя? А Вы хотите ворожбы!

– Ноготь? – гневно вскричала королева. – Да я не променяю кончика ногтя Ланселота Озерного на этот папский!

Леди Эдит побледнела так, что на лице ее проступили старые, незаметные прежде следы оспы. Гвиневера и сама испугалась своих слов.

– Рыцарь от сэра Ланселота Озерного!

Женщины молча глядели на вошедшего. Он был странен. На доспехах грязь и какие-то потеки, на грубом багровом лице застыло выражение злости и упрямства. А в руке он, словно простолудин, держал корзину.

– Суший боров, – пробормотала королева.

– Тебе не дали умыться? Почему с тебя не сняли доспехов? Не дали чистого платья?

– Эх, госпожа, твои слуги смеялись надо мной, – с обидой отвечал тот, глядя на свою корзину.

– Как твое имя, рыцарь, и с чем ты прибыл в Камелот?

– Я зовусь Педивер, Педивер из Ома. Вы, небось слышали об этих местах?

Но дамы об этих местах не слышали.

– Меня послал сюда Ланселот Озерный. "Отправляйся, говори, к ней, она и рассудит". Вот я с ней и приехал, – и Педивер кивнул на корзину.

– К кому "к ней"? – перебила королева.

– Да к королеве Гвиневере!

– Что у тебя в корзине, рыцарь Педивер? – с беспокойством спросила леди Эдит.

– Голова.

– Кого же сразил сэс Ланселот?

Гвиневера поднялась со скамьи и направилась к рыцарю.

– Жену мою. Я сразил, а не он.

Королева словно споткнулась на ходу. Эдит поспешила к ней.

– Жену?.. А почему Ланселот... отчего прислал ко мне? Говори!

– Ланселот в мое семейное дело вмешался. Я Хелависсе голову за измену снес, так он меня чуть не зашиб! Потом Господь его вразумил. «Отправляйся, говорит, к королеве немедленно! И ее вези!»

Педивер опять кивнул на корзину.

– Кто был возлюбленным твоей жены? Она молода? – в два голоса спросили женщины.

– Он из ваших, из Камелота, рыцарь Лакот. А Хелависса вот какая!

Педивер впервые после смерти жены осторожно и бережно поднял ее голову за спутанные волосы. Женщины, привычные к страшным зрелищам, поспешно отвели взгляд. Хелависса махнула рукой, и Педивер опустил голову в корзину.

– Красивая, – вздохнул он. – А остальное во дворе, к седлу привязано.

– Молчи, – приказала королева. Она подошла к окну, чтобы не чувствовать смрада, и задумалась. Было слышно лишь сопение Педивера.

– Что это значит, Эдит? Чего хотел сэс Ланселот? С какой мыслью послал его ко мне?

Голос Гвиневеры был тих и ровен, но леди Эдит испугалась.

– Я и сам не знаю, госпожа моя, – вмешался Педивер. – Дело же ясное – измена. Похоронил бы ее по-христиански. А без покаяния она из-за него померла... Так оно за блуд бывает. И мне, конечно, покаяние положено. Я уж думаю, может, зря убил, заточил бы лучше или еще что... – бормотал несчастный Педивер. – Извольте, добрая госпожа моя, назначьте покаяние да позвольте воротиться домой! – просительно закончил он.

– Да, да, покаяние, – сказала королева, проводя рукой по лицу, – покаяние, Эдит... Это уже для тебя, Эдит...

– Что с сэром Лакотом? – робко спросила та.

– Я его запер на засов, пусть сидит, – ухмыльнулся рыцарь.

– Неужто сэс Ланселот Озерный послал тебя с останками несчастной жены к королеве?

– А кто же еще? Он.

Леди Эдит осторожно взглянула на Гвиневеру. Та, отвернувшись к окну, ожесточенно терла рукой свою белоснежную, длинную шею.

– Ты помнишь, что он при этом сказал?

– Известно что. "Ты не опустишь ее тела на землю и не сделаешь передышки в пути, пока не прибудешь в Камелот. Там королева назначит тебе наказание", – уже нетерпеливо отвечал Педивер. Гвиневера прервала его гневным жестом.

– Ты убийца и опозорил себя навеки, – хрипло сказала она. Платье королевы в свете факелов казалось намокшим кровью. – Пес, пожиратель блевотины! Кровь жены да падет на твою дубовую башку!

Гвиневера задышалась от ярости. Она кружилась по зале, как лисица, попавшая в облаву.

– Боров! – вскрикивала королева. Ее прекрасные руки, взметнувшись, падали и снова взлетали. Педивер глядел на ее кружение и испуганно сопел. Подолом платья Гвиневера едва не опрокинула корзину, он едва успел подхватить ее. Рыцарь застыл, расставив ноги в грязных сапогах, прижимая к груди корзину, а она как одержимая металась и извергала проклятья.

Наконец обессиленна и упала на скамью. Подруга подала ей платок, с досадой глядя на злосчастного рыцаря.

– Я решила, – сказала Гвиневера, – слушай. Ты теперь же отправишься в город Рим, к самому папе. Не я, а он наложит на тебя епитимью. В дороге нигде не задерживайся долее одной ночи, а несчастную леди клади на ночлег рядом с собой. Ступай!

– Смилуйтесь, госпожа! – возопил Педивер. – У меня с собою ничего нет, как мне туда добраться? Звери растерзают, злодеи убьют! Дозволь сначала вернуться домой и взять все нужное в путь!

– Нет. Тебе дадут кожаный мешок, положишь в него останки жены. Это все, что я могу дать тебе. Ступай!

Королева вышла из залы, а Педивер горько заплакал.

– Не плачь, – сказала леди Эдит, – рыцарю это не пристало. Найти пищу и кров – это ли забота? Птицы небесные не жнут, не сеют, а Господь насыщает их. Искупай свой грех. От меня же прими вот это...

Стараясь не глядеть на страшную корзину, она вложила в руку Педивера замшевый кошель.

Во дворе его ждал слуга с кожаным мешком и грубым плащом. Педивер опять заплакал, потом положил останки жены в мешок и приторочил его к седлу. Ночь была тепла и так темна, что, казалось, будто его самого сунули в душный винный мех. В верхнем окне башни он увидел две женские фигуры. В багровом свете факела они казались размытыми и страшными. Педивер утер слезы и тронул коня.

В темноте блеснули глаза и вкрадчивый голос произнес:

– И все же благородный рыцарь привез суккубу, не так ли?

– Суккубу! – горестно отвечал Педивер. – Сами они суккубы. Все здесь суккубы...

Конь вышел за ворота, осторожно ступая во мраке.

Глава третья

Педивер уже которую неделю был в пути. С корабельщиками переправился через пролив и опять ступил на землю. Деньги, подаренные леди Эдит, вышли. Ночевал он при дороге, одичав и уже ничего не страшась. Как-то ему встретился торговец, странствующий в одиночку. Педивер развернул коня поперек дороги и встал, ожидая его приближения. Торговец убежал, бросив вьючную лошадь с поклажей. В его суме нашлось довольно денег. Тюков Педивер не тронул, и лошадь торговца побрела по дороге, вслед за хозяином.

Педивер избегал оживленных дорог, сторонился людей, еду изредка брал во встречных деревушках. Мешок с телом леди Хелависсы издавал тошнотворный запах, от которого кружилась голова и дико разгоралось сердце. Но он как-то притерпелся и почти не замечал этого. Не замечал и того, что часто говорит вслух, обращаясь к жене.

Однажды он завернул на постоялый двор. Лошади, привязанные у ясель, захрапели и стали рваться прочь от его понурого коня. С крыльца рыцаря мрачно оглядывал хозяин, однако он посторонился в дверях, когда Педивер показал ему монету. Свой мешок Педивер положил в сених.

В длинной закопченной комнате сидело несколько мужиков. Когда Педивер вошел, они бросили пить и устали на него. Один рыгнул, схватился за глотку и бросился вон. Следом, как горох, посыпались остальные. Хозяин вышел за ними, но тотчас вернулся. Он еще больше помрачнел и все переводил взгляд с рыцаря на покинутый стол.

— Я заночую у тебя, — сказал Педивер.

— Серебряник за ночь, — отвечал тот.

— Пес! Подай вина!

Хозяин не шелохнулся. Зато шевельнулся полог за его спиной. Оттуда вышла девица и поставила перед гостем кружку с мутным вином. Принесла хлеб и свинину. Отошла в угол и застыла, приоткрыв рот. На дворе выла собака, сперва неуверенно, потом все громче. Педивер ел и пил, а девица глазела на него.

Собака не унималась, и хозяин опять вышел. Рыцарь жадно ел, не слушая воя, ударов и скулежа за окном. Он видел, как при каждом его глотке девица тоже сглатывала, и волна проходила по ее круглой, гладкой шее.

Вино было немилосердно кислым, свинина — жесткой. Он не приглядывался к девке, но почувствовал, какая она крепкая, теплая, чистая. Педивер прихлебнул из кружки, но помедлил глотать. По ее шее опять прошла волна, и она с тупым удивлением посмотрела на него. Вернулся хозяин.

— Еще вина, — сказал Педивер. — Еще вина и эту девицу.

Он выложил на стол два серебряника.

– Эту? Нельзя, благородный господин, эту никак нельзя, – забормотал хозяин, не отрывая взгляда от монет.

– Ее!

– У нас есть другая... Я пришлю... А эта – девица, она девица еще, благородный господин...

– Эту. Пусть приходит.

Педивер столкнул серебренники с края стола, и хозяин кинулся их ловить.

На ночлег рыцаря провели в узкую, как щель, комнату с земляным полом и ложем, застеленным облысевшими медвежьими шкурами. Педивер осторожно положил свой мешок к стене, так что на ложе оставалось довольно места для двоих. Постелил плащ. Из высоко прорубленного окна пахло свежестью и, смешавшись с запахом тлена, это вызвало столь мучительное, острое вожделение, что он едва не закричал.

За стеной пронзительно закричала женщина. И почти сразу в каморку Педивера влетел хозяин.

– Дура! Не идет. Хоть убей. Мешка вашего боится, господин.

– В мешке моя супруга, – строго отвечал Педивер.

– Ах, вон как... Я скажу. Придет она, сейчас будет...

Рыцарь разделся, со вздохом опустился на ложе. Он давно забыл об этом блаженстве. Вожделение отступало, подкатывала дремота. Заглубившие веки смыкались с режью. Стены наверху, у потолка, стали медленно смыкаться, и он проваливался в этой закопченной, душной щели, зараставшей над ним.

Но распахнулась дверь и невидимая сила втокнула к нему девицу. Снаружи поспешно задвинули засов.

– Ба-ба-ба... – бормотала она.

– Иди сюда, дура, – сказал рыцарь. – Сядь. Что тебя трясет?

Она подвывала, всхлипывала, задом толкалась в дверь, но увидев, что Педивер не двигается, затихла. Потом сделала шаг и со вздохом заглянула ему в лицо.

– Иди, – вяло прикрикнул Педивер и притянул ее. Девица вдруг всей тяжестью, как мешок, рухнула на ложе, едва не сломав ему переносицу. И застыла, как мертвая.

Педиверу хотелось спать. Он выпростался из-под нее и подвинулся к стене, к леди Хелависсе. Гнилой, наводящий безумие запах прогнал сон. Педивер повернулся к девке, уткнулся лицом в ее волосы. От них пахло липовым цветом. Он, словно вспоминая, повел рукой по ее шее, белой и мягкой, как масло, и теплая волна толкнулась в его ладонь. Девица тихо плакала.

– Ты чего? – спросил Педивер.

– Жарко, господин, – бормотала она, пытаясь остановить его руку.

– Не бойся...

– Я боюсь эту, в мешке... А вдруг как упырь?

И вдруг придвинулась, прижалась к нему.

— Не опасайся, — выдохнул Педивер, путаясь в ее тряпье. — Не опасайся, — повторил он, раздвигая толстые, судорожно сжатые ноги. — Я с ней еду к самому папе. Он освятит. И похороним...

— Ну, коли сам господин папа, — со вздохом отвечала она, раскрываясь и набрасывая на лицо платок.

— Не опасайся, — повторял Педивер, вжимаясь, проваливаясь, обрастая ее душевной плотью...

Когда он проснулся, ее уже не было. С рассветом рыцарь выехал с постоялого двора. Довольный хозяин ухмылялся ему вслед.

Глава четвертая

Как-то, когда до города Рима оставалось не больше двух дней пути, дорога вывела Педивера к замку.

— Что ж, Хелависса, может, здесь мы заночуем.

Он давно уже пристрастился говорить с женою, и разговоры эти ладились не хуже, чем в прежней жизни. Леди Хелависса всегда имела кроткий нрав, и ныне, думал Педивер, это свойство осталось при ней. В трудной дороге, на ночлегах, на переправах она не мешала всаднику; она всегда была рядом, и его помутневшему рассудку казалось, что они товарищи в общем испытании.

— Не всякому Артурову рыцарю под силу такой путь. И уж конечно, не этому козлу Лакоту. Верно, жена?

Хелависса согласно молчала, и Педивер задумался. Он не думал, что ее уже нет на свете, и раскаяние не мучило его. Наоборот, теперь она была с ним всякий миг, и супруг был спокоен. Но он чувствовал грусть оттого, что скоро путь подойдет к концу, а с ним кончится и эта жизнь.

Итак, он свернул к замку. Прежде Педивер не стал бы этого делать: он как-то уже стоял у открытых ворот, но его не впустили, а осыпали бранью. Бедняга, покинувший бриттские леса, не походил на славных рыцарей, странствующих в поисках поединков и подвигов. Но сейчас, на подступе к великому городу Риму, он нуждался в отдыхе.

Педивер остановился у ворот. Пока он осматривался, ворота с усилием растворились, и в глаза ему ударил блеск. Яркий медный дисквисел на столбе, рядом с ним стоял человек с медным жезлом.

— Добро пожаловать, господин! — возгласил он и трижды ударил в диск. Из замка вышли люди и приблизились к рыцарю. Вперед вышла дама в богатых одеждах.

— Прибытие славного гостя — радость для хозяев, — приветливо сказала она. Слуги придержали его коня и помогли спешиться. Педивер поклонился даме. Она принялась освобождать его от доспехов: развязала ремешки панциря, опустившись на коле-

но, сняла поножи; с ловкостью и легкостью проделала она это. Потом приняла из рук служанки короткий плащ синей шерсти и накинула его на плечи Педивера. Слуги унесли доспехи.

Дама взяла рыцаря за руку и повела во внутренний двор, где в тени деревьев были скамьи и стол с мраморной столешницей. Она пригласила Педивера сесть, сама села напротив.

– Об одном сожалею: блистательный Алесандр, мой супруг, в отсутствии и не может разделить со мною радость гостеприимства, – начала она, оглядывая Педивера.

– Увы, госпожа моя... – рассеянно отвечал тот. Он если и размышлял о чем, так о том, скоро ли время трапезы. Дама улыбнулась.

– Дозволено ли мне узнать имя благородного рыцаря?

– Я зовусь Педивер из Ома, что в Британии. Мой путь – в Рим из Камелота... – начал он.

– Из Камелота? Из Ка-ме-лота! Тебя послало нам Провидение! – возопила дама.

Педивер был в растерянности. Видя его смущение, она поспешила объяснить:

– Ах, не удивляйся, славный рыцарь! В этом замке так ждали гостя из Камелота... Позволь рассказать тебе. Я зовусь госпожа Соридамор... Ах, Алесандр, зачем ты покинул нас теперь!.. Видишь ли ты этот стол? Круглый стол – видишь? О, это в честь Того Стола! – она ткнула пальцем в мраморную доску.

Педивер честно оглядел – сперва стол, потом ее. Дама была молода и хороша собой. Правда, нос великоват и глаза как-то щурит. Одета она была, на вкус Педивера, слишком пестро и сильно нарумянена. Но главная странность заключалась в глазах: они были серые, с яркими желтыми крапинами. А желтые глаза только у ведьм, это рыцарь знал с младенчества.

– Эге-ге! – подумал он. – Тут может быть нечисто...

Он незаметно сотворил крестное знамение – дама не переменялась. Повторил с мысленной молитвой – то же. Он почти успокоился.

– Ты рыцарь короля Артура? Ты видел Мерлина?.. И Ивейна? А Гавейна? Ах!.. – в непонятном возбуждении восклицала дама.

– Я послан королевой к господину папе в Рим. А этих вроде видел – и Ивейна, и Гавейна... – неохотно отвечал Педивер.

– От королевы Гвиневеры? – крапленые глаза сверкнули. – Так ты служишь ей? А славный Ланселот Озерный?..

– Что с ним станется? – буркнул рыцарь, вспомнив свой помятый бок. – Я должен исполнить зарок.

И он поведал даме Соридамор свою историю. Та слушала, не шелохнувшись.

– Инферналис! – воскликнула она, когда Педивер умолк. Тот подозрительно взглянул на нее.

– Так в этом страшном мешке твоя супруга? И ты не должен ни на миг оставлять ее? Инфернально!.. Может быть, приказать, чтобы принесли мешок сюда?

– Нет, это только ночью, когда спать. А сейчас пусть побудет там.

Дама с готовностью согласилась. Ей не терпелось продолжить беседу.

– Да, я чувствую волю Провидения! – вскричала она. – О, рыцарь, я должна поведать тебе свою историю. Ты достоин, ты носишь в себе страсть! Мною тоже владеет amor fati. Слушай же!

Я происхожу из могучего и славного рода. Отец наш (нас две сестры) горько печалился, что Бог не дал ему наследника. Он воспитал нас (меня и сестру) в поклонении перед рыцарскими подвигами и славой (и в благочестии, конечно, – скороговоркой прибавила дама). Неподалеку от нашего замка, в аббатстве, был муж святой жизни и великой мудрости. Отец призвал его, и он учил нас (с сестрой) чтению и письму, греческому и латыни. Тут-то и начинается тайна! – воскликнула дама и приложила палец к губам.

– Начинается! Соблазн, дьявольское многомудрие! – подумал Педивер, вспомнив монаха, учившего его в детстве. Он тайком перекрестил живот, но рассказчица не исчезла.

– Наш наставник, отец Дезидерий, родом из Рима, из знатной семьи. Их род, по преданию, восходит к патрицию... Да, знаешь ли ты о патрициях? О кесарях? О великом Риме? О боге Юпитере? Нет?

– О Риме знаю, – поспешил вставить Педивер.

– Отец Дезидерий почитает славу былых времен, – не слушая его, продолжала дама. – Он открыл нам величие римской доблести, языческих богов, греческой премудрости... Но это после, после! Отчего я говорю тебе это? Оттого, что ты рыцарь Артурова двора, а это выпадает столь редко! Видишь ли, страсть к познанию овладела мной и сестрою. Она теперь аббатиса (госпожа Соридамор назвала знаменитый монастырь) – а я, увы, замужем! Она положила собирать в монастыре древние манускрипты, разыскивать их, переписывать... А я – другое! Но тайна! – супруг мой не одобряет этого! Я – сочинительница! В тайну эту посвящены лишь сестра да несколько избранных... Мне давно является тайный голос, он шепчет и шепчет. Особенно ясно ночами... Но я долго не могла понять – о чем, о чем? И наконец Господь открыл мне, что я призвана прославить вас – вас, великий король Артур и рыцари Круглого Стола! В вас доблесть языческих героев и добродетель воинов Христовых! О, теперь о вас знают все, но я сохраню вашу славу на века! О, на века, на века! – в исступлении восторга вскричала дама.

Педивер уже давно творил мысленную молитву. При последнем вопле он едва не вскочил со скамьи.

– И я хочу еще порасспросить тебя, – неожиданно деловито сказала Соридамор, – а затем запишу твою историю. Конечно, что-то прибавив, о чем-то умолчав.

– Нет! Нет! – возопил Педивер. – Не смей! Я кровью знаки ставить не стану! Не стану!

Они дико уставились друг на друга. Соридамор опомнилась первая.

– О, *beata stultitia!* – непонятно сказала она и, косо улыбнувшись, прибавила: – Доблестный рыцарь, что тебе причудилось? Я добрая христианка, как и ты, и сегодня была у причастия. Мой духовник может уверить тебя...

Но Педивер достаточно наслушался о здешних служителях господ, чтобы внять словам о духовнике. Он молчал.

– Ну что же, я не стану смущать тебя своими речами, – сказала

дама. – Надеюсь, ты не откажешься разделить со мною трапезу? Тебе приготовили умывание. Я велела открыть в твою честь бочонок, в нем чистый нектар... Лучшее вино из наших погребов, – поправились она, заметив затравленный взгляд Педивера. – Пойдем же!

– С охотой. Но прежде я взгляну, что там с Хелависсой. Где она?

– Отчего ты беспокоишься? В том положении, в котором ныне твоя жена, трудно ожидать перемен, – ядовито заметила госпожа Соридамор.

– Я все-таки погляжу, – упорствовал рыцарь.

– Хорошо, тебя проведут к ней.

Слуга проводил Педивера в галерею, где были положены мешок и доспехи рыцаря, и поспешно удалился.

Педивер был встревожен:

– Знаем, что бывает с покойниками в таких местах. Либо руки не досчитаешься, либо носа, либо еще чего! Ох, жена, прости меня, грешника, – причитал он, усевшись возле мешка и собираясь распустить ремешки. Но заскорузлую кожу так свело, что развязать мешок было невозможно. Педивер хотел разрезать завязки, но решил, что спешка теперь неуместна. К галерее сбежалось несколько псов, они сели поодаль, скуля и дикими глазами следя за ним. Педивер швырнул камнем в собак и взвалил Хелависсу на плечо. Он рассудил, что безопаснее будет проверить, не умыкнули ли здесь какого-либо члена жены для своих бесовских нужд, покинув замок.

Его провели в покой, где он освежил лицо и руки водой с благовониями. Слуги обмыли его усталые ноги и обтерли их мягкой тканью. Потом рыцаря проводили в залу, где его ожидала дама Соридамор. Она сидела во главе длинного стола, заставленного блюдами, винами в высоких сосудах. Педивер увидел яства, уже почти забытые им, и почувствовал, как засосало под ложечкой.

– Благородный рыцарь, для чего ты принес сюда останки своей супруги? – удивилась Соридамор.

– Пусть здесь будут, я привык, чтобы рядом, – отвечал он, алчно глядя на стол.

– Что ж, пусть так, это придает остроты, – непонятно сказала дама.

Они пировали, и время великодушно отступило, уступив место празднику. Странная пряная снедь, непривычная рыцарю, темные вина, теплым маслом заливавшие сердце, – все это открыло Педиверу неизведанное прежде блаженство.

Он не заметил, когда стемнело, и пламя смоляных факелов заколебалось на сквозняке; когда на коленях у него оказалась крохотная собачонка, и он кормил ее медом; когда исчезли слуги и сама Соридамор стала ему прислуживать. Они ели и пили, и вино не иссякало в серебряных кубках. Румяное от хмеля, розовое лицо дамы в полумраке казалось прекрасным и добрым. Она без слов понимала его – и подавала то, чего он желал.

Все это ввергло сэра Педивера в странное забытие: он не спал, все видел и понимал, усталость и горечь его растаяли, а с ними и память. Он не знал, что следует говорить и делать, как двигаться – но Соридамор все знала за него и радовалась всякому его слову. Взамен воли и тяжести ему была дарована такая легкость, что прозрел он ход рыбы в водах и птицы в небесах; такое счастливое время, что часы обернулись мгновениями, и каждое с нежным звоном лопалось возле уха.

Педивер сидел, откинувшись на спинку резного кресла, и глядел в окно. Оттуда летели ночные бабочки, неподвижно стоял сад, над башней замка взошла луна. Под окном слышались возня и рычание разодравшихся псов, потом снова пришла тишина. Педивер созерцал тополь и поражался его совершенству.

– Господин, купание приготовлено. Позволь проводить тебя, – прервала его размышления незнакомая девица и взяла за руку. Он вздрогнул и словно вернулся в мир – и поразился радости мира; и изумился красоте этой девицы.

– Купание! – воскликнул он, ничуть не удивясь. – А где же госпожа?

– Госпожа навестит тебя...

И Педивер с помощью заботливой девицы направился в купальню. Там блаженство продолжилось. Во влажном тепле купальни его встретили еще две девицы и усадили на мраморную скамью. Пока он рассматривал резные львиные лапы, на которых она стояла, служанки сняли с него прежний плащ и накинули новый, белый, с алой полосой по низу. Педивер плащу порадовался.

Затем одна из них положила его голову себе на колени и стала перебирать и расчесывать спутанные волосы рыцаря. Другая в это время умащала их сладко пахнущим маслом. Педивер не

заснул на коленях доброй девицы лишь потому, что ему несколько раз по неосторожности причинили боль, дергая за волосы. Затем его привели к каменному бассейну, посадили на край и удалились.

Педивер остался один. Сразу почувствовал прохладу. Оглядел плащ с широкой полосой и подивился тому, как он надет и перекинут через руку. Под плащом оказалась короткая белая рубаха, тоже с полосой понизу.

Он опустил ноги в теплую воду бассейна – и с воплем вскочил на ноги, увидев свое отражение. Это был не он, а кто-то незнакомый, чужой! Короткие волосы в скобку, плащ, обернутый вокруг тела, голые ноги и руки!

Он огляделся, ужаснувшись внезапно пришедшей трезвости. Никого не было. Хотел бежать, но ноги не слушались. Увидел, что на ложе с львиными лапами оставлены кувшин, два кубка и немного еды.

– Заточили! – мертвея, понял Педивер.

Но тут полог, скрывавший часть купальни, раскрылся. За ним оказалась госпожа Соридамор. Их разделял лишь бассейн.

Когда полог разошелся, она предстала со смиренно склоненной головой. Она была облечена в ткань, лежавшую мягкими складками, подобно одеянию Педивера. К вящему соблазну руки ее, ноги и шея были обнажены. Медные змейки обвивали запястья, а гладко причесанные волосы были перехвачены лентой. Окинув прищуренными глазами рыцаря, она зажмурилась и протянула руки.

– Иди ко мне, господин! – прошептала она.

Педивер застыл, опустив ноги в воду.

– Не медли, неразумный, иди, – повторила Соридамор.

Рыцарь, мгновенно позабыв о странности их нарядов и вообще обо всем, соскочил в бассейн и, оказавшись по грудь в теплой воде, поспешил к даме, плеща и пьянея от терпкого запаха, исходившего от его тела.

– Аякс, мой Аякс, – лепетала Соридамор. Он был уже у ее ног, приподнялся, сел на край бассейна, поглядел вверх – и страшный вопль вырвался из его горла. Он с шумом сорвался в воду.

Прямо за спиной Соридамор был дьявол. Мертвенно-белый, словно выпустили всю кровь, блестящий, шагнувший к ним и застывший; с жезлом, обвитым змеями, голый, но в шлеме и с маленькими крыльями на ногах. С мертвой молодой улыбкой он тянулся к Соридамор своим жезлом.

– А-а-а! – захлебываясь и утопая, вопил Педивер.

– Уаа-уу! – гремело под сводами купальни.

В счастливый час родился рыцарь: не захлебнувшись, он перемахнул бассейн, вырвался из купальни и бросился в темноту.

– Аа-нтик! – отчаянно визжала за спиной дама. – Меркурий! Аа-а!

Педивера спасло поистине звериное чутье. Он проскочил несколько покоев, пролетел через пиршественную залу, на ходу схватив свой мешок, и огромными прыжками кинулся дальше. Дьявольская одежда не мешала в беге; верхний плащ, сорвавшись с плеч, повис на двери.

Он выскочил во двор, безошибочно нашел конюшню, заметался там, отыскивая своего коня. Тот словно ждал его, а стража по грозному окрику рыцаря отворила ворота, и Педивер опрометью бросился из замка. Позади заметались факелы. Конь пустился стрелой. Неведомо сколько проскакал рыцарь, то взвывая, то всхлипывая, то крестясь. Везде чудились ему крапленые желтые глаза.

К утру злополучный рыцарь Педивер прибыл в Рим.

Глава пятая

Наместника Господа на земле с трудом отпускало удушье. Тлели ароматические палочки в руках его любимца, епископа медиоланского. Юноша с испугом и облегчением видел, как синева и багрянец на лице папы сменялись бледностью, на лбу выступил липкий пот. Вот он с усилием поднялся с кресел и подошел к окну. Жаркий ветер кружил пыль по двору, по выжженной траве, но здесь, наверху, дышалось легче.

Папа, грузный человек с отечным лицом, прислонился к стене, к прохладе камня. Епископ поспешил поднести к окну кресла и помог ему опуститься в них.

— Сядь рядом, — ласково сказал папа.

Юноша придвинул легкую скамью, и они вместе стали смотреть на вечный город, раскинувшийся вокруг. В полуденный час он был почти вымершим. Редкие прохожие прикрывали лица от пыльного ветра. Над холмами, бурыми виноградниками на склонах нависло мутное небо. А вблизи воздух словно остекленел, и руины отбрасывали тени, глубокие и черные, словно ямы. Выщербленный желтый мрамор походил на старую кость.

Неподалеку от дворца на площади расположились паломники, прибывшие в Рим к празднику. Здесь, на камнях, они умудрились устроить какое-то подобие жилья. Растянули одежды на палках и спасались от зноя под укрытием; спали, бродили или сидели, сбившись в кружки. В сторону дворца никто не глядел. Два парня толкались около тощего мула: один тянул его за собой, другой вырывал у него из рук узду.

Во дворе, под серыми оливами, не дающими тени, солдаты играли в кости. Их грубые голоса и смех долетали до окна. Добродушное лицо папы погрустнело.

— Зачем они здесь? — он указал на парней на площади, затеявших вялую драку. — Разве они думают о Боге? Разве они чтят великое торжество, ради которого пришли сюда?

Он сокрушенно покачал головой. Епископ молчал.

– Я не люблю Рима, – медленно, с одышкой продолжал папа, – здесь мне тяжело. Здесь нехорошо. На днях ты покидаешь его. Посмотри, что это за город! В нем тлеет мятеж... души здесь разъедены злом, как язвой... На дорогах грабежи, в сердцах вражда, раздор. Знаешь ли, кого здесь больше всего? – сказал он, беря епископа за руку, – знаешь? Коз и блудниц!

И откинулся в креслах. В горле у него сипело.

– Козы и блудницы, вот кто! Поверь мне, – даже с некоторым торжеством повторил он. Епископ покраснел.

– Я родом из Флоренции, – мечтательно сказал первосвященник. – Если бы ты знал, как сейчас – во Флоренции!.. А где твоя родина?

– Люттих, Ваше святейшество, – почтительно отвечал епископ.

– Ах, да, Люттих! – и папа снова стал глядеть в окно.

Серые одежды паломников сором покрывали площадь. Дерущиеся парни расцепились. Один уводил мула в проулок, другой остался на месте. Усевшись на камни, он тщательно и тщетно отирал кровь с лица. На его рубаше алели пятна, он мотал головой. Вся площадь перед дворцом была – горячая глухая полость.

Но вот внизу произошло движение. Появился человек, солдаты пропустили его во двор и подвели к начальнику охраны. Тот оторвался от игры, но не встал. Пришелец что-то говорил ему, сгибаясь и заглядывая в лицо.

Епископ медиоланский разглядывал его сверху. Могучего сложения: высоко выстриженные волосы оголяли мощную шею. Обут в жалкие деревенские опорки, хотя осанкой не походил на простолудина. Но самым вопиющим, несомненно, было его одеяние. На нем была туника, вроде тех, в какие облачены юноши на языческих изваяниях. Из-под туники выглядывали короткие грубые штаны. А поверх туники была наброшена патрицианская тога, почему-то завязанная узлом на груди. Все это вместе было жалким и непристойным. Толстые икры мужчины и руки были оголены и грязны. Он был лицедеем или безумцем. "Жонглер", – решил епископ.

Однако его не прогоняли. Он что-то втолковывал, показывая то на мешок, оставленный у ворот, то на вход в папские покои. Начальник охраны слушал, переводя взгляд с пришельца на окна второго этажа.

Первосвященник наблюдал за ними, потом хлопнул в ладоши, и на пороге кельи появился секретарь. На его длинном, сухом лице застыло выражение скорби.

– Ступай вниз, – сказал папа, – и узнай, чего хочет этот человек. Если он жонглер, пусть выгонят немедленно.

Лицо секретаря еще более затуманилось, он поклонился и вышел. Папа был раздражен: "Еще фигляров недоставало. Тут,

прямо перед окнами. Рим, все грехи твои... Малая толика истинной веры, а блудниц и лицедеев – в избытке!"

Секретарь появился во дворе. Он выслушал пришельца, с сомнением поглядывая на окна папской кельи. Потом оставил его и пошел обратно.

– Ну, сейчас он все растолкует, – иронически заметил папа. Секретаря за немногословность и косноязычие в насмешку прозвали Цицероном. Он появился в дверях и сказал:

– Это не жонглер. Рыцарь из Британии. От короля Артура. С покаянием. Просит аудиенции. При нем никаких грамот.

– Его прислал король? – нахмурился папа.

– Королева Гвиневера, – плаксиво отвечал секретарь.

– О! – первосвященник с любопытством взглянул на ожидавшего во дворе человека. – Ну, что же, он получит аудиенцию.

– Следует позвать его сейчас?

Папа кивнул, и секретарь удалился. Первосвященник с неожиданной живостью наклонился к епископу.

– Посмотрим на этого посланца королевы. В числе погрязших в грехах и суетах нашего мира Артуров двор не последний. Король Артур, как говорят, добрый христианин, но приближенные, – папа презрительно поморщился, – и сама королева Гвиневера! О ней рассказывают такое, что и вспоминать грех. Недавно мы послали ей во вразумление и как залог покаяния драгоценный дар – ноготь с мизинца Иоанна Предтечи! – он значительно посмотрел на епископа.

– Возможно, она раскаялась в нечестии своем и обращается с мольбами об отпущении... Ты видел этого древнего римлянина – ее посланца? – папа улыбнулся. – Артуров двор причиняет нам сокрушение сердечное. Там вся нечисть, вплоть до магов и чернокнижников. Мерлин, Моргана! И сколько еще! Молвить страшно...

При помощи епископа первосвященник сел в высокое кресло. В соседнем покое послышались шаги и голос секретаря: "Мешок – сюда!"

Вслед за тем он вошел в сопровождении низко склонившегося Педивера. Епископ медиоланский с жалостью увидел руки, покрытые царапинами, широкое лицо, которому больше пристало выражение свирепости, а не нынешней ребяческой растерянности. Сделав несколько шагов, человек простерся ниц и замер. Секретарь взглянул на первосвященника, тот чуть заметно прикрыл веки.

– Его святейшество позволяют тебе подойти под благословение и приложиться к ноге его святейшества!

Папа с неожиданной грацией приподнял край одежды и выставил носок отечной ноги в шитой золотом туфле. Педивер поднялся на четвереньки и подобрался к возвышению, на котором покоилось кресло; истово приложился к туфле.

– Встань, сын мой!

Рыцарь послушно встал. Штаны его расползались от ветхости, туника едва прикрывала бедра. Епископ медиоланский целомудренно отвел взгляд.

– Нам сказали, ты рыцарь из бриттских земель?

– Да, ваше святейшество, – горячо отвечал Педивер. – Вы не глядите, что с виду я теперь ровня бродяге, это дьяволицыны козни!

Папа удивился.

– А коня я продал только вчера, здесь, в Риме, – продолжал рыцарь, – пришлось дать денег страже, чтобы пустили... А на подобающую одежду уже не хватило.

– Так ты заплатил мзду? – спросил папа.

– Да. Десять монет, – подтвердил тот и испуганно оглянулся на секретаря. Тот стоял, хмуро разглядывая ковер перед креслами.

– Лихоимцы, – рассеянно сказал первосвященник. – Что с ними делать?

Он чувствовал приближение удушья.

– С чем же ты прибыл из Камелота в Рим?

– Меня прислала королева Гвиневера. Я согрешил, ваше святейшество, и должен испросить вашего прощения, – с трудом произнес Педивер.

– Королева получила наш дар? – спросил папа, гадая, отчего воздух так смраден.

– Гвиневера-то? Не знаю, – опешил рыцарь. – Она шлет смиренный поклон.

– Это похвально. Пусть же ведет жизнь, достойную христианки...

Секретарь беспокойно задвигался. Епископ растерянно осматривал келью, затем поглядел за окно, в неглубокое небо.

– Ты передал все, что тебе велено? – через силу спросил папа. Горькая тошнота подымалась к горлу. "Сам заживо гнию", – подумал.

– Еще Гвиневера приказала, ваше святейшество, – забормотал рыцарь, – прислала меня с женой... Ваше святейшество, я скажу все сначала! – его лицо выражало отчаянную мольбу.

– Говори, – кивнул первосвященник. "Гнию заживо, – думал он, – и скоро предстану перед Господом. Я, раб рабов Божиих, в грехе и скверне прожил свой век..."

"Господи, укрепи меня, я боюсь смерти!" – чуть не крикнул он. Стиснув зубы, взглянул на Педивера. Тот виделся, как в пелене, разводил руками и бормотал: "Я, скверный человек, стал судьей ей. Но она насмеялась надо мною. А супружеское право..."

– "И ты не сокрушался ли о подступающей смерти в Гефсиманском саду? О, искушение мне! Да свершится воля Твоя, утление печалей, разрешение грехов моих..."

– Он чуть не до смерти меня зашиб. А потом послал в Камелот!

– В Камелот, – послушно повторил папа и кивнул ободряюще. Он видел этого человека и, не слыша его слов, сострадал. Епископ медиоланский стоял у окна, лицо его было в тени. Секретарь глядел в спину Педивера презрительно. Пыльный, сиротливо повествующий о чем-то рыцарь на миг показался папе схожим с мучным червем. "Человек!" – твердо сказал себе первосвященник и спросил: "Чего же ты желаешь?"

– Отпущения греха. Грехов моих... И благословения, – прибавил тот, глядя глазами побитого пса.

– Истинно ли ты раскаялся?

– Раскаялся, святой отец, – скулынул грешник.

– Молись!

Педивер поспешно зашевелил белыми губами. Первосвященник произнес формулу отпущения. Епископ облегченно вздохнул.

– Господи, я прощен! – возопил Педивер и снова упал к ногам папы. Тот порадовался, видя полное раскаяние и ликование в человеке. Но вдруг рыцарь поднялся на колени и качнулся вперед.

– Ваше святейшество! Простите и ее! И ее благословите! – вскричал он, простирая руки, но не приближаясь, словно удерживаемый невидимой силой.

– Ее?

– Ее!

Педивер вскочил на ноги и бросился за дверь. Через секунду секретарь, заслонивший собою вход, был отброшен, и Педивер в два прыжка вернулся на прежнее место. Рука его сжимала узел мешка.

– Что это? – спросил папа.

– Нельзя! – крикнул епископ, поспешив к папе.

"Жена!" – торопливо проговорил рыцарь, опуская мешок на пол. Но первосвященник не слышал: смрадное облако поднялось из недр его и затуманило зрение, горло свело судорогой. Он захрипел, путаясь рукой в воротах, вцепляясь в кресло. Глаза его застыли на Педивере.

В тот же миг могучая рука вздернула рыцаря за волосы и повлекла к выходу. Затрещала разорванная тога. Педивер, пригнутый к полу, миновал лестницу, мягко ударился о порог и выпал во двор. По знаку секретаря солдаты подхватили его и бросили на камни площади. Следом швырнули мешок.

Педивер не помнил, сколько пролежал. Почувствовал, что солнце печет меньше, поднялся и пошел наугад. Забрел в тупики, плутал среди каких-то гигантских руин и, наконец, миновал город. Склоны холмов покрывала пыль, колючая трава, оливы с рассеянными, дуллистыми стволами, кустарник. Рыцарь присел отдохнуть в тени у подножья разрушенного строения. Стемнело, и он устроился на ночлег на заваленном камнями и мусором полу.

Проснулся от холода и, глядя в блеклое небо, подумал, что дело сделано и его ничто не удерживает в великом городе Рима. "Отдохну и отправлюсь домой. С Божьей помощью доберусь".

Развалины, в которых он устроился, видно, были дворцом.

Выветренные колонны некогда поддерживали его кровлю. Он обошел вокруг высокого крошащегося цоколя, побродил среди кустов, неподалеку от развалин нашел родник и решил, что это место годится для передышки перед обратной дорогой.

Рассудив так, Педивер вернулся и принялся ковырять обломком плиты землю неподалеку от каменного фундамента. Он терпеливо рыл яму, выбрасывая на стороны землю и осколки мрамора. Наконец она стала почти ему по пояс глубиной. Но тут его каменная лопатка наткнулась на помеху. Он расчистил это место и с ужасом увидел грязно-белую ступню и щиколотку мраморной ноги, обутой в крылатый сандалий.

— А-а, дьяволица, узнал твой знак! Я прощен и мне твои козни нипочем! — воскликнул Педивер и злорадно рассмеялся. Он скорчил скверной ноге гримасу и быстро засыпал яму.

Пришлось рыть в другом месте. На этот раз ничто не помешало рыцарю, и останки леди Хелависсы нашли упокоение в земле святого города.

Прошло немало времени. Невольный паломник, рыцарь из страны бриттов, не покинул Рима и не вернулся домой. Что удержало его, мы не знаем. Но он годы прожил в хижине, прилепившейся у подножья древнего храма, изредка приходя в город, где получал подаяние вкупе с другими нищими. Кто считал его полоумным, кто — человеком праведной жизни. На его веку в Риме сменилось несколько первосвященников, но ни с кем из них Педивер не искал встречи.

Умер бедный рыцарь Педивер в старости и по желанию, которое он не раз высказывал при жизни, был погребен рядом с женой своей, Хелависсой, под сенью древнего храма, посвященного языческому богу Меркурию.

Евгения Завельская
НА ПЛОЩАДЯХ БЕЛОГО СВЕТА

* * *

вопиющий
в
безоблачной пустыне рожденья
видит
след
ящерицы
простертый посреди пустыни
сухой песчаный ветер
взгляда
намечает
желтолицые
курганы
и
лизжет их подножья
третье око
не
смеживается
на
затылке
ящерицы
снующей по косому склону

* * *

шествие
выношенных под языком
светил
растягивается
с
востока на запад

у
окраины папоротников
качаются
крытые
рваными дырами
селенья
зияют
прорехи
хлопающей
на
ветру
тростниковой рубахи

повадки
древней крови
сушат
обращенные
вверх
скулы

* * *

без году неделя
рожденный
возносится
за
воздетой ввысь
десницей

дым прорицаний
клубится
у
обветренных
камней
губ

рваные облачные дни
длинного века
свистят
в
венах
запястья

улитка небылицы
ползет
по
рукаву
к
облакам

* * *

вскормленный
из рук
высокого закатного воздуха

не рядится
в
одежды

играет
на
трещотке своего ребра

выпятив
к небесам
подбородок

на
площадях
белого света

иссеченных
пронзительными криками
погонщиков ничего

* * *

дремучий жаркий лепет
млечных
кущ
покидает
белоголовый овн

сплевывает
тягучую жвачку
младенческого одиночества
львиную долю
оставляя себе

пасет каменистые пастбища
оклика
их
по имени
в час душных красных ветров

* * *

ровна
прошлomu и будущему
сидит
на берегу озера
скрестив ноги

созерцает
око
в
воде
озера

в воде ока
гремят камни ряской быльем поросшие катятся плоды
тута
плывет
наискосок утреннее светило

* * *

препоясанный
рыщет
из конца в конец
затянувшегося дня рожденья

не
оттирает
плоского лица одиночки пустыни

сухие слезы
восходят
терниями
гор руслами илистых рек горами

реки пересохшего междуречья
текут
по косым скулам

уходят
за
тутовые
рощи опоясывая тутовые рощи

* * *

пустое гнездо
разевает
створы бесконечного клюва
принимая
жажду за надежду

в
клюве
полощется
река сухого русла
на восток смеется плачет на запад
запах
водорослей
стелется вдоль земли
длинными
ночами солнцестоянья

* * *

знамения
огня и воды
плывут
на
ветру средиземномория

душа
не
отводя желтых очей в сторону

идет
по разбитым тропам
в
пустыни
окраин и за окраины
выпяченные губы
ловят
мокрый снег дня новолуния

* * *

встреченный
у
поворота горбатой тропы
протягивает
ковш
с водою
уходит не прощаясь ибо никуда не ушел

в
пустыне гортани
пляшет
холод
других
озер других колодцев
ветер доносит издали плеск дикой осоки

я
бормочет
на
птичьим языке
прорицаний
распуская
по ветру соломенные волосы

Авигдор Шахан

ИЕРУСАЛИМ НЕБЕСНЫЙ

Между каменными колоннами Никарагуа, покрытыми таинственными рисунками, и городом духов Текаль в Гватемале простираются необъятные джунгли. Места эти называются Петен.

Старенький автобус, битком набитый гватемальцами, обитателями джунглей, медленно полз сквозь убийственную жару в сторону Текаля. Из всех пассажиров только один сохранял бодрость духа. Хриплым голосом вещал он из глубин автобуса про Царствие небесное и град Херусалин. Чем дальше описывал он Иерусалим, тем больший восторг и восхищение охватывали его. Постепенно он даже заразил своим волнением слушателей.

– Херусалин! – восклицал он. – Стены его – чистое золото! Из белого камня сложены его здания. Голубые небеса его сияют, как драгоценные камни. Река трепетности омывает его. В воротах города сидит Мессия, золотой жезл в его руке. Он судит народы, текущие перед лицом Его... Хотите вы попасть в Херусалин? – воскликнул он вдруг грозно.

– Да!.. – откликнулся автобус.

– Так научитесь подставлять другую щеку!

Мне пришлось немало поездить по Гватемале, и странствующих проповедников, призывавших слушателей обратить свои души и помыслы к Господу, я встречал не раз, но этот порастил меня своей убежденностью и категоричностью.

Когда автобус остановился в тени огромного дерева и пассажиры высыпали наружу немного отдохнуть, мы с сыном подошли к нему.

– Вы так чудесно рассказывали про Иерусалим, – начал я. – Мы с сыном сами оттуда...

Он посмотрел на меня в недоумении.

– Вы из Херусалина? Но этого не может быть... Херусалин на небесах...

– А все-таки мы из Иерусалима, – сказал сын. И в подтверждение своих слов вытащил паспорт и показал этому человеку. – Видите, здесь написано, что я родился в Иерусалиме.

Проповедник глянул в паспорт, потом поднял глаза на нас. По телу его окатилась волна трепета. Внезапно он пал на землю к ногам сына, благоговейно коснулся их и зарыдал.

– О Господи!.. Херусалин существует! Херусалин существует!.. Вот доказательство... Этот юноша – доказательство...

Все остальные пассажиры сгрудились вокруг и, глядя на него, снисходительно улыбались – они-то никогда не сомневались в том, что Иерусалим существует...

Перевела с иврита Светлана Шенбрунн

*Вита Иоффе**АКУЛА**повесть*

С последней своей возлюбленной, тридцатилетней Юноной, Евгений Корейша познакомился в первой индустриальной зоне. Был он там по какому-то забывшемуся уже делу, вышел из заводууправления на пыльный пятак, названный гордо и постоличному – Старая площадь, миновал стайку алкоголиков, проводивших его незлыми взглядами и заискивающе разинувших беззубые вонючие рты, прошел по Аллее героев – неопрятной дорожке, обсаженной ржавыми железными столбиками, в прежние времена подпиравшими наглядную агитацию, и вышел к шоссе.

Прямо у шоссе была скамейка. Не парковая скамья – со спинкой, с врытыми в землю железными полозьями для должной устойчивости, а обычная деревенская лавочка, два пенька и поперек доска. И на этой скамейке спиной к шоссе и лицом к Евгению сидела женщина гигантского роста и по-детски морщила длинный подбородок.

– Плачешь? – участливо спросил Евгений.

– С чего вдруг? – звучно отозвалась монументальная женщина и зевнула, прикрыв рот ладонью. – Просто спать хочу, – объяснила она доверчиво и громко и улыбнулась, отпечатав скобки на щеках.

– Тогда домой иди, – посоветовал Евгений.

– Очередь не моя, – сказала она и засмеялась.

Тонкое жеребячье ржанье, сплошное, как воздушная тревога, заполнило пространство. Внутри у Евгения стало пусто, и пуста эта быстро налилась новой субстанцией, живительной силой, требующей немедленного применения. Женщина, завершив смех всхлипом, угадала все первобытной интуицией и сказала:

– А то, если хочешь, к тебе пойдем.

Она была нежна, догадлива и отзывчива, а потом заснула, и во сне дышала тихо и необременительно. Евгений стал придумывать ей имя, разглядывая тяжелые веки и длинный бледный рот. Ни одно из известных ему женских имен не сливалось с

ней, было либо слишком легковесным для ее большого тела, либо слишком тяжелым, несовместимым с невесомым дыханием.

Проснувшись, она ответила на его вопрос, тягуче проговорив "Ю-нон-на", и он подивился сращению человека и имени и почти полюбил ее.

Евгений был примечателен: толст, рыж, бородат, но при этом темноглаз, с благородным прищуром то ли вследствие внимательности к окружающему миру, то ли из-за недостатка зрения. По должности он был малым начальником, на убогом языке штатного расписания — завсектором в научно-исследовательском институте. Подчиненные научные сотрудники, психологи и социологи, пытались оправдать участившиеся самоубийства ростом цен на продукты питания. Другой сектор, которым заведовал приятель Евгения, объяснял популярность проституции, вошедшей в десятку самых престижных профессий, отставанием отечественной легкой промышленности от мировых стандартов. Еще в отделе исследовали наркоманию, токсикоманию, подростковую преступность, нередкие в последние годы случаи социально опасных психозов. Тематика отдела не располагала к веселью, однако сотрудники жили шумно и дружно, вместе отмечали праздники и дни рождения не отходя от рабочего места, и только перед ежегодным сокращением в отделе наступала печальная тишина.

Все научные сотрудники в обязательном порядке были лекторами общества "Знание" и выступали с популярными лекциями в домах культуры производственных предприятий. Из полупустых залов уставшие злые люди гулко выкрикивали вопросы о несправедливостях смутного времени. Время было и впрямь так себе: болтливое, нищее, криминальное и постыдное, хотя и с мощными историческими перспективами.

Евгений писал докторскую, завалив стол книгами, а последняя его женщина пекла пироги, поливала цветы, рассматривала семейные фотографии в толстых альбомах, иногда подходила, спрашивала неуместно громко: "Хочешь чаю, Женечка?" На молчание не обижалась, тихо отходила, встряхивая головой, и длинная, неровно отросшая челка, разбившись на пряди, открывала бледный лоб, темные брови, красноватую сыпь у переносицы. Ни с одной женщиной не было Евгению так безмятежно.

Неожиданно для горожанина, Евгений по-крестьянски зависел от погоды. Весной и летом он был энергичен и говорлив, осенью впадал в меланхолию, а зимой страдал болезненной сонливостью, сравнимой лишь с ожиданием скорой смерти. Об этой своей зависимости, приписывая ее генетическому наследству предков-земледельцев, он размышлял, вдыхая прохладу ранних сумерек и радуясь, что кончилась зима и кончился ра-

бочий день, и дома его ждет женщина, чью первобытность не сумело победить враждебное природе время.

– Женья! Корейша! Шеф просил отчет по самоубийствам с возрастной корреляцией! – крикнул сотрудник, чтобы показать свою озабоченность общим делом в нерабочее время.

Евгений огорчился прерванности плавной мысли и мстительно подумал: "Все равно тебя сократят!"

В институтском скверике у каменной горки, задуманной фонтаном, но три четверти года напоминавшей могильный холм, преградив Евгению дорогу, стоял незнакомый человек. В резиновом плаще ассенизатора и дорогой меховой шапке, надвинутой на брови, в домашних тапочках на босу ногу, он был неуместен у здания научно-исследовательского института.

– Корейша! – сказал он.

Была в его голосе унылая завершенность, как при вынесении приговора.

Вмиг ставший вязким мозг просигналил подходящим к случаю "с кем имею честь", но Евгений забыл сопутствующее выражение лица и потому тихо спросил:

– Кто ты?

– Минуточку, – с готовностью отозвался опасный человек и извлек из недр плаща бумагу.

"Справка об освобождении, – догадался Евгений. – Сейчас начнет в лицо совать", – и отстранился брезгливо. Но незнакомец, широко шагнув в пирамиду фонарного света, прочел по бумажке, словно для большей достоверности:

– Фамилия – Чариков, имя – Валерий, отчество – Дмитриевич. Дата рождения... Причина смерти... Ну, это в данный момент несущественно.

Он спрятал документ, хлопнув тяжелой полой резинового плаща.

"Обычный спившийся кривляка", – решил Евгений.

Страх отхлынул, освободив сердце для жизни.

Валерий Дмитриевич Чариков в свете фонаря предстал незначительным: сутул и невзрачен, серая кожа потомственного типографского рабочего, жалкие усики над вздернутой губой...

– Из какой психушки сбежал? – небрежно и нагло, чтобы навсегда изгнать из сознания пережитый страх, спросил Евгений.

– Сумасшедших в нашем роду не было, – с достоинством ответил Валерий Дмитриевич. – А вы не родственником Ивану Яковлевичу Корейше приходитесь? Фамилия крайне редкая. Стало быть, родственник, да еще и по мужской линии. Однако не вижу причин для огорчения: несмотря на слабоумие, Иван Яковлевич имел талант ясновидения, предсказывал будущее, был чрезвычайно популярен...

– Кто?

– Родственник ваш, Иван Яковлевич Корейша. Сорок лет своей жизни, с 1821 года и до последнего часа, неотлучно находился в Московской психиатрической лечебнице. Люди высокого происхождения за честь считали... Из царской фамилии за советом обращались... Из других губерний приезжали, неделями ждали, пока соизволит принять. Не стыдиться, а гордиться таким родством следует. Ведь ген слабоумия сам по себе ничего не решает. В одной маленькой северной стране, например, 40 процентов населения – носители гена слабоумия, так что же? Прекрасная страна, одаренный народ, особо знаменитый произведениями зодчества.

Чеканная тень от веток искажала серое лицо. Не мгновенные перевоплощения, не осведомленность в истории семейства Корейша и не странная речь, а глубокие тени, иероглифами лежавшие на лбу и щеках Валерия Дмитриевича, заморозили Евгения. "Человеческая плоть не держит тени. Это свойство камня, песка и глины", – подумал он.

– Может, присядем, коль уж разговор завязался? – дружелюбно предложил Валерий Дмитриевич. – В ногах правды нет... но нет ее и выше.

Евгений оценил шутку и засмеялся.

Скамья в глубине институтского скверика, давно забывшая тепло человеческих тел, отозвалась уютным скрипом.

– Вот и славно. Нечасто, знаете ли, случается встретить интересного собеседника, – польстил онемевшему Евгению Валерий Дмитриевич. И вдруг добавил торопливой скороговоркой:

– У вас закурить не найдется?

– Я не курю.

– Я тоже, – неожиданно признался Валерий Дмитриевич. – Иногда после обеда попытишь сигарой – для того лишь, чтобы компанию поддержать. Но, видите ли, тело, эта брэнная оболочка для бессмертной души, иной раз заявляет о своих причудах... То есть о причудах бывшего владельца... Как, допустим, дом, покинутый хозяином. Казалось бы, входи и живи в свое удовольствие, а нет! У этой пустой коробки тоже есть свои привычки, с которыми поневоле приходится считаться.

Ветер, осмелевший в темноте, торопил дыхание, путал мысли. Новый порыв ветра всколыхнул улегшуюся на дно души тревогу.

"Надо отрываться, – решил Евгений. – Но достойно, не теряя лица".

– Знаешь, – задумчиво сказал он, умышленно обращаясь на "ты" к едва знакомому человеку, – мне кажется, ты не тот, за кого себя выдаешь.

Валерий Дмитриевич вдруг опечалился.

– Вы правы, – согласился он. – Я не тот, я совсем не тот...

– Тогда колись, – предложил Евгений, переходя на шуточный студенческий жаргон. – Но по-быстрому, меня жена ждет. В пять минут уложишься?

– Я вынужден согласиться на ваши условия. Я все вам расскажу. Но, будучи ограничен во времени, опущу некоторые существенные подробности.

– Счет пошел, – сообщил Евгений, взглянув на часы.

– Да, я приступаю. В начале нашей беседы вы высказались в том смысле, что я, якобы, сбежал из дома для умалишенных. Вы почти угадали. Дом для умалишенных здесь не при чем, но признаюсь, я действительно сбежал... Нет, не сбежал, а украл... А вернее – позаимствовал... ну, скажем, некую вещь. Завтра в 14 часов 26 минут эта вещь обратится в ничто и будет возвращена в то скорбное место, где я ее подобрал.

– Значит, ты стащил нечто, что завтра в половине третьего станет негодным к употреблению, и скрылся с места преступления, – подытожил Евгений. – Что же это за вещь?

– Тело, – сказал Валерий Дмитриевич.

Он вытянул вперед руки и грязную ногу в старом тапочке.

– Вот это не самое лучшее тело. И также позаимствовал некоторое количество одежды дабы не шокировать горожан. Вы спросите: зачем? Зачем мне понадобилась эта гнилая и больная скорлупа? И я вам отвечу: всего лишь для того, чтобы с кем-нибудь поговорить. Я, видите ли, люблю поговорить. И прежде любил, когда пребывал, как говорится, в теле, и сейчас люблю, как вы, вероятно, уже заметили. Нет, не думайте, у тех, кто избавился от брэнной плоти, есть множество способов общаться. Однако я люблю именно беседу, с шутками-прибаутками, с недомолвками и откровенной ложью, с выразительностью на лице, наконец, а без тела это, увы, невозможно.

“Розыгрыш, – понял Евгений. – Старики решили повеселиться. Кретин, как я сразу не догадался! И как все организовали, сценарий сбацали, спившегося актера купили...” Он вспомнил беззаботные годы в студенческом общежитии и подобрел душой.

– Так значит, ты не Чариков? – вполне миролюбиво спросил он.

– Вы установили жесткий регламент, я подчинился вашим требованиям, сочтя их справедливыми, – строго сказал Валерий Дмитриевич. – Я, конечно, отвечу на ваш вопрос, но прошу впредь меня не перебивать. Чариков Валерий Дмитриевич был прежним владельцем этого тела. Однако рекомендую вам пока называть меня этим именем во избежание недоразумений. Теперь, будьте любезны, прибавьте к оставшемуся времени 54 секунды – ровно столько, сколько ушло на ваш вопрос и на мой ответ вам.

Не обращая внимания на строгий тон, Евгений спросил:

– А где сам прежний владелец?

– Умер. Душа покинула тело в 14 часов 26 минут. После констатации факта смерти представителями медицинских и судебных ведомств, тело было доставлено в городской морг. Прибавьте, пожалуйста, еще 20 секунд...

"Блефует, – подумал Евгений. – Жонглирует секундами, не глядя на часы".

– Не будь занудой, – сказал он.

– Так я продолжу. Любое тело, покинутое душой, ровно сутки продолжает биологически функционировать. Не в полную, конечно, силу, но тем не менее достаточную, чтобы этим телом овладеть.

– Некрофилия, – веселясь, вставил Евгений. – По этой теме работает четвертый сектор.

– Какая мерзость – то, о чем вы говорите, – возмутился Валерий Дмитриевич. – Вообще, позвольте заметить, все, что связано с человеческим телом – мерзость. Еда, питье, естественные отправления, совокупление, деторождение, телесные недомогания, половое созревание, угасание мозговой активности... А потоотделение, а газообразование в кишечнике, а сера в ушах, а гнойные выделения из носа и глаз, а отрыжка, икота, чихание!.. А возьмите такие, казалось бы, безобидные процедуры, как стрижка волос или ногтей... или, например, чистка зубов – это ведь ужас! Отвратительно все, все без исключения! Даже столь любимый мною разговор: брызги слюны изо рта, запах невообразимый, остатки еды в бороде...

Евгений провел рукой по бороде.

– Да я не о вас! Я об этом кровавом гнойнике, в котором каждая душа, независимо от своих качеств, должна пребывать определенное время. Человек, конечно, привыкает ко всякой мерзости, в том числе и к своему телу. Но только к своему, заметьте! Все же иные тела ему отвратительны за исключением момента совокупления. Поверьте, нет ничего омерзительнее и гадостнее, чем тело. Стоит человеку посмотреть на свое собственное тело со стороны, стоит только взглянуть на этот кошмар... Однако время мое истекло. Очень вам благодарен. Вот поговорил – и отвел душу...

Валерий Дмитриевич почему-то засмеялся.

– Не мелочись. Даю тебе дополнительное время в связи с актуальностью сообщения, – сказал Евгений. – Ну и каким образом человек может со стороны посмотреть на свое тело?

Валерий Дмитриевич долго молчал. "Не предусмотрено сценарием", – догадался Евгений. Наконец Валерий Дмитриевич заговорил – медленно, старательно подбирая слова.

– Представьте себе, что мы с вами поменялись квартирами. Вы теперь живете в моей, а я в вашей. Допустим, что мы поменялись квартирами со всем содержимым; вокруг вас теперь моя мебель, мои книги, вы спите в моей спальне на моем

постельном белье. А я, соответственно, в вашей спальне на вашем белье. Вам непривычно, неудобно. Вы приходите ко мне, и вдруг видите свое прежнее жилье – его убожество, его пошлость...

"Крутит, подлец, – подумал Евгений. – Потому что нечего отсебятину пороть. Актер должен помнить, что он всего лишь исполнитель, и держаться сценария. Сейчас я его расколю!"

– Ты лучше скажи, как это осуществить технически?

Валерий Дмитриевич ответил так же медленно и вдумчиво:

– Классический способ выглядит так: два человека берутся за руки. Глаза закрыты, лучше всего – завязаны, рот приоткрыт. Обмен телами происходит в течение нескольких секунд. В восьмидесяти семи случаях из ста удается переселиться.

– Наш случай будет одним из оставшихся тринадцати, – засмеялся Евгений.

Он вытянул руки и разинул рот. Валерий Дмитриевич бережно взял его руки в свои. Несмотря на ощутимую грубость кожи, ладони его были легкими и прохладными.

– Глаза закройте, – попросил Валерий Дмитриевич.

Евгений зажмурился.

В ту же секунду Валерий Дмитриевич навалился на него всем телом, прижав к спинке скамьи. Евгений попытался освободиться, закричать, но гнилозубый рот впился в его губы, запечатав голос. Взыв нутром, как чрево вещатель, Евгений рванулся, перекатил Валерия Дмитриевича на спину и, широко размахнувшись, ударил в переносицу.

– Гнида, – не своим голосом взревел Евгений и плюнул ему в лицо.

Он шел, не чувствуя своего веса, и бешенство клекотало в нем, не давая возможности осмыслить это странное приключение. Тяжелая одежда вдруг стала ощутимой, как больничная пижама. Чтобы выплеснуть ярость, Евгений пнул ствол дерева, но вдруг замер в странной позе, неведь как удерживая равновесие. Не осмеливаясь вдохнуть, он смотрел на грязную ногу в старом домашнем тапочке.

Евгений закрыл глаза и сел на землю.

"Этого не может быть", – думал он, ощупывая мелкое лицо, вздернутую губу, редкие усики. Сняв меховую шапку, он провел рукой по густым волнистым волосам и испытал непонятное облегчение. "Я сплю", – успокаивал он себя, рассматривая короткую ладонь с рваным шрамом на бугре Венеры. Он распахнул резиновый плащ и ощупал худую грудь под фланелевой рубашкой, впалый живот, крупные бугристые колени. Затем с вседозволенностью сновидения расстегнул молнию на

джинсах и чужой рукой потрогал чужой детородный орган, подивившись его дремлющей силе.

– Я, признаться, тоже поинтересовался этой деталью тела, – услышал он свой собственный голос и, подняв глаза, увидел себя.

Толстый рыжебородый человек, роднее которого нет никого на свете, доброжелательно улыбался. Он дотронулся до носа и укоризненно покачал головой:

– Напрасно не сдержали себя, переносье повредили. Теперь распухнет.

Евгений уткнулся лицом в ствол дерева и тихо завыл.

Поддерживаемый своей собственной рукой, теперь принадлежащей другому человеку, он, спотыкаясь, вышел из институтского скверика. Город, увиденный глазами умершего в 14 часов 26 минут Чарикова, был угрюм и неприспособлен для жизни: узкие улицы завалены огрызками и мятыми газетами; плохо одетые люди сомнамбулически движутся по кривым потрескавшимся тротуарам; женщины с мертвыми лицами тащат огромные сумки с пустыми бутылками; из темных подъездов слышны чавкающие поцелуи недорослей и ленивый мат алкоголиков.

Евгений вспомнил услышанное где-то: человек осознает всего один процент увиденного, и даже этот процент нельзя считать объективной реальностью, так как осознание зависит от предыдущего опыта, воспитания, образования и физиологических особенностей индивидуума.

"Часть информации, наверное, остается в клетках мозга, – думал Евгений. – Из-за того, что я тащу именно эту черепную коробку, я думаю думы несчастного Чарикова. К тому же он, видимо, страдал цветоаномалией, иначе почему у этой проститутки ядовито-зеленые губы?"

Человек с его лицом, руками и ногами, молча шел рядом его собственной походкой. Уверенно достав кошелек из внутреннего кармана куртки, он жестом Евгения кинул деньги в раскрытый гитарный футляр уличного музыканта.

– Здесь, – сказал он, остановившись у надписи "Душевые".

Мрачный великан долго отсчитывал сдачу. Буркнув: "Больше нет", он швырнул на стойку два махровых полотенца и два крошечных кубика мыла, упакованных в дешевую серую бумагу. Другой верзила повесил куртку и резиновый плащ на вешалку и, следуя закону соответствия, аккуратно пристроил над курткой Евгения чужую меховую шапку. Оба номерка он вручил грабителю, поселившемуся в теле Евгения, оглядел странную пару и презрительно отвернулся.

Других посетителей в душевых не было.

Возле зеркала Евгений остановился. Он быстро взглянул на свое отражение, громко икнул и закрыл лицо полотенцем. Медленно сдвинув махровую ткань, он увидел белки глаз в красных прожилках и тусклый золотой зуб. Человек, глядящий на него из зеркала, вдруг скривился на одну сторону, растянул рот в ужасной гримасе и заплакал.

— Ну? — услышал он.

Великан, распорядившийся вешалкой, оставил свой пост и подошел пружинными шагами.

— Может, помощь нужна? — спросил он и подмигнул.

Евгений отвернулся и вытер слезы ладонью, вздрогнув от подступившей тошноты. "Это всего лишь слезы, чистая влага. Что же меня ждет?" — подумал он.

Из душевой кабинки в глубине зала вышел он сам в своей пристойной одежде и помахал рукой:

— Сюда, сюда. Здесь даже скамеечка предусмотрена, чтоб спокойно намылиться. Вот тут-то мы и побеседуем. А чтобы эти два подозрительных типа не могли удовлетворить своего любопытства, пустим воду. Заодно и ноги вымойте. Вот что меня удивляет: волосы у Чарикова чистые, замечательной красоты волосы, а ноги — словно он ими глину месил. Такое вот несоответствие, да...

Он помолчал, подставил под струю руку и брызнул в лицо Евгению.

— Не чтобы оскорбить, поверьте, а лишь с намерением привести в чувство. Пришли мы сюда для того, чтобы вы смогли спокойно осмотреть свое новое тело, поглядеть в зеркало, познакомиться, так сказать, поближе. А то, знаете, был случай: человек, увидев свое отражение после переселения, умер на месте. То есть юридически все было нормально: тело, в котором он пребывал, числилось мертвым, но, знаете, неприятно как-то... Да и пробыть в его теле пришлось дольше намеченного времени, потому что переселение — это одно, а освобождение — совсем другое дело, требующее гигантских энергетических затрат.

Кстати, вы задумывались когда-нибудь над обычаем многих, очень многих народов завешивать зеркала и вообще любую отражающую поверхность, если в доме покойник? Это не суеверие, поверьте, а забота о душе, сбросившей тело. Душа может видеть и слышать, для этого ей не нужны глаза и уши. И вот, представьте, пролетает она мимо зеркала в своем привычном жилище и не видит привычного отражения. Она пугается, печалится, и это мешает ей двигаться дальше. Вот в городском морге, например, этого обычая не придерживаются, а напрасно.

Прошу прощения, я несколько отвлекся. Итак, чем привлекателен предложенный мной и осуществленный нами способ переселения? Тем, что завтра в 14 часов 26 минут тело покой-

ного Валерия Дмитриевича Чарикова исторгнет душу, в нем находящуюся. Мы к тому времени уже обменяемся обратно: я буду в теле Чарикова ожидать, так сказать, старта, вы же будете пребывать в своем собственном, столь любимом вами теле.

— А если ты не захочешь... обратно? — пробормотал Евгений.

— Помилуйте! Что это вы вообразили такое несусветное? Мне, следовательно, придется ходить на службу в ваше учреждение, спать с вашей женой, растить ваших детей, решать ваши проблемы, веселиться вашим весельем, играть с вашими друзьями в ваши игры? И еще лет сорок таскать эту тяжесть (он похлопал ладонью по толстому животу), и потом мучительно отдирать от старого немощного тела прикипевшую душу? Нет уж, избавьте меня от таких перспектив на будущее.

План у нас такой: поскольку дело к ночи, сейчас мы отправимся к вам домой, отдохнем немного...

— Я тебя к себе в гости не приглашал, — мрачно заметил Евгений.

— Да ведь вас в таком виде без меня домой не пустят! Вообще, я вам советую шапку не снимать, ведь могут какие-нибудь знакомые Чарикова встретиться, опознают как умершего. А то, знаете, был случай... Однако не буду отвлекаться. Значит, пойдем домой, отдохнем немного, потом погуляем по городу, побеседуем... Утром пойдем на службу. Придумаем что-нибудь, чтоб вместе, ведь вас без меня не пустят. Могут милицию вызвать. Или скорую психиатрическую помощь. Когда у вас обеденный перерыв?

— С четырнадцати до пятнадцати.

— Видите, как все удачно складывается! В обеденный перерыв переселимся в прежние свои обиталища. Затем я освобожусь. Тело Чарикова обнаружат в каком-нибудь безлюдном месте и опять доставят в городской морг. Вы вернетесь в свое учреждение. Все вернется на круги своя...

Теперь надо обсудить один важный психологический момент. Как вы будете меня называть? Видите ли, если вы будете пользоваться своим собственным именем, глядя на свое собственное тело, — это может привести к непоправимым нарушениям вплоть до душевного заболевания.

— А что, был случай? — едко поинтересовался Евгений.

— Да, был такой прискорбный случай. Лучше всего в подобной ситуации использовать иноязычный вариант своего собственного имени. Например, Юджин. Вас устраивает?

— Плевать мне, — и Евгений действительно плюнул на кафельный пол.

— Итак, вы будете называть Юджин. А я вас...

— Валерий Дмитриевич.

— Нет, это не годится. В любом, даже самом большом городе, все жители сплетены в единый сложный клубок взаимо-

отношений. Даже тот, кто никогда не встречал Чарикова, мог что-то слышать о нем, тем более – о исчезновении его тела из морга. Могут возникнуть подозрения... Нет, это никак не годится. Можно, конечно, выбрать любое имя, но сумеете ли вы его освоить в столь короткое время? Очень, очень сомневаюсь. Непросто, поверьте мне, научиться реагировать на чужое имя. Людей, засылаемых в другие страны для сбора сведений, месяцами обучают при помощи гипноза. Мы с вами таким сроком не располагаем. Подойшло бы какое-нибудь прозвище...

– Зомби, – угрюмо сострил Евгений.

– Ну, зачем вы так... Когда вы учились в школе, одноклассники как вас дразнили?

– Кореец.

– А, понимаю: прозвище образовано от фамилии, Корейша – Кореец. Очень популярный способ словообразования у подростков. Однако предполагаю, что основа вашей фамилии иная. У жителей полуострова Малакка есть злое божество Карей, мифы приписывают ему сотворение мира. То есть, по понятиям жителей этого полуострова, в основе сотворения мира лежит зло, да... Возможна и другая этимология. Кариш в переводе с одного древнего языка – акула. Пожалуй, на этом и остановимся. Вы меня будете называть Юджин, я вас – Кариш.

Он завинтил краны, шипение воды затихло. Последняя капля ударилась о кафель, стеклянно звякнув, и наступила тишина.

У двери в квартиру Юджин достал из кармана связку ключей.

– Какой?

Евгений молчал. Юджин усмехнулся и зазвенел ключами, как колокольчиком. Дверь распахнулась и зареванная Юнона повисла у него на шее.

– Женечка! Я уж не знала, что и думать, – заголосила она.

"Почему она всегда так вопит, будто ее режут? – думал Евгений. – Удивительно, что эта привычка орать как на стадионе, приобретенная в шумном цеху первой индустриальной зоны, могла меня умилять. Зачем я только подобрал эту суку возле заводоуправления", – упрекал он себя, фиксируя траектории, выписываемые руками Юноны на спине Юджина.

– Я не один, – сказал наконец Юджин, с трудом размыкая железные объятия.

Юнона замерла, глядя в глаза Евгению.

"Она меня узнала, – понял Евгений. – Ее инстинкт, как чутые диких зверей, не зависит от внешних факторов. Она истинная, как сама природа, и теперь я знаю, какой мудростью была мудра та царевна из сказки, которая нашла своего любимого среди ста подобий: она умела видеть невидимое.

Истошно взвизгнув, Юнона бросилась к нему, сжала его жалкое нынешнее тело и поцеловала в губы.

"Она святая", — думал Евгений чужими словами, из-за подступивших слез не сумев создать своих собственных.

— Это вообще с ума сойти, — причитала Юнона, разглядывая его.

Она стянула с него шапку, разворошила волосы, засмеялась своим тонким сплошным смехом и сказала:

— Здравствуй, Валерка!

Любимый коричневый цвет, ставший уныло-зеленым, напал со всех сторон. Ковер с ромбами рябил и норовил влить пощечину зеленым ворсом. Картина на стене, последнее произведение талантливого художника, завершившего свой творческий путь прыжком с крыши шестиэтажного дома, оказалась нагромождением квадратов и спиралей, по исполнению доступных ребенку. Обилие хрупких вещей и антиквариата вызывало благоговение. Евгений, отчего-то смущаясь, подумал: "Здесь жил и работал..."

Юнона в этом искусственном жилище выглядела глиняной горой, таящей замысел скульптора. Даже Юджин поразился такой мощи, хлопнул ее по спине и сказал:

— Брунгильда — сестра твоя меньшая.

Застолье не складывалось. Юджин пил чай из чашки Евгения и, играя роль хозяина дома, развлекал "гостей". Он говорил не умолкая, вырисовывая голосом Евгения мертвые петли и морские узлы.

Евгений молчал. Юнона кивала, встряхивая головой.

— Да что же я вас никак разговорить не могу? — пожаловался Юджин. — И знакомы, как выяснилось, много лет, и чаевничаем так уютно, по-домашнему, а вот на тебе — молчат! Расскажу-ка я вам анекдот, смех компанию склеит. Стучат в дверь. Хозяин открывает, а у порога смерть стоит. С косой на плече, капюшон на глаза надвинут, да только малехонькая, с палец росточком. Хозяин от страха заикается: "Что, уже пора? Так неожиданно... Я совсем не готов..." А смерть входит в дом и говорит ему небрежно, мимоходом: "Не бойся, мужик, я не к тебе, а к канарейке".

Юджин захохотал.

Юнона надумала поддержать разговор.

— А вот в газете на днях писали. Одна женщина умерла, ее отвезли в морг. Патологоанатом уже ножом замахнулся, а она возьми и очнись. Села и спрашивает: "Где я?"

— На глазах у патологоанатома? — ужаснулся Юджин.

И вдруг забеспокоился и пожаловался на усталость.

— Я постелила уже, — сказала Юнона. — И Валере в кабине-те на диване. Иди ложись, Женечка. Я приберу и тоже приду.

— Приятных снов, Кариш, — пожелал Юджин.

— Почему он тебя так называет? — спросила Юнона.

– Акула в переводе с древнего языка, – объяснил Евгений.

– Сам он акула, – вдруг внятным шепотом произнесла Юнона.

– Что?

– Да. Сожрет и не подавится. Я в этом красном уголке уборщица и чтоб в постели не одиноко было, больше никто. Рассказала ему, как Маринка повесилась в стенном шкафу, а он говорит: "Деревня дала миру певцов, художников и поэтов, город – ученых, философов и музыкантов, рабочая окраина – лишь алкоголиков и самоубийц".

– Ты его не любишь? – потерянно спросил Евгений.

– Валер, ты чего? Любишь – не любишь, кого это волнует? Сейчас я с ним, а на завтра не загадываю. Ты лучше про наших расскажи...

– Не знаю я никаких ваших, – не сумев остановить красную волну бешенства, закричал Евгений. – Тварь неблагодарная, вот ты кто! Выметайся отсюда, катись в свою первую индустриальную зону, будешь там станки в цеху перекрикивать, сирена милицейская!

– Не сердись, – попросила Юнона. – Он тебе друг, да? Я просто так сказала. На сердце накипело, вот и пожаловалась тебе как своему.

Евгений вошел в ванную и со злостью захлопнул дверь. Мягкая резина, прикрепленная к косяку, поглотила хлопок; отсутствие звука вызвало ощущение нехватки воздуха, и Евгений судорожно вдохнул. У зеркала стоял Юджин в бирюзовой пижаме и щеткой приглаживал негустые рыжие волосы.

– Кариш! – обрадовался он, глядя на Евгения в зеркало. – Обратите внимание, как бережно я обращаюсь с вашим имуществом.

Не отрывая взгляда от зеркала, он задумчиво сказал:

– Все размышляю: кого это лицо мне напоминает?

– Меня, – буркнул Евгений.

– Нет... То есть – разумеется, но я не вас имел в виду. Помоему, похоже на поэта Мерзлякова. Талантливый был литератор, наставник Михаила Юрьевича Лермонтова. Хотя... был голубоглаз и без бороды.

Он вдруг пропел красивым голосом:

– Среди долины ровныя...

"Я и не знал, что так могу, – удивился Евгений. – Завтра попробую".

Не раздеваясь, чтобы не видеть гадкого тщедушного тела, он лег на диван в комнате, которую Юнона почтительно называла кабинетом. Отжившее сердце Чарикова вздрагивало и сжималось. Из спальни доносились скучные ритмичные скрипы. "Дура", – равнодушно подумал Евгений и заснул.

Ему приснился чужой сон. Вода с высокого обрыва бесшумно падала в озеро. Он плавал в этом озере и видел в тем-

ной глубине длинных рыб с выпуклыми глазами. У берега голые люди, мужчины и женщины, полоскали в прозрачной воде рабочие штаны и куртки. Черные разводы от грязной одежды расползались по всей толще воды гигантскими щупальцами и пытались схватить его. Он уворачивался, но все-таки оказался в черном клубящемся кольце. Кольцо сжималось. "Если невозможно двигаться по горизонтали, надо двигаться по вертикали, – подумал он во сне. – Вниз нельзя. Значит, вверх". Он взлетел, но огромная крылатая рыба выскочила из воды и впилась ему в плечо.

– Ты стонешь. Тебе плохо, да? – громко сказала Юнона, не снимая руки с его плеча.

Евгений привычно погладил ее по голове, обнял, радуясь послушности такого большого тела, его живому и теплому простору, и вошел в него как в озеро своего сна, чувствуя, как стихия впустила его и сомкнулась за спиной.

– А сказала, что не любишь, – укорил он.

Юнона громко возмутилась:

– Когда? Ты что, с ума сошел? Ты же сам меня бросил. Сначала меня, а потом Маринку. А она денег на аборт не набрала и повесилась. А научно-исследовательский институт ее посчитал в статистике.

– Самоубийство – это, конечно, ужасно. А в статистике я не вижу ничего страшного. Все мы "посчитаны" в статистике с рождения и до смерти. И даже до рождения и после смерти. Нет... пожалуй, не все.

– И кто же не посчитан?

– Тот, кого невозможно идентифицировать.

– Вот ты как заговорил... Я давно заметила: если человеку стыдно, он очень умными словами разговаривает.

– Это мне стыдно?

– Кому же еще, мне, что ли? Конечно тебе, Женя.

Евгений вздрогнул, услышав свое имя. Он приподнялся на локте и посмотрел на Юнону. Ее лицо светилось в темноте.

– Ну, оговорилась. Случайных оговорок не бывает, – спокойно сказала она.

"Она ничего не знает о бессознательном, потому что бессознательна по первоначальному замыслу, – думал Евгений. – Но случайных оговорок действительно не бывает. Может, она хотела сказать этому Чарикову, что он такая же акула, как, по ее понятию, я? Или наоборот – что любит меня так же, как когда-то любила его... А может... хоть это невероятно, но, может, она догадалась?"

– Юнона, ты знаешь, кто я? – тихо спросил Евгений.

– Мужик.

И добавила, включив голос на полную мощность:

– Самец.

– Не кричи ты, ради бога. А то проснется сейчас эта акула...

– Не проснется, – без всякого выражения сказала Юнона.

Сердце гулко стукнуло и перестало посылать кровь в опустевший организм. Потом ожило и затрепыхалось беспорядочно, по-рыбьи, усердно пытаюсь наладить ритм.

"Она его убила. Я застрял в этом теле навсегда, то есть до обеденного перерыва", – пронеслось в голове.

Он взлетел над диваном, над расслабленной Юноной, но крылатая рыба вцепилась ему в плечо.

– Пусти! – зарычал Евгений и вырвался.

В спальне никого не было.

– Где он? Что ты с ним сделала, дрянь? – не сумев открыть горло для выхода голоса, просипел он.

Он вышвырнул вещи из шкафа, ожидая увидеть там свою отрубленную голову. От раскиданных тряпок стало душно.

В дверном проеме, головой под прилолку, стояла Юнона в ночной рубашке и безразлично наблюдала за разрушением своего острова любви и покоя.

Евгений опрокинул тумбочку, и венчавшая ее синяя ваза с цветами разбилась, залив пол водой с запахом молодого болота. Из тумбочки неохотно и как-то по частям вывалился полотняный мешок, глухо стукнувшись об пол. Почувствовав, как зашевелились на голове густые волосы, он потрогал мешок трясущимися руками. Внутри было что-то расчлененное.

Не в силах взглянуть на страшный мешок, Евгений сипло шептал:

– Это... это...

– Это старая обувь, придурок, – сказала Юнона и с грохотом высыпала на пол ботинки, туфли, свои стоптанные сапоги.

– Тело ищешь? – насмешливо спросила она.

Евгений кивнул.

– Он ушел, – сказала Юнона.

Стиснутые зубы, известный с детства способ заглушить страх, на сей раз отозвались болью в деснах. Евгений схватил с полу сапог Юноны и вцепился зубами в голенище, как будто желая откусить кусок кожаменителя.

– Ты тут с ума не сходи, – сказала Юнона, отбирая у него сапог. – Тут тебе не общага.

– Куда? – хрипом выдохнул Евгений, зачем-то вспомнив о параличе голосовых связок.

– Не знаю. Сказал, что со мной ему разговаривать неинтересно и что у него времени нет. Наверно, пошел искать, с кем под утро можно беседу побеседовать.

Мраморные разводы на рассветном небе стремительно меняли очертания, словно в поисках гармонии. Холодный воз-

дух, пахнувший железом, был неприятен, но необходим, как многое в жизни. Евгений в своем альпинистском одеянии студенческих лет, сохраненном стараниями разных женщин, в тяжелых горных ботинках и меховой шапке испытывал неловкость, какую чувствуют на маскарадах люди, отвыкшие от детских незатейливых забав.

Твердый предмет отмечал каждый шаг Евгения ударом по бедру. Расстегнув молнию на боковом кармане штанов, от извлек складной нож, обязательную деталь альпинистского снаряжения. Он обрадовался, как радуются лишь нечаянному спасению, и, вооруженный, увереннее зашагал неизвестно куда.

В зеленой зоне второго микрорайона спали у костра бездомные мужчины, объединенные бедой и одиночеством. Они ворочались и жаловались во сне. Двое не спали, сидели рядом, кормили огонь ветками и тихо разговаривали.

– Ниче, Леха, ты только крылья не опускай, – донеслось до Евгения вместе с волной перегара.

Евгений подумал, что любой из этих мужчин может быть Юджином. Возможно, он еще раз переселился в кого-то, отдал тело Евгения какому-нибудь забулдыге, и сидит сейчас у костра, неузнаваемый, и смеется над ним, над тропической расцветкой альпинистского костюма, над его ужасом и надвигающимся безумием.

На обочине остановилась машина, вытолкнула из теплого своего нутра пассажиров, шофер выгрузил из багажника красивые чемоданы и уродливые распухшие сумки. Люди засеменили к подъезду, придавленные тяжестью вещей и теснящимися впечатлениями.

“Он может быть на вокзале, – подумал Евгений. – Или в аэропорту. Там круглосуточно работают рестораны, и люди перед дорогой общительнее, чем в каждодневной жизни”.

Он поспешил к машине, услышал названную шофером цену и сказал, садясь на заднее сиденье:

– И ты акула.

Шофер, обернувшись, внимательно посмотрел на него.

– Сядешь рядом со мной, – повелительно сказал он. – И деньги вперед.

В вокзальном ресторане старая женщина мыла полы. Она оперлась на швабру и посмотрела на Евгения блестящими глазами в сморщенных веках, похожими на вороньи гнезда с провалившимися на дно сокровищами. Разноцветные синяки на скулах, зеленый и синий, делали ее лицо асимметричным. Она ждала слова, чтобы откликнуться бранью и так избавить свое сердце от тоски по неслучившимся мужьям, от плача по всем своим нерожденным детям.

– Ты бегала быстрее всех в отряде, – медленно сказал Евгений. – Ты пела в хоре, ходила в драмкружок и была влюблена в старшего пионервожатого.

– Нет, в артиста Дворжецкого, – поправила она тихо. – А потом?

Случайно снизошедшее знание кончилось. Подражая гадалкам, Евгений сказал многозначительно:

– За любовь свою ты была наказана.

Вороньи гнезда налились слезами, но не расплескали их, а вобрали, втянули внутрь, в самый зрачок, и заблестели еще ярче.

Она вернулась к работе и, размазывая шваброй грязную воду, спросила буднично:

– Ты выпить хочешь, или что?

– Рыжий такой. Толстый. С бородой. Он был здесь? – спросил Евгений.

– Рыжий-бесстыжий, усы коромыслом, борода лопатой, щурится – из глаз масло сочится, этот, что ли?

Уязвленный Евгений кивнул.

– А нам не велено про посетителей интересующимся лицам сообщать, кроме как если удостоверение покажут, что из милиции. У тебя удостоверение есть?

– Я не из милиции.

– А вдруг ты проверяющий? Скажу тебе, а меня за это с работы выпрут. Я на первой индустриальной завскладом спец-одежды была, за длинный язык такого места лишилась.

– Я тоже с первой индустриальной, – сказал Евгений, не зная, лжет он или нет.

– Да что ты? С какого цеха?

– Из сборочного.

– Вот ведь недаром говорят: мир тесен. А чего ты таким пугаем вырядился? И этот рыжий – зачем он тебе? Ты, парень, меня послушай, я битая-перебитая, опасность за версту чую. Беги от него, не то пропадешь. Не человек он, акула.

– Акула, – эхом отозвался Евгений.

Повинуясь какой-то мысли и стыдясь оформить ее в слова, он протянул женщине деньги. Она с достоинством взяла их, спрятала во внутренний карман, засунув руку чуть ли не в собственное сердце, сказала, показательно вздохнув:

– Все наши парни цеховые сами в петлю лезут. На кой он тебе сдался, рыжий дьявол! В кабинете он. С Артемом Бурмистровым, официантки нашей сожителем.

Евгений Корейша был знаком с Артемом Бурмистровым. В год народной эйфории в подземном переходе к нему подошел молодой человек и сообщил:

– Я гений.

– Я тоже, – ответил Евгений.

– Приветствую брата не по крови, а по духу, – закричал генный, и представился, – Артем Бурмистров, поэт.

– Евгений Корейша, научный работник.

– Я запомню, – с непонятной угрозой сказал поэт. – Я буду следить за вашим восхождением на Олимп славы. И вы запомните: Артем Бурмистров, поэт.

В тот год в моде были чудачества.

Евгений без стука распахнул дверь.

Кабинет был рассчитан на другое время суток. Утренний свет, хлынувший в окно, оскорбил тяжелые кресла, замысловатый позолоченный подсвечник, высокую вазу с цветком и даже сам цветок – темную отечную розу. Декорации, приготовленные к вечернему спектаклю, утром выглядели фальшиво. Поэт был поблекший, полысевший и совсем не такой молодой, как когда-то в подземном переходе. Сам себе Евгений тоже не понравился: толстый, лоб под дегенеративной рыжей челочкой лоснится от пота, борода торчит как приклеенная. "Чем Юнону мог привлечь такой... – думал он, глядя на Юджина, – такой..." И вдруг неожиданное определение из другой, непрожитой Евгением жизни, завершило рождающуюся фразу: "...такой сытый".

Между тем Юджин, широко улыбаясь, подошел к Евгению и взял его за обе руки, приветствуя.

– Что, переселяемся обратно? – не обращая внимания на поэта, сказал Евгений. – Открыть рот, закрыть глаза?

– Дорогой Кариш, я очень рад вас видеть. Вы замечательно точно приняли телепатический сигнал и прибыли по указанному мной адресу на исходе тех десяти минут, которые я определил для вашего появления.

– Ты что несешь? Ты просто сбегал, пока я спал.

– Видите ли, человек, на которого направлен телепатический сигнал, почти никогда не осознает вмешательства. Он убежден, что любой его поступок – результат размышлений и последующего волевого усилия. Однако люди внимательные, подробные в своей собственной жизни, иной раз замечают несоответствие. Дорогой Кариш, скажите пожалуйста, во многих ли парках, скверах, ночных ресторанах, видеосалонах, банях, игорных домах, ночлежках, притонах, отделениях милиции и больницах вы меня искали?

Евгений вспомнил свой прямой маршрут от дома до вокзального ресторана.

– Так значит, ты можешь людей за ниточки дергать? – с ненавистью глядя в свои глаза, спросил он. – Можешь устраивать революции, войны, переселение народов?

– Не совсем так. Необходимы... как бы это назвать, чтобы понятно было... ну, скажем, позывные. В настоящий момент связь существует только с вами, поскольку нас связывает нечто большее, чем даже кровное родство. Только что я договорился

об условиях контакта со старым знакомым. Позвольте вас представить друг другу.

– Не трудись, – буркнул Евгений, не взглянув на поэта.

– Я же вам говорил, меня многие знают, – сонно пролепетал Артем Бурмистров.

Евгений потянул Юджина к двери.

– Нам пора.

Юджин обернулся. Над воротничком рубашки нависла складка жира.

– Счастлив возобновить старое знакомство. Надеюсь, наши отношения будут долгими и обоюдоприятными, – вежливо попрощался он.

– И вам того же, – пробормотал поэт, засыпая.

Проснувшийся город уже начал свою повседневную жизнь. Мрачные люди толпились на остановках общественного транспорта; бизнесмены в красивых машинах, превышая разрешенную скорость, неслись по разбитым дорогам; невыспавшиеся дети продавали газеты; старые люди собирались стайками и пересказывали друг другу сны и сплетни.

Юджин купил уголовную хронику, быстро просмотрел и сообщил Евгению:

– В разделе "происшествия" заметка "Куда исчез покойник?" Желаете ознакомиться?

– Не желаю.

– А не желаете, так и не надо.

Он бросил газету на тротуар и взял в руки еженедельник "Тайное и явное", издаваемый объединением мистиков и спиритов.

– Эй, дядя! – окликнул его продавец, легкий белесый подросток. – Сначала заплати, а потом лапай.

– Подобная фраза не осквернит лишь уст блудницы, – ответил Юджин.

Подросток покраснел, кожей выдав обиду.

Евгений посмотрел на мальчика и вновь незваное знание, как в вокзальном ресторане, смутило его разум.

Сверстники пинали его, толкали, ставили подножки. Он плакал по ночам и мечтал стать богатым и знаменитым. Через год он выиграет в лотерею крупную сумму. Через два – поступит в заочный юридический институт. Через пять – откроет частное сыскное агентство. Через десять лет он будет известен всей стране как отечественный Шерлок Холмс.

Знание внезапно оборвалось.

"Может быть, родственник, умерший в психиатрической больнице, тот, о котором до вчерашнего дня я ничего не знал, – Иван его звали, Иван Яковлевич, – передал мне свой дар видеть прошлое и будущее? Или это способность Чарикова, дос-

тавшаяся мне вместе с его телом? Или я просто стою на обрыве, за которым – безумие, и знание – удел каждого безумца?”

– Юджин, – тихо окликнул он.

Юджин оторвался от статьи в еженедельнике.

– Очень интересно. Рекомендую к прочтению. Статья о магической сущности человеческого глаза. О том, что глаз, якобы, зеркало души. Мысль не нова и, как всякое заблуждение, необыкновенно устойчива. А ведь глаза, как и уши, предназначены всего лишь для улавливания сигналов материального мира, звуков и изображений, не более того. Но ухо несравненно интереснее глаза. Во-первых, с точки зрения изобразительности: замысловатым рельефом, черной дырой, ведущей в святая святых человеческого тела – в мозг. Во-вторых, ухо, а также ладонь – органы, на которых присутствует печать судьбы.

О, да тут и стихи есть! Вот, пожалуйста, произведение нашего общего знакомого Артема Бурмистрова. Называется “Молитва”. Артем Бурмистров одаренный человек, но, к сожалению, обескураживающе необразованный.

– Юджин, – повторил Евгений. – Скажи, а после переселения бывают какие-нибудь побочные явления?

– Судьбы читаете? – сразу догадался Юджин. – Это не после переселения. Это свойственно всем умирающим.

– Что?

– В данном случае я просто воспользовался общепринятой терминологией, – пояснил Юджин. – Тело, готовясь исторгнуть душу, переводит на сознательный уровень человеческую способность предвидеть будущее. Дело в том, что особи, не наделенные геном предвидения, не выжили, погибли в бесполезной борьбе за существование. Выжили лишь носители гена, и передали его своим потомкам.

– Значит, все люди на земле – ясновидящие?

– Без малейшего исключения. Дорогой Кариш, вам следовало бы задуматься над историей великих катастроф и крушений. Известный факт: сошедшие с рельсов поезда, терпящие крушение корабли и самолеты заполнены пассажирами лишь на семьдесят процентов, а иногда и того меньше. Пунктуальные люди вдруг опаздывают к отправлению, путают рейс и дату отбытия, в последнюю минуту меняют планы и отказываются от билетов. А возьмите пожары! В этом городе 47 лет назад сгорел дотла многоквартирный дом, и лишь 18 жильцов из 69-и в ночь трагедии находились в своих квартирах. Все люди, избежавшие трагических ситуаций, пошли на поводу у своих смутных предчувствий, невнятной тревоги, необоснованных страхов. Они пытаются объяснить свое спасение вмешательством высших сил, но все гораздо проще: они спасли сами себя, сумели придумать какой-нибудь глупый предлог, какое-нибудь нелепое объяснение, чтобы избежать беды. Остальные же, будучи свя-

занными обязательствами и обещаниями, не нашли веской причины, чтобы уклониться от гибели.

Однако на сознательном уровне эта замечательная способность проявляется лишь в последние часы, когда человеку уже нет дела до окружающего мира, когда, как говорится, пора и о душе подумать.

Юджин вдруг захохотал. Он смеялся долго, до последнего булькнувшего в гортань смеха.

— Понимаю, мой смех кажется вам неуместным, возможно, даже кощунственным. Но это действительно смешно. Посудите сами: человек вспоминает о душе лишь для того, чтобы вставить ей палки в колеса и помешать освободиться, чтобы любыми способами, вплоть до самых недостойных, удержать ее в теле. И это вместо того, чтобы со младенческих лет пестовать ее и лелеять, создавать ей условия для совершенствования и безболезненного освобождения. Такой вот парадокс, да...

Однако через 28 минут 31 секунду я должен занять ваше рабочее место. Следует поторопиться, дабы не навлечь на вас нареканий начальства.

— Следует поторопиться и спрятаться где-нибудь в подвале, в котельной, на заброшенной стройке или в другом "безлюдном месте", дабы не попасться на глаза сотрудникам института, — сказал Евгений. — А лучше всего прямо сейчас найти укромный уголок и переселиться обратно, дело недолгое.

— Помилуйте, Кариш, это немыслимо, — то, что вы предлагаете! — воскликнул Юджин. — Вы думаете, переселение — это забава, что-то вроде переодевания в чужие одежды, а это сложное и рискованное дело, к которому следует готовиться несколько лет. К тому же, как я уже говорил, переселение может не состояться по разным причинам или может быть осложнено неожиданными недоразумениями. У нас с вами все сложилось на редкость удачно, и я намерен использовать все свое время, чтобы вполне насладиться материальным миром.

Переселение, как вы верно изволили заметить, не занимает много времени, поэтому обратный обмен мы начнем ровно за минуту до старта, в 14 часов 25 минут, и ни секундой раньше.

— Ты и впрямь акула, эта старая ворона сразу тебя раскусила, — сказал Евгений.

— Эта поломойка в ресторане? Я ей денег не дал, потому что половые получают денежное поощрение от хозяина заведения, а не от посетителей, так это принято. Однако она обиделась. К тому же она вообще терпеть не может рыжих, считает всех людей с рыжим цветом волос хитрыми, жадными и наглыми пройдохами и всех их, мужчин и женщин, величает акулами. Так что ее характеристика скорее относится к вам, нежели ко мне. Но нам следует поспешить...

— Поспеши, — сказал Евгений, не двигаясь с места. — Я никуда не пойду.

— Тогда до встречи, — Юджин нелепо помахал в воздухе толстой рукой. — Могут, конечно, возникнуть недоразумения, я ведь не знаком с характером вашей работы, не знаю ваших должностных обязанностей... Но ничего, разберусь на месте.

Он пошел к автобусной остановке, на ходу перелистывая "Тайное и явное".

Евгений постоял несколько секунд и побежал за ним.

В глубине институтского скверика на злополучной скамейке сидела Юнона в бабьем каком-то платке, серой одеждой сливаясь с серыми, еще не набравшими весеннего цвета деревьями; сидела огромная и неподвижная, и издали казалась парковой скульптурой середины века.

Евгений и Юджин остановились, глядя на нее. Мимо проходили сотрудники, здоровались с Юджином, задерживали взгляды на альпинистском костюме и меховой шапке Евгения, и шли дальше по асфальтированной дорожке, прямо к главному входу, не спуская с лиц гримасу приветливости.

Юнона встала и пошла к ним, глядя вниз, на землю, будто искала взглядом потерянную до снегопадов сережку.

— Я пойду, — сказала она не поднимая глаз. — Я попрощаться зашла.

— Подожди один день... Полдня... — шепотом сказал Евгений.

— Всего полдня! — поддержал Юджин.

— Все равно... Все уже, — громко и ясно сказала Юнона, по-прежнему не отрывая взгляда от земли. — Прощай.

Евгений смотрел, как она уходила, осторожно ступала большими ногами, и чужое сердце сжалось от тоски. Он попробовал угадать, как она будет жить без него, но будущее не захотело открыться, занавешенное серым, как одежда Юноны, туманом.

— Что ты сделал с моей жизнью? — еле слышно сказал он.

— Помилуйте, в чем я виноват? — возмутился Юджин. — Я искренне сожалею, если произошло недоразумение, но обвинение ваше несправедливо. Ну, посидели вечером за столом, разговор не клеился, разошлись спать. Я во сне не нуждаюсь и ночью покинул ваш гостеприимный дом. Больше я вашу подругу не видел до сего часа. Поистине недоумеваю — в чем я виноват?

— Пошли, — сказал Евгений и первым пошел по дорожке к входу в здание, понимая, что после обеденного перерыва ему придется начинать жизнь заново.

Юджин сел на место Евгения и быстро переставил справа налево электронный календарь, выдвинул один за другим ящики стола, приложил к уху телефонную трубку и послушал гудок, заглянул под стол.

Евгений, отчего-то чувствуя себя уверенней, чем на улице и дома, снял шапку и помотал головой, освобождая уставшие от жаркой тесноты волосы. Не увидев свободного стула, он сел на подоконник за спиной Юджина и отвернулся от людей.

– Что у нас по плану на сегодня? – голосом делового человека спросил Юджин, внимательно разглядывая какую-то ничемную бумажку.

Научные сотрудники молчали, смущенные присутствием постороннего. Наконец один, самый старательный, тот, который накануне погубил Евгения, выкрикнув в институтском скверике его имя, отозвался:

– Отчет по самоубийствам с возрастной корреляцией. Разработка вопросника для анкеты по просьбе ВНИИИзП. Лекция на производственном предприятии...

Юджин остановил его:

– Я, кажется, неоднократно предупреждал: никаких аббревиатур! Изуродованная речь способна изуродовать мир. Что это еще за вниз-зэпэ, вымолвить язык не повинуетя!

– Это... Волжский научно-исследовательский институт измерительных приборов, – гаснущим голосом ответил сотрудник.

– Не кисай, Дима, сокращение не скоро, еще поработаешь, – подбодрил с подоконника Евгений.

– Сейчас я хочу представить вам необыкновенного человека и продемонстрировать его уникальные способности, – сказал Юджин. – Думаю, это нам пригодится в дальнейшей работе. Этот человек по имени Кариш...

– А фамилия как? – спросила компьютерная наборщица Лариса.

– Вопросы потом. Этот человек после производственной травмы обнаружил способность к предсказаниям, к предвидению грядущих событий в судьбе отдельного человека.

– Шарлатан! – громко сказал приятель Евгения.

Сотрудники оживились в предчувствии случайного развлечения.

– Я надеюсь, – продолжал Юджин, – что Кариш сумеет развить свои способности до предвидения судеб народов и государств. Я надеюсь, что предсказания его будут более ясны в изложении, чем катрены великого Нострадамуса. Сейчас вы видели, как Кариш назвал по имени сотрудника нашего отдела, с которым никогда не встречался прежде.

– Это ничего не доказывает!

Приятель Евгения хотел затеять спор и выплеснуть в лицо присутствующим свою блестящую эрудицию, которой нигде не находил применения.

— Вы правы, — согласился Юджин. — Тогда поищем других доказательств. Есть желающие принять участие в эксперименте?

Сотрудники улыбались и молчали.

— Тогда начнем с самого недоверчивого, — Юджин раскрытой в приглашающем жесте ладонью указал на приятеля Евгения. — Вы можете задавать нашему гостю любые вопросы.

— Как меня зовут? — насмешливо поинтересовался приятель Евгения.

— Саша тебя зовут, — сказал Евгений, с удовольствием произнеся привычное имя. — Саша — это для близких, а официально — Сорокин Александр Константинович.

— Вы могли узнать наши имена заранее, — сердито сказал Саша Сорокин. — И я прошу обращаться ко мне на "вы".

— Извините.

— Следующий вопрос: кто я, где я живу, каков состав моей семьи?

— Вы психолог, кандидат наук. Трижды были женаты и все три раза удачно. Живете у мамы, так как оставили очередную квартиру очередной жене. У вас есть собака Лайма и автомобиль "Москвич".

— И даже это нельзя считать доказательством, — растерянно пробормотал Саша.

— А будущее? — Юджин полуобернулся к подоконнику и опять навесил на воротничок рубашки складку жира. — Можете вы что-либо сказать о будущем Александра Сорокина?

Евгений вспомнил, как Саша разливает водку, придерживая левой рукой горлышко бутылки, как, обнаружив очередную поломку в моторе своего дряхлого "Москвича", кричит, размахивая руками: "Будь проклят день, когда я сел за баранку этого пылесоса!", вспомнил рукой шелковую шерсть Лаймы, губами — морщинистую щеку старенькой Сашиной матери. Он не мог смириться с тем, что такой знакомый, такой понятный Саша Сорокин не узнает его. "Да ты что, Саша! Это же я! Я!" — мысленно кричал Евгений. Но Саша телепатического сигнала не принимал, или Евгений не владел искусством передачи мыслей.

— Ты... — выдавил Евгений. — Вы...

И вдруг он увидел, и заговорил быстро и невнятно:

— Письмо. Брось в почтовый ящик. Оно в портфеле лежит, книгами зажато. С одной стороны Прибрам, "Языки мозга", с другой Иосиф Бродский в суперобложке, второй том. Брось в почтовый ящик. Он бездарен, диссертацию ему всем отделом писали. Его время кончилось, тест покойный теперь уже не вступится. Брось письмо. Через полгода ты будешь заведовать отделом. Через 12 лет возглавишь институт. Международный

симпозиум психологов... Основатель новой психологической школы... Письмо... В почтовый ящик...

Саша Сорокин вскочил, взвизгнув стулом, и выбежал из комнаты.

Евгений тяжело дышал, отвернувшись к окну.

– Вот и стул освободился, можете удобней расположиться, – сказал Юджин. – Дима, будьте добры, предложите стул нашему гостю.

Дима послушно принес Сашин стул. Евгений, по-прежнему сидя на подоконнике, поставил на стул ноги и привалился спиной к оконному стеклу.

– Опасно, знаете ли, так сидеть, – сказал Юджин. – Повышается вероятность несчастного случая. А подобного рода несчастный случай может быть неверно истолкован и принят за самоубийство. На самом деле нельзя четко разграничить эти понятия. Сколько несчастных случаев заполняют в отчетах графу "самоубийства", и сколько самоубийств рассматривается как несчастные случаи?

Возьмем для примера конкретную ситуацию: пешеход, попавший под колеса автомобиля. Возможно, водитель отвлекся, задумался, перестал следить за дорогой и сбил человека. Это несчастный случай, водитель – преступник, пешеход – жертва. А возможен и другой вариант. Человек, сам себе не признаваясь в своем намерении умереть, подставил свое тело под движущийся транспорт. В этом случае преступник – пешеход, а жертва – водитель. И именно жертва, то есть водитель, понесет наказание, а с погибшего какой спрос? Подобный случай не будет рассматриваться как самоубийство ни здесь, ни... нигде, однако мы видим, что имеем дело с самым заурядным самоубийством. Образно выражаясь, человек наложил на себя чужие руки.

Юджин с удовольствием оглядел притихших сотрудников.

– У вас была возможность убедиться в удивительных и необъяснимых способностях нашего гостя. Теперь, полагаю, от желающих узнать свое будущее отбоя не будет. С кого начнем?

Люди отводили глаза и опускали лица.

– Дима, – сказал Юджин.

Дима обреченно смотрел ему в глаза.

– Вы человек молодой, способный, энергичный, с деловой хваткой. Интересует вас ваше будущее?

Дима кивнул, поощренный положительной характеристикой.

– Так спрашивайте! Можно ли упустить такую редкую возможность?!

Дима зачем-то встал.

– Меня интересует мое будущее, – послушно сказал он, завороченно глядя на Юджина.

– Эй! Гадать тебе буду я, а не он, – позвал с подоконника Евгений. – Что ты на него уставился как под гипнозом?

– Меня интересует мое будущее, – гаснувшим голосом повторил Дима, с усилием переводя взгляд на Евгения.

“Все из-за тебя, недоумок! – думал Евгений, пристально глядя на бледного Диму. – Из-за тебя я попался, из-за твоей идиотской старательности. Приду в себя – уволю к чертовой матери, чтоб рожа твоя угодливая не маячила перед глазами каждый божий день. Не хочу я про тебя думать, да и нет у тебя никакого будущего! Так и проторчишь мэнээсом, приклеишься к какому-нибудь влиятельному дяде, чтоб надежней было, будешь постукивать слегка, незлостно, так и продержишься до пенсии. Скучно мне думать про тебя, очень уж ты невыразительный, бесцветный какой-то. Напугать тебя, что ли?”

– Ты свое счастье уже проморгал, – сказал Евгений. – Прошел – не заметил. Или заметил, да захотел с судьбой поторговаться. А судьба этого не любит. Счастье, оно идет человеку навстречу, плечом его толкает, мол, хватай меня на руки и тащи в ЗАГС, а ты что сделал? Такую любовь растоптал, похерил, и стал ждать, когда выгодная невеста подвернется. И плевать, что у нее лицо как кукушкино яйцо и фигура поперечная, и сама дура замороженная, зато она дочка... чья? Чья дочка, тебя спрашиваю!

– Барамыкина, – пульсируя звуками, сказал Дима.

– Вот, самого Барамыкина дочка, ни кожи ни рожи, вот на кого ты Лариску, красавицу и умницу, променял!

Компьютерная наборщица Лариса, заливаясь слезами, убежала, хлопнув дверью. Евгений продолжал, нахально покачивая ногой, перекинутой через спинку стула.

– Ты, я знаю, спортом увлекаешься? В теннис играешь? И ракетка у тебя какая-то экстренная, и костюм специальный. Ну, как же, там ведь такое общество собирается! Это не рыбалка, это спорт для белых людей. Но и здесь ты свое уже отыграл. Скоро ты сломаешь...

(“шею”, хотел сказать Евгений, но что-то внутри воспротивилось, подтолкнуло на язык другое слово)

– ...сломаешь руку. Двойной открытый перелом с осложнениями. Не то что в теннис играть – писать будешь с трудом, локоть будешь на подушечку укладывать. Да что ты скис совсем? Вот в соседнем отделе Дамахин с детства в инвалидном кресле, а доктор наук, между прочим, и женился по великой любви. А ты из-за какой-то подушечки нюни распустил. Все! Такие у тебя перспективы на будущее. Ничем не могу помочь.

“Скажи спасибо, что я тебе шею не свернул”, – думал Евгений, наблюдая, как, дрожа губами, Дима достает сигареты.

– Я покурить, – тоном школьника, спрашивающего разрешения выйти в туалет, сказал он.

Евгений почувствовал какое-то странное, почти физиологическое удовольствие от этой игры, от возможности сводить старые счета, не будучи узанным, от своей нечаянной власти над людьми.

– Жить будешь долго, – пообещал он социологу Беленькому, больному сахарным диабетом. – Так долго, что сам себе надоешь, не говоря уж о близких. Умрешь в доме для престарелых всеми забытый.

– Эмигрируешь в другую страну, – сообщил он Нине Валентиновне, чванливой ханже предпенсионного возраста. – На жизнь будешь зарабатывать проституцией в дешевом отеле.

– Да я лучше повешусь, – поджав губы, сказала Нина Валентиновна.

– Вот этого не рекомендую, – вмешался Юджин. – Не буду вдаваться в подробности, но, поверьте, любой исход лучше, чем самому, своими собственными руками...

– Помолчите, Женя, я не с вами разговариваю, – оборвала его Нина Валентиновна.

– Я уже все сказал, – обиделся Евгений. – Ничем помочь не могу.

– Кто еще желает заглянуть в замочную скважину волшебной двери? – тоном конферансье, вызывающего к зрительному залу, спросил Юджин.

– Я в эти игры не игрок, – сказал молодой сотрудник и направился к двери.

Евгений посмотрел на его джинсовую спину, и внезапно знание снизошло, вызвав озноб и сердцебиение.

– Подожди, Максим, – окликнул он. – Послушай...

– Не хочу!

Максим взялся за ручку двери.

– Деньги, – сказал Евгений. – Много. Я скажу, где. Они твои.

Максим затормозил у двери и обернулся.

– Давай договоримся. Я скажу, где. Половину отдашь... вот ему, – Евгений указал на Юджина.

– А тебе самому не надо?

– Нет. Мне не надо. Половину ему. Согласен?

– Согласен.

– Бабка в позапрошлом году померла. В тридцатые годы у нее любовник был, чекист, среди своих лютостью славился, натуральный зверь...

– Мы, кажется, собирались о деньгах поговорить, а не о внебрачных связях моей бабушки, – холодно остановил его Максим.

– Он ей кольцо подарил. В правой задней ножке кухонного шкафчика тайник. Изумруд дивной красоты в оправе работы

фаберже. Пригласишь эксперта из исторического музея. Половину денег...

– Это я уже слышал. Отдам ему, – Максим подбородком указал на Юджина. – Что же ты всем так не гадал? А то – дом престарелых, инвалидное кресло... Эх ты!

Он оглядел сотрудников и зубасто улыбнулся:

– Ох, и погуляем же, если правда!

Максим распахнул дверь.

Чей-то предсмертный крик, топот бегущих ног и ропот голосов взорвали тишину институтских коридоров. В комнату влетела ведьма из бухгалтерии, чуть не сбив с ног Максима.

– Что вы сидите? Люди вы или нет? – завопила она. – Там в библиотеке ваш Дима с лестницы упал и весь стеллаж на себя обрушил. Лужа крови на полу! Лужа!

Она выбежала, создав ветер.

Сотрудники бросились к двери, чтобы влиться в строй бегущих и так выразить свое сочувствие пострадавшему. Евгений прыгнул с подоконника и устремился за ними.

– Ничего страшного не произошло, – небрежно сказал Юджин. – Он сломал руку. Двойной открытый перелом с осложнениями.

Евгений почувствовал пустоту. Движением, свойственным слепым, он потрогал воздух. Он попробовал говорить, но звук рождал мощное эхо, какое бывает лишь в горах. Звуковая волна бумерангом возвращалась к нему, угрожая разорвать барабанные перепонки.

– Я-а-а... – контуженным голосом выдавил он.

– Вы, уважаемый, вы и никто другой. Поскольку мы здесь с вами одни остались, я буду предельно откровенным. Что же это вы себе позволяете? Люди, вам небезразличные, попросили предсказать будущее. Как известно, будущее каждого человека зависит от множества учитываемых и неучитываемых факторов. Иначе говоря, в судьбе каждого человека предусмотрены несколько вариантов, зачастую антонимичных: богатство – нищета, почет – бесчестье и так далее. Вы сами сообщили о возможности вариантов, предсказывая будущее Александру Сорокину. Из этих нескольких вариантов вас просили выбрать наилучший. Пророчество, произнесенное вслух, исключает все иные варианты, как бы перерезает событийные нити, позволяющие им осуществиться. По сути, люди доверили вам свои судьбы. И как же вы этими судьбами распорядились? Это просто немилосердно, это бездушно...

Евгению наконец удалось связать звуки в слово.

– Почему? – промычал он.

– Вас интересует, почему сбываются ваши безобразные фантазии? Потому что по законам материального мира вы яв-

лаетесь умирающим. Предсказания умирающего, как правило, сбываются. По существующей у разных народов традиции у постели умирающего собираются родственники, друзья и недруги и просят у него прощения. И умирающий великодушно прощает всех. Традиция эта возникла в результате свойственного всем людям неосознанного знания. Если умирающий кого-то не простит, а, напротив, проклянет, то проклятие его сбывается в восьмидесяти семи случаях из ста.

Евгений схватил со стола электронный календарь и занес его над головой Юджина. Ничуть не испугавшись, Юджин развел руки в стороны и наклонил голову, показав незащитную розовую плешку на темени.

– Пожалуйста! Если вам удастся меня убить, вы лишите меня двух часов тридцати восьми минут земной жизни. Сами же вы лишитесь гораздо большего...

Евгений опустил электронный календарь.

– Ты, – одним дыханием сказал он.

– Ну вот, опять на меня вину взваливаете! Что это у вас за характер такой невозможный, что за привычка перекладывать вину на чужие плечи! Нет чтобы повиниться и раскаяться в содеянном. Поверьте, я бы ни за что не вынудил людей так невыносимо страдать. Я бы, пользуясь дарованным мне правом, раздавал деньги, власть и славу, давал бы в руки ключи к научным открытиям, предсказывал любовь, дружбу, удачных детей, долгую жизнь без болезней и маразма. Но возможность дарить людям счастье была предоставлена не мне, а вам.

Сотрудники с опустевшими глазами и благородными от сострадания лицами возвращались на свои места. Каждый, выбрав произвольную точку в пространстве, смотрел на нее не моргая, провоцируя влажный блеск глазного белка. Не было только Саши Сорокина.

Евгений занял уже обжитое место на подоконнике и уперся лбом в оконное стекло.

В комнату командным шагом вошел заведующий отделом – стабильный человек в излюбленной одежде официальных представителей. Казалось, не существует ветра, способного поколебать его устойчивость. Но сотрудники уже знали, что такой ветер существует. Запечатанный в конверт, как джин в бутылку, он сжат книгами в портфеле Александра Сорокина. Выпущенный на волю, он перетасует иерархическую колоду, сбросит в пропасть гигантские глыбы, среди которых будет и заведующий отделом.

– Дмитрий на скорой помощи увезен в хирургическое отделение первой городской больницы, – сообщил он. – Вот к чему приводит небрежное отношение к служебным обязанностям. Я имею в виду работников библиотеки. Очень жаль, что в штатном расписании института не предусмотрена должность инже-

нера по технике безопасности. Мы же с вами вынуждены продолжить работу. Сегодня у нас по плану лекция на производственном предприятии. С 17.00 лекция перенесена на 14.00. Дело в том, что после окончания рабочего дня трудно собрать людей в зал. Через полчаса подойдет автобус от предприятия, они только что звонили. Евгений Николаевич, кто сегодня едет в первую промышленную?

– Этот вопрос в процессе обсуждения, – с готовностью ответил Юджин.

– Вы возглавите лекционную группу и завтра в первой половине дня я жду полного отчета, – распорядился заведующий отделом.

“Зал в первой промышленной большой и гулкий, – вспомнил Евгений. – Со времен народного увлечения художественной самодеятельностью там сохранился зеленый плюшевый занавес, пахнущий пылью и плесенью. С высокой сцены хочется прыгнуть в зал солдатиком, как с вышки в бассейне”.

Вдруг страшная мысль, возникнув в мозгу, с током крови достигла сердца и предынфарктно сжала его.

“Чариков! Первая промышленная! Меня... его там опознают как умершего!”

Евгений с силой боднул лбом оконное стекло. Почувствовав утешительную боль, боднул еще раз.

– Это что за цирк? – властно пророкотал заведующий отделом. – Я думал, здесь присутствует представитель заказчика, а здесь каскадер какой-то! Вы кто, собственно, такой? По какому вопросу?

Евгений молчал. Молчал Юджин. Молчали сотрудники. Тишину ритмично вспарывало астматическое дыхание заведующего отделом, признак высшей степени начальственного негодования.

И в этой тяжелой тишине открылась дверь и в комнату вошел Саша Сорокин в сопровождении двух милиционеров. Один, младший по званию, остановился у двери, перекрыв преступнику путь к отступлению. Другой строевым шагом пошел к подоконнику. Он пикировал на Евгения, как хищная птица, привлеченная яркой расцветкой альпинистского костюма.

– Капитан Ходжамжаров, – представился он. – Предъявите, пожалуйста, ваши документы.

Жесткое сиденье милицейской машины чутко реагировало на неровности дороги. Евгения подкидывало и швыряло из стороны в сторону.

“Саша... Что... ты... наделал! – подчиняясь ритму бросков, думал он. Ты меня уничтожил. Я скоро, очень скоро, невозможно скоро покину тело Валерия Дмитриевича Чарикова, ты будешь ездить на рыбалку не со мной, а с зубастой акулой в моем обличье, ему будешь наливать в стакан водку, придерживая левой рукой горлышко бутылки, ему будешь рассказывать про

новую любовь и старую жену, ему будешь читать наизусть стихи Бродского, проборматывая в забывшихся местах: "Неважное похоронила память"... Что ты наделал, Саша!"

Больно стукнувшись о железный каркас при очередном броске, Евгений схватился руками за голову. "Шапка! – вспомнил он. – Моя шапка!"

Меховая шапка, главный предмет маскировки, осталась на подоконнике.

– Апк-ка, – старательно выговорил Евгений и сморщился от ударившей в уши звуковой волны.

Речь, пропавшая в момент потрясения, не хотела возвращаться. Тело Чарикова готовилось к ожидающему его безмолвию.

Милицейская грузовая машина, крытая толстым военным брезентом, была рассчитана на поимку банды. Кузов с тянущимися по борту сидениями был оборудован привязными ремнями для обуздания преступников, оказывающих сопротивление при задержании.

– Апк-ка, – еще раз попробовал выговорить Евгений.

– Да ты, никак, немой, – сказал младший по званию и, побезьяняи подпрыгивая на сиденье, придвинулся к Евгению.

– Ты меня слышишь? – старательно артикулируя, закричал он и ткнул себя пальцем в ухо. – Слышишь?

Погруженный в свои черные мысли Евгений не шевельнулся.

– Товарищ капитан, он, вроде, глухонемой, – закричал младший по званию. – Или под убогого косит.

– В отделении разберемся, – невозмутимо ответил капитан Ходжамжаров.

Машина ехала долго в неизвестном направлении. У Евгения не было часов, поэтому каждую минуту он ждал смерти. Он заблаговременно простил всех людей на земле, всех зверей, птиц, рыб и насекомых, всех, кто, осознанно или неосознанно, может причинить зло другому существу. Он не простил только одного, того, кого даже в мыслях не называл человеком. Ярость, неуместная в последние минуты жизни, в клочки рвала его жаждащее покоя сердце. Он ненавидел рыжие реденькие волосы, задиристую бороду и жирные складки на шее, ненавидел голос, короткие руки и жесты комедийного актера.

Машина остановилась. Младший по званию расцепил металлические замки и откинул брезентовую дверь. Свет и воздух одновременно хлынули в передвижную темницу.

– Прикрути его, пока сходим, узнаем, – лениво сказал Ходжамжаров.

Младший по званию бросился выполнять приказ.

– Ну, ты, глухарь, видишь, какая у нас забота о нарушителях закона, – бормотал он, закрепляя ремни на груди, талии и

бедрах Евгения. — Как о детях родных печемся. Потому что права человека. Раньше наручники нацепишь, и баста. А теперь все по науке, чтоб не нанести увечья и чтоб кровь не застывалась.

— Обе руки или одну? — спросил он Ходжамжарова.

— Одну хватит, он не злостный, — сказал Ходжамжаров. — Правую.

— Вот, руку тебе, гляди, свободную оставляю, — продолжал бормотать младший по званию, прикручивая правую руку Евгения к каким-то петлям в брезенте. — Потому как вдруг у тебя яйца зачешутся? А права человека нас за это премии лишат. В гуманное время закон нарушаешь, понял?

Они исчезли, опустив брезентовую дверь. Евгений слышал, как Ходжамжаров объяснял кому-то:

— Вроде глухонемой. Или косит, не поймешь.

— Что у него?

— Дебоширил в здании научно-исследовательского института.

— Вези к Макарову. Там у них переводчица с глухонемого есть, которая в новостях субтитры показывает.

— Да вы что? — вмешался голос младшего по званию. — Товарищ капитан с шести утра маковой росинки во рту не держали. Дайте хоть чаю хлебнуть!

— А этот?

— Подождет. Почешется пока, мы ему руку оставили.

Они захохотали. Смех медленно отдалился от машины и замер.

Левой рукой Евгений дотянулся до правого кармана штанов и потрогал нож через толстую ткань. Карман ниже молнии пересекал широкий привязной ремень. Евгений попробовал просунуть под него руку, но, умело пригнанный младшим по званию, ремень плотно прилегал к телу.

"Счет пошел на минуты, — думал Евгений. — Или на секунды".

"Помогите мне! — мысленно взывал он неизвестно к кому.

Лишенный двух главных возможностей, говорить и передвигаться, Евгений не мог рассчитывать на помощь людей.

"Надо позвать тех, кто... уже не люди", — подумал Евгений.

Почему-то он знал, что отзовется только тот, кого окликнули по имени. Может, умерший 17 лет назад в Калуге дед, или родственник по мужской линии Иван Яковлевич Корейша, или незнакомая Маринка, повесившаяся в стенном шкафу рабочего общежития...

Он понял, кого надо звать, и позвал — животом, кишками, кровью и гнилью своего бедного тела: "Чариков! Валерий Дмитриевич! Помогите мне!"

Неожиданно для себя, Евгений стал свободной рукой закатывать штанину на правой ноге. Даже одежда Евгения студен-

ческих лет была велика тщедушному Валерию Дмитриевичу, и штанина легко поддавалась. Нащупав нож в матерчатом мешке кармана, Евгений сжал его в руке и, намотав на кулак длинный карман, резко рванул. От боли в паху он на секунду потерял сознание, но даже эта секунда была важна в его заканчивающейся жизни. Карман поддался, затрещав подгнившими нитками. Евгений освободил нож от превратившегося в тряпку кармана и раскрыл, зацепив лезвие зубами. Он начал быстро и неумело резать ремень. Непривычная к работе левая рука то и дело срывалась, и Евгений наносил себе раны, чувствуя вину перед Валерием Дмитриевичем.

“Не так, – понял он. – Не резать, а пороть по шву”.

Подпорыв ремень, он вытащил руку из петель, прикрепленных к брезентовой стене, и подумал, что милицкий грузовик оборудован как передвижная пыточная камера. Он откинул брезентовую дверь, зажмурился от яркого света и сразу открыл глаза.

Машина стояла во дворе ведомственного учреждения. Люди в милицмейской форме курили на крыльце унылого здания. С другой стороны кузова, скрытый от милиционеров массивным грузовиком, стоял у мотоцикла молодой парень и, закинув голову, пил молоко из бумажного пакета. Евгений прыгнул и подошел к нему.

Парень посмотрел на альпинистский костюм, задержал взгляд на окровавленной правой руке Евгения и небрежно спросил:

– Ты откуда такой красивый?

Евгений улыбнулся. Парень ответил на улыбку, показав прекрасные молодые зубы. Евгений резко толкнул его и прыгнул на мотоцикл. Выплеснувшееся из пакета молоко попало парню в лицо и замедлило ответную реакцию, отработанную в спортивной секции для оперативных работников.

Взревев, мотоцикл сорвался с места, чуть не сбросив неумелого седока, вылетел из ворот ведомственного двора и поехал по дороге, нарушая правила дорожного движения.

Евгений не умел управлять никаким транспортным средством. Но мозг и тело Чарикова замечательно справлялись с тяжелой неудобной техникой. По шоссе, змеей обернувшимся вокруг города, Евгений мчался к первой индустриальной зоне, чувствуя, как, подобно хвосту кометы, летят за ним красивые волосы Валерия Дмитриевича.

Подъезжая к железнодорожному переезду, он свернул вправо и поехал по узкой дорожке, протоптанной местными жителями. “Зачем я свернул?” – подумал он. “Там милицкий пост, их предупредили по рации”, – ответил ему Валерий Дмитриевич его собственными мыслями.

Евгений перетаскивал мотоцикл через железнодорожную насыпь и по лабиринту тропинок вырулил к шоссе. Он мчался к первой индустриальной зоне, гигантской территории за серым бетонным забором, и, наполненный ветром, как парус, вдруг

подумал, что многих простых радостей, без которых невозможно счастье, он не знал в своей жизни.

Подъезжая, он опять свернул на боковую дорогу, бросил мотоцикл в кустах и побежал. Тропинка, проложенная заводскими людьми для сокращения расстояния между пунктом А и пунктом Б, вывела его к пролому в бетонной стене, зарешеченному железными прутами арматуры. Протиснув в узкую щель легкое тело Чарикова, он побежал по территории зоны, уверенно выбирая самую короткую дорогу.

В фойе пожилая вахтерша, незаметное звено знаменитой трудовой династии, пила чай со слоеным пирожком. Она улыбнулась Евгению и отхлебнула из чашки, но вдруг побледнела и перевела взгляд на доску объявлений. С обведенной черной тушью фотографии, прикрепленной к листу ватмана, на Евгения смотрел молодой и счастливый Валерий Дмитриевич.

"Спасибо", – мысленно сказал Евгений.

Валерий Дмитриевич не ответил, вновь занятый своими неземными делами.

Электронные часы над доской объявлений показывали 14.14. Красивое сочетание обрадовало Евгения и показалось хорошим знаком. Но последняя цифра оборвалась, нарушив изобразительную завершенность, и сменилась пятеркой, оставляя Евгению одиннадцать минут жизни.

Евгений посмотрел на вахтершу и, округлив глаза, прижал палец к губам. Она, замерев с открытым ртом, в котором виднелась тошнотворная масса разжеванного пирожка, кивнула, уронив на подбородок белое месиво.

Евгений подошел к двери в зал и услышал голос Юджина.

– ...потому что рот они считают выходным отверстием для души. Возможно, кто-то из вас бывал в Индии...

В зале раздался смех.

– ...и обратил внимание на то, что, стоит зевнуть в присутствии индуса из простого сословия, как он тут же звучно щелкает пальцами. Цель этого действия – напугать душу и не дать ей вылететь через открытый рот...

Евгений обогнул зал и пошел по узкому коридору со множеством дверей, ведущих в служебные помещения. Он распахивал незапертые двери и видел деревянные лопаты, носилки и грабли, видел ведра, швабры, банки с засохшей краской, верстак и стремянку, свернутые в рулоны плакаты, голубей из папье-маше, изготовленных заводскими умельцами к старому Первомаю, когда-то белых, но померкших от времени и превратившихся в страшных пятнистых птиц.

Одна дверь вела прямо на сцену. Приоткрыв ее, Евгений услышал ненавистный голос:

– Антрополог Михаил Герасимов со своей исследовательской группой 19 июня 1941 года вскрыл могилу Тамерлана с

целью составления портрета великого полководца древности по черепным костям. Местные жители протестовали и говорили, что из могилы может вылететь дух войны, но их, разумеется, никто не слушал. Как известно, Великая Отечественная война началась 21 июня 1941 года, через день после вскрытия могилы.

Евгений с силой захлопнул дверь.

Следующая комната в давние времена служила артистической уборной. Переступая через кучи слежавшихся тряпок, бывших когда-то костюмами для спектакля, поставленного силами рабочего класса, Евгений подошел к разбитому зеркалу. Он смахнул с туалетного столика осколки, темные от поврежденной амальгамы, и, остервенело давя их тяжелыми ботинками, хотел избавить сердце от ненависти и злобы. Круша деревянную вешалку, он сорвал заплесневелую штору, и увидел еще одну дверь. Дверь была заперта. Достав нож, он отжал язычок примитивной защелки.

Здесь хранились опальные вожди.

Статуэтки, бюсты, скульптуры разных размеров, выполненные из разных материалов, улыбались, доброжелательно щурились, смотрели требовательно и строго. Многие гипсовые вожди были разбиты, их руки, ноги, головы с отбитыми носами валялись на полу.

Евгений выбрал бронзовый бюст со строгим лицом.

Держа обрубленное туловище обеими руками, он, тяжело шагая, покинул последний приют вождей, с хрустом давя зеркальные осколки, миновал руины артистической уборной и, распахнув ногой дверь, ведущую на сцену, пошел к людям.

— Можем ли мы утверждать, что все перечисленные факты являются совпадениями, выстроившимися в логический ряд? — сказал Юджин.

В этот момент он увидел Евгения.

Увидели его сотрудники, расположившиеся за длинным столом посреди сцены, и зашептались тревожно.

Увидели его рабочие первой индустриальной зоны, сидящие в зрительном зале, и засмеялись. Но вдруг узнали умершего накануне своего товарища и смех превратился в изумленное "а-а-ах", вознесшееся к высокому потолку. А потом дети разных народов, объединенные в единую рабочую семью, все сразу вспомнили свои настоящие семьи, где их учили магическим жестам и словам, защищающим от нечистой силы, и совершили магические действия, и произнесли спасительные слова.

Евгений тяжелыми гулкими шагами шел к Юджину. Юджин наклонил голову, и Евгений обрушил бронзовую кувалду на беззащитную розовую плешку, обрамленную тонкими рыжими волосами.

Разбитый череп брызнул кровью и сгустками мозга. Многоголосый крик провожал освободившуюся душу.

“Я наложил на себя чужие руки”, – горько думал Евгений, ожидая смерти.

Белый свет отодвинулся от Евгения, как в перевернутом бинокле, и, мелкий и подробный, показался незначительным. Издалека бежали к нему люди с искаженными лицами и выкрикивали слова, смысла которых Евгений уже не постигал. Что-то взорвалось внутри с тихим шипением, изверглось и потекло вверх. Тело Чарикова испустило дух Евгения Корейши.

Он осознал себя в своем собственном земном обличье, со своим собственным лицом, но сотканным из воздуха. Он видел, как подбежавшие люди подхватили падающее тело и, испугавшись неподвижной тяжести, осторожно опустили на пол. Он достиг высокого потолка и прошел сквозь него, не замедлив движения, а потом полетел на уровне деревьев, не решаясь набрать высоту.

Он увидел всех людей, кого коснулся душой в этот последний день.

Бездомный Леха обихаживал подвал, застилая газетами деревянные ящики; ночной шофер ел шашлык по-карски в дорогом ресторане; будущий Шерлок Холмс, запершись в ванной, выдавливал прыщ на лбу, кривясь от боли; уборщица из вокзального ресторана продавала на рынке морковь и картошку, гипнотизируя покупателей блестящими глазами; поэт Артем Бурмистров, не ведая своего страшного будущего, спал в объятиях любимой; у постели загипсованного Димы сострадательно печалилась некрасивая дочь Барамыкина; капитан Ходжамжаров невозмутимо наблюдал, как младший по званию и любитель молока вытаскивают из кустов мотоцикл; в комнате с завешенным темным платком зеркалом пила водку Юнона и заедала конфетами из коробки...

Он простился с ними и набрал высоту. И там, в этой невозможной, заоблачной высоте ждала его другая душа.

Они обменялись приветствиями, не колебля воздух ненужным звуком, и полетели рядом по вертикальной дороге.

– Самоубийство, – беззвучно, но ясно произнес Евгений. – Я убил себя.

– Нет, – возразил его спутник. – Это не самоубийство. Вы лишили жизни лишь свое тело, не посягнув на бессмертную душу.

И добавил печально:

– Это была шутка. Моя излюбленная шутка.

На развилке вертикальной дороги они задержались, прощаясь, и расстались навсегда.

Игорь Губерман

*И ВЫШЛО ВСЕ,
КАК ЕСЛИ БЫ СПРОСИЛИ*

* * *

Мне слов ни найти, ни украсть,
и выразишь ими едва ли
еврейскую темную страсть
к тем землям, где нас убивали.

* * *

Когда наплывающий мрак
нам путь предвещает превратный,
опасен не круглый дурак,
а умник опасен квадратный.

* * *

Хмельные от праведной страсти,
крутые в решениях кромешных,
святые, дорвавшись до власти,
намного опаснее грешных.

* * *

Вёл себя придурком я везде,
но за мной фортуна попевала,
вилами писал я на воде,
и вода немедля застывала.

* * *

Жить беззаботно и оплошно —
как раз и значит жить роскошно.

* * *

Жизни надвигающийся вечер
я приму без горечи и слёз;
даже со своим народом встречу
я почти спокойно перенёс.

* * *

Российские невзгоды и мытарства
и прочие подробности неволи
с годами превращаются в лекарство,
врачующее нам любые боли.

* * *

Жила была на свете дева,
и было дел у ней немало:
что на себя она надела,
потом везде она снимала.

* * *

С высот палящего соблазна
спадая в сон и пустоту,
по эту сторону оргазма
душа иная, чем по ту.

* * *

Давным-давно хочу сказать я
ханжам и мнительным эстетам,
что баба, падая в объятия,
душой возносится при этом.

* * *

Прекрасна в еврее
лихая повадка
с эпохой кишеть наравне,
но страсть у еврея –
устройство порядка
в чужой для еврея стране.

* * *

Бывают лампы в сотни ватт,
но свет их резок и увечен,
а кто слегка мудаковат,
порой на редкость человечен.

* * *

Сегодня исчез во мраке
ещё один, с кем не скучно;
в отличие от собаки
я выл по нему беззвучно.

* * *

Тонко и точно продумана этика
всякого крупного кровопролития:
чистые руки — у теоретика,
чистая совесть — у исполнителя.

* * *

Эпоха лжи, кошмаров и увечий
издохла,
захлебнувшись в наших столах,
божественные звуки русской речи
слышны теперь
во всех земных притонах.

* * *

Господь на нас
не смотрит потому,
что чувствует
неловкость и смущение:
творец гордится замыслом,
ему
видней, насколько плохо воплощение.

* * *

До славной мысли неслучайной
добрёл я вдруг дорогой плавной:
у мужика без жизни тайной
нет полноценной жизни явной.

* * *

Я живу, незатейлив и кроток,
никого и ни в чём не виня,
а на свете всё больше красоток,
и всё меньше на свете меня.

* * *

Во что я верю, горький пьяница?
А верю я, что время наше
однажды тихо устанется
и станет каплей в Божьей чаше.

* * *

Я щедро тешил плоть,
но дух был верен чести;
храни его, Господь,
в сухом и тёплом месте.

* * *

Присматриваясь чутко и сторожко,
я думал, когда жил ещё в России,
что лучше воронок, чем неотложка,
и вышло всё, как если бы спросили.

* * *

Вся история – огромное собрание
аргументов к несомненности идеи,
что Творец прощает каждого заранее;
это знали все великие злодеи.

* * *

Конечно, всё на свете – суета
под вечным абажуром небосвода,
но мера человека – пустота
окрестности после его ухода.

* * *

Всюду меж евреями сердечно
теплится идея прописная:
нам Израиль – родина, конечно,
только, слава Богу, запасная.

* * *

Я музу часто вижу здесь
во время умственного пира,
она собой являет смесь
из нимфы, бляди и вампира.

* * *

За глину, что вместе месили,
за долю в убогом куске
подвержен еврей из России
тяжёлой славянской тоске.

* * *

Век ушёл. В огне его и блюде
яркая особенность была:
всюду вышли маленькие люди
на большие мокрые дела.

* * *

Еврей опасен за пределом
занятий, силы отнимающих;
когда еврей не занят делом,
он занят счастьем окружающих.

* * *

Купаю уши
в мифах и парашах,
никак и никому не возражая;
ещё среди живых немало наших,
но музыка вокруг – уже чужая.

* * *

Ещё по инерции щерясь,
не вытерши злобных слюней,
все те, кто преследовал ересь, –
теперь менестрели при ней.

* * *

Нас увозил фортуны поезд,
когда совсем уже припёрло,
езде сейчас дерьма по пояс,
но мы-то жили, где по горло.

*Юлий Ким**ИЗ "ИЕРУСАЛИМСКОЙ ТЕТРАДИ"*

1.

Любимый мой Ерушалаим!
Преславный Иерусалим!
Насколько ты неподражаем,
Настолько ты неповторим!

Твоя краса,
Твои руины,
Ста языков конгломерат,
И эти лысые вершины,
Отвсюду видимые над!

Воображение поэтово,
Глотай историю живьем!..
Да только до всего до этого
Нам дела нет.
Мы здесь живем.

ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ АВТОБУС

Автобус-портвейн "три семерки", автобус-очко,
Он едет, приходит, вбирает, уносит легко

По Дерех Бет-Лехем и дальше, по Дерех Хеврон,
И дальше, по Кингу Давиду, со склона на склон,

И к Яффским воротам – но тут же, отпрянув от них,
На улицу Яффо, у мэрии встал и затих.

На улице Яффо – лафа, и по этой лафе
Иду я себе не спеша, от кафе до кафе.

Набравши хрустящих ватрушек и лакомых груш,
И дальше, в заветную лавку, в цветочную глушь,

Где пряно и дико мерцают и тают во тьме
Тюльпан и гвоздика, и черт-те чего еще не!

Но мне-то не надо, не надо мне черт-те чего,
Мне эту вот веточку вереска, только всего,

Чтоб в келье высокой французского монастыря,
У стен Сулеймана, не то Соломона-царя,

Полтавские дали витали и плыли над койкой твоей
И сны навевали бессоннице горькой твоей.

СУПРУГИ ГИЛАТ

Дорожка. Оливы.
Плакучие ивы.
Затем – эвкалиптовый ряд.
И за переездом
Дорожно-железным
Дорожка к супругам Гилат.

О, эти супруги!
Подобных в округе
Не сыщешь. И больше того:
В различных анналах
Искали аналог
И не отыскивали его!

Король-королева
Евгенья и Лео,
Надёжа всех наших надёж.
Придут, улыбнутся,
За повод возьмутся,
И только, кивая, идешь.

И в банк, и в контору,
И в море, и в гору,
Уверенно зная притом,
Что тихою сапой
Все кончится граппой
За круглым гилатским столом.

ПСАЛОМ 137

Там, возле рек Вавилонских,
Как мы сидели и плакали.
К нам приходили смеяться:
"Что вы сидите и плачете?
Что не поете, не пляшете?"
Ерушалаим, сердце мое –
Что я спою вдали от тебя?
Что я увижу вдали от тебя
Глазами, полными слез?

Там, возле рек Вавилонских,
Нет нам покоя и радости.
Там, под плакучею ивой,
Арфы свои изломали мы,
Струны свои изодрали мы –

Ерушалаим, сердце мое –
Что я спою вдали от тебя?
Что я увижу вдали от тебя
Глазами, полными слез?

Там, возле рек Вавилонских,
Жив я единственной памятью.
Пусть задохнусь и ослепну,
Если забуду когда-нибудь
Камни, объятые пламенем,
Белые камни твои,
Ерушалаим, сердце мое!..

*Леонид Левинзон**ПОЛЁТ*

1

Раннее утро. Территории. Забор из колючей проволоки окружает фабрику.

Тихо – тихо. Утренний араб в ослепительно белом едет на зевающем осле. Усы торчат враждебно. Сбоку, около забора, как умная, хитрая собака, притаилась будка. Вся железная, в шрамах от решёток.

А около будки летает.

В огромной, жёлтой кепке голый, маленький охранник.

И глаз не сводит с автомата, мирно лежащего на стуле.

Но пора. Хватит медитировать. Охранник снижается и ныряет, захватив автомат, в будку.

Через несколько минут он своими маленькими ногами выходит: одетый в униформу и бесстрашный.

Скоро приедут люди. А пока он внезапно громко заявляет в пространство:

– Никакой интеллигентности здесь нет. По вежливому не понимают. Вот вчера как дал одному таксисту – еле тот ноги унёс. А если совсем надоест, если совсем достанут, возьму автомат и уйду в горы – пусть ищут.

Голос раздался, затих, и опять тишина. Дорога рядом пустая. Араб уехал, усы свои увёз.

У входа на фабрику стоят вечные, неживые цветы. Красные, жёлтые, каких-то немыслимых окрасок, со стеблями, как перекрученными чьими-то сумасшедшими пальцами. Я так скажу: меня сводит с ума в этой стране не цветы, а небо. Ну буквально до стога: ни единого облака над сухой, пыльной землёй.

Будто так и должно быть.

В семь двадцать фабрика закрыта, и в плотном, устоявшемся воздухе зияют пространства, в которые ещё немного и втиснутся тела работающих.

Железные двери отгораживают полутьму, и в ней мигает красным, бегущим временем счётчик с узким ртом, отмечающий присутствие. А в проёме дверей необходимый компонент, её величество мезуза, намертво привинчена, чтоб охранять бизнес.

А тем временем на дороге появляются машины из близкого града Иерусалима.

Охранник стоит смирно. Охранник стоит с автоматом. Охранник выполняет свой долг и открывает ворота перед входящими людьми.

Шум. Говор. Начинают машинки стучать. За столом две женщины и один мужчина в белых халатах. Складывают в коробки бутылочки с цветной жидкостью.

Мужчина – чёрный. Жарко, и он вытирает чёрный, крупный пот своей чёрной ладонью.

– Браха, – говорит мужчина, – а ты знаешь, есть такой писатель Шекспир. Ты знаешь Шекспира?

Браха, маленькая, остроносенькая, складной ножик в шляпе, надвинутой на самые глаза, пожимает плечами.

– Ну, конечно, ты знаешь, все мы знаем, – медленно-бархатисто отвечает вместо неё другая, крупная, толстая, с припухлым ртом, Сильвия, – он из Англии, правда, Набио?

– Да, правда, – Набио очень важен, – так вот, Браха, – он почему-то обращается только к ней, – одно время жил в России человек, звали его Пушкин. Ты знаешь? Пушкин?

Браха сосредоточенно думает снизу.

– Ну знаю, – наконец отвечает, – это тот, который детей усыновил?

– Нет, Браха, это тоже писатель, великий писатель, как Шекспир, и он, кстати, родом из Эфиопии.

– А ты что, и в России был?

– Конечно. Россия, я вам скажу, великая страна, очень большая. Там пакет молока, такой треугольный, стоил всего семнадцать копеек. А это очень мало – семнадцать копеек.

– Тихо! Авраам идёт... – говорит Сильвия, и трое склоняются над коробками.

Стук машинок становится резче, сильнее и постепенно заглушает все другие звуки.

– У – у – у... – завертелось время, спрессовало ритм.

Полдень, оплывающий, как свеча. Остановка на обед. В улёгшейся на отдых, уткнувшей морду в решётки, будке охранник, доедая суп, философствует:

– Я всю жизнь следую законам буддизма. Спрашивает ученик у учителя что-то глобальное, а тот отвечает: иди, сначала подмети в комнате... Вот так и я – сконцентрирован до последнего гормона.

Сидящий напротив при этих словах вздыхает и вкусно пьёт солнечно-коричневый чай, ложка потонула в стакане...

– Да нет, ты не думай! – Охранник отставляет суп и с силой продолжает:

– Я не только философскую литературу читаю, я и художественную тоже, смотри: 12 томов Толстого – прочитал, 3 тома Достоевского – прочитал, а вот Чехова, – цокает сожалеюще языком, – эх, Чехова только один том.

Поздним вечером завод за колючей проволокой пустой. Толстая луна в небе бродит: то над Тель-Авивом выглядывает, то над Иерусалимом. Но скоро надоело ей, толстой, бродить и пошла она в море купаться, волны поднимать.

В небольшой комнате кровать посередине. Под крепким телом бородатого мужчины стонет небольшая, светлая девушка. Наконец, тот отваливается и расслабленно вздыхает. Девушка прижимается и мурлыкает:

– Ах ты мой сильный, Авраамчик, чудо моё...

Мужчина улыбается, одной рукой обнимает девушку, а другой медленными, круговыми движениями гладит себе бороду.

– Авраамчик, а я слышала, Баруха увольняют, какое свинство! Десять лет проработал, в прошлом году признали лучшим по профессии, и вот... на тебе.

– Раньше были, как одна семья, куда всё делось? – Авраам темнеет лицом. – Без бога живём, без бога! Тель-Авив сплошной! Я поговорю с Коби, может, можно будет что-то исправить...

– Осторожнее, милый, они этого не терпят...

– Я им не Барух!

– Это точно, – девушка приподнимается на локте и, белая телом, накрывает мужчину, – ещё какой не Барух...

– Подожди, подожди, мне же идти надо – Авраам смотрит на часы, освобождается и, устроившись на краю кровати, начинает деловито одеваться.

– Я тебя так жду каждый раз, – грустно говорит девушка, – на работе даже иногда посмотреть не могу... И вот, так быстро всё происходит.

– Ну что я могу поделать, у меня самого душа разорвана, – Авраам, будто у него подкашиваются ноги, садится. Но, посидев немного, встаёт:

– Мне надо идти.

Девушка его провожает и, стараясь не шуметь, прикрывает дверь.

– Света?

– Да, мама?

– Сколько так будет продолжаться?

– Мама, мы договорились...

– Дочка, милая, но ты же губишь себя, губишь! Три года. Я больше не вынесу!

– Мама!

– Ну что, мама? У него же четверо детей! Откуда он, из Марокко?

Этот тип просто сделал тебя своей второй женой! Второй женой... Как ты не понимаешь, у них так принято! – плачет. – Где это видано, приходит как к себе домой, ключ дала...

– Я люблю его! Люблю, люблю! – Девушка кричит. – Мы же договорились, ещё одно слово, и я уйду! Ты меня никогда не увидишь, поняла?!

– Молчу. Господи, когда это кончится, молчу.

2

На фабрике бабочка летает. Вся коричневая, изумрудные глаза и большие лёгкие крылья. Откуда она взялась? – Летает. То над временными рабочими, то над постоянными, то над начальниками, то над подчинёнными. Как споткнувшись, Авраам остановился, задрал голову. Набио, Сильвия, строгий буддист-охранник – все.

– Авраамчик, какая прелесть! – шепчет рядом в восторге Света.

Но тут опомнился-выскочил директор с секретаршами и закричал сердито.

Вслед за ним закричали-заторопились Авраам и другие ответственные, и время закрутилось вновь.

Вот только Боря-уборщик, как стоял, так и остался стоять со своей шваброй, в оцепенении от нахлынувших чувств.

– Что я тут делаю? – сказал он себе со стоном. – Я, участник кубинских сражений!? Я, почётный инженер-изобретатель!? Я... Да я... – и пошёл, обдаваемый дымом горящего полдня.

Перед окончанием работы общее собрание в столовой – увольняют Баруха и при всех дают ему подарок. От имени месткома выступает Меир:

– До свидания, – друг, – говорит Меир.

На двери шевельнулась мезуза.

Барух, пожилой, худенький человек в кипе, срывающимся голосом благодарит:

– Спасибо

На следующий день, утром, он выходит на своё обычное место, где его должна забирать перевозка, и извиняюще передаёт ключи:

– Забыл, – шепчет.

На плече у него сидит бабочка.

3

– Знаешь, Авраам, – говорит Света, – у нас, когда ещё был жив папа, жил попугай и была кошка. И попугай наш научился мяукать, сначала слабо так, а потом чем дальше, тем больше. А когда мы как-то забыли закрыть дверцу, попугай вышел и превратился в кошку. Знаешь, иногда потом он вспоминал, что был птицей и пытался взлететь, но уже ничего не получалось.

– Что ты мне сказки рассказываешь, – злится Авраам, – этого же не может быть!

– Конечно, – грустно соглашается Света, – конечно, не может быть.

Авраам тушит сигарету, поворачивается к ней и деловито наваливается сверху.

В соседней комнате из угла в угол безостановочно ходит мать.

Два тела привычно двигаются и привычно распадаются, и сквозь прорехи тишины становится слышно: тик-так, тик-так... Включается телевизор:

– Народ, давший миру откровение – помирать собираешься, рожь сей – великий народ...

Выключается. И опять тишина... Тик-так, тик-так... Время торопится назад – зовёт ночь. На улице луна гоняется за автомобилями, ничего знать не хочет, за ней лунный мальчик сверху следит, волосы-дожди расчёсывает. Автомобили фырчат сердито.

Через некоторое время прикорнувший было Авраам внезапно вскрикивает и ошарашено обводит глазами комнату.

– Что с тобой?

– Мне привиделось.

– Что?

– Да чушь какая-то! Идиот на перекрёстке. Я помню его лицо – он смеялся...

– Это ты очень устал сегодня, перенервничал. Тебе, милый, отдохнуть надо. Ты очень чувствительный, принимаешь все заботы фабрики, как свои...

– Да, конечно. Конечно, ты права. Надо отпуск взять, надо с семьёй, с младшеньким куда-то поехать. Ну извини-извини... – улыбается. Целует. Уходит.

Кровать с простынями, как с флагами, столик около и цветы на нём. Жёлтые.

Взгляд Светы скользит-скользит. Она поднимается и одним движением отправляет цветы в открытое окно.

Мои цветы жёлтые завяли. На полированном столике в хрустальной, грубейшей, плебейской вазе. Никогда, никогда больше не покупайте жёлтые цветы – цветы разлуки и не делайте такого сочетания. Ибо цветы эти мятые похожи на сломанные, кричащие болью пальцы, зажатые в мясистую, грубую ладонь.

4

Утро. Дороги. Неподделенная земля. Кто-то большой собирает столбы в лукошко. К фабрике танцующей походкой подходит очень нарядный араб в белой рубашке и чёрных брюках. Встал и писает на забор, будку и машину около будки.

– Что ты делаешь? – спрашивает грозный охранник. – Отошёл хотя бы, как не стыдно!

– У израильтян лучше! – хохочет араб.

– Ах так! – охранник напрягается и мысленно ударяет.

Араб упал. И ошарашено оглядываясь, пополз. К себе в Газу, наверное.

– Ну вот, – охранник удовлетворён. – А если не был бы я буддистом-йогом и ударил физически, сказали бы: нервный. И уволили со службы. Эх, Лёня, – вздыхает и возвращается к те-

ме, — я ведь столько насмотрелся в жизни, такие эгоисты, я бы даже сказал эгоюги кругом! А наша семья с детства, ты понимаешь, с детства была отдана на заклятие хорошему.

А в столовой опять собрание, приглашены молодец-бухгалтер и беспрерывно потеющий начальник отдела кадров. Оказывается: премии работникам начислялись неправильно, а вот теперь будут правильно, то есть в гораздо меньшей сумме. Вопросы есть?

— Есть, — поднимается Авраам.

И карлик с ярко-голубыми глазами, грозный директор, взрывается:

— Цены падают, мы терпим убытки, мы вынуждены переоснащаться, и ты, Авраам Леви, я ждал от тебя понимания и поддержки, от тебя в первую очередь! А не появления этих глупых, ненужных претензий.

И вот конец квартала. Лето пропахло трудными маленькими деньгами: с утра до ночи выполняется срочный заказ от господина из Гонконга. Вытащить, наклеить, поставить, сложить, обернуть, отвезти... И опять всё сначала — до бесконечности.

Авраам мягкими шагами ходит между работающими, глаза острые, внимательные. Светленькая девушка за ним, как ординарец.

— Авраама Леви к директору, — голос по громкоговорителю.

Возвращается он совершенно белый, хватает освободившийся от продаваемых бутылочек поднос и, не глядя, со всей силы кидает его на пол. Потом ещё один, ещё... Все замирают.

Авраам открывает рот, но пристойного какого-то звука не выходит, и он визжит:

— Ошибка, ошибка, наклейки не те, всё перепутали, сыновья проститутки!

— Что он себе позволяет, мерзавец? Он же сумасшедший! — Возмущённо говорит Набио и выпрямляется, как столб, в гордую позу.

— Ой, Набио, не связывайся, — пугается Сильвия, — давай работать.

Возвращаются они домой, как всегда, очень поздно, оставив позади ленивую, наконец свернувшуюся в сытые склады фабрику с её терпким от пота воздухом в слипшихся после людей пространствах.

В машине трендит и никак не может остановиться только один, новый русский по уборке, Петя:

— Положение Израиля на международной арене очень сложно и идеологически и практически. Я вообще на месте премьер-министра делал бы всё по-другому. Я считаю...

Машина останавливается, Петя выходит и идёт по направлению к базару и видно, как ветер шевелит остатки его седых волос.

5

Когда-нибудь пыль покроет наши города и те, кто будут жить, будут жить на метр выше, но всё будет по-прежнему.

— А у нас в доме, в соседней квартире пара разводится, — сказала Сильвия.

— Расскажи, расскажи, — Набио сразу заинтересовался.

— Ну как, — тянет Сильвия, — изменяла она ему...

— А зачем! Вот зачем ей? — Неожиданным щелчком раскрывается Браха. — Что ей не хватало? Муж есть, дети есть, что ещё?

— Ну, Браха, — улыбается Сильвия, — ну, Браха, — улыбается и смотрит на коробки.

— Я объясню, я знаю, — Набио берёт всё на себя, — понимаешь, Браха, это совсем просто...

— Вы когда работать начнёте? — проходит Света.

И Набио шипит её вслед:

— Вот сука, выбралась...

А через два дня на фабрике шок: уволили Авраама. И Авраам с красным лицом и дрожащими губами, весь потерянный, ходит по отделах — прощается. Ему собирают по пять шекелей — подарок. Уже в дверях у бывшего начальника вырывается:

— Это сумасшедший дом, так не делают, так же не делают!

Но всё продумано, и вместо него есть кому руководить.

Авраама с раскрытыми, растерянными глазами выносит, и в перевозке он окончательно отключается от реальности. Но перед очередным перекрёстком его и других сидящих резко бросает вперёд: визг тормозов и машина, что-то задевая, разворачивается. Сыплется стекло... Перепуганный шофёр материт.

Как в медленном кино, прямо перед остановившейся машиной, на проезжей части, не обращая ни на кого внимания, танцует идиот.

Он очень радуется, этот идиот. Нелепо вздёргивает руки, поднимает одна за другой ноги и беззвучно, открыв рот с вываливающимся из него толстым языком и липкой слюной, тянущейся на подбородок, хохочет. На него, застыв глазами, белый как смерть, смотрит Авраам.

Но как сказано в одной книге — всё проходит. И действительно, проходит месяц. Или год. Или день. Авраама забывают, как забывают каждого. Всё нормально.

К светленькой девушке, улучив минутку, обращается охранник:

— Света, я тут подумал, я — приятный, хороший мужчина, и ты... вообще-то тоже ничего, к тому же начальник... А не пожить ли нам вместе, попробовать? У нас может получиться!

Света, не отвечая, разворачивается и уходит.

И охранник растерянно смотрит ей вслед:

– Как же ты можешь, – почти плачет, – как же ты можешь так бросаться! Ведь я такой продвинутый, ведь я же летать умею! Смотри! – И, задохнувшись, рванув на груди форменную рубашу, так, что отскочили пуговицы, он неожиданно задымился и в яростном огне, сгорев без остатка, длинным, светлым лучом полетел к большому, принимающему солнцу.

Кто теперь будет фабрику охранять?

ОДУВАНЧИК

Я видел эту девушку. Она приходила всегда с одним и тем же парнем, одетым в почти неприличный для левантийских мест аккуратный костюм, вежливым, в очках и с сухими губами. Диссонансом была его чёрная шевелюра, разросшаяся, как чертополох. И я вам так скажу, нас, конечно, всех лечить надо, но этот парень, он был просто больным. Больным литературой. Когда говорил, закатывал глаза, постепенно начинал мелко дрожать, хватал собеседника за рукав и вожделенно стонал:

– Борхес, Борхес, Борхес...

Он и стихи писать мог, а иногда даже поэмы. В этих стихах и поэмах сражались и погибали греческие герои. А может, даже и еврейские... Для настоящего поэта нет разницы, о ком, главное, чтоб был подвиг.

Так зачем же она находилась с ним? Высокая, ломкая, с чуть удлинёнными глазами, что ей было интересно? Она ободряюще улыбалась, когда он читал свои стихи, наполненные гулками, боевыми звуками, поддерживала его замысловатые суждения о литературе, познакомилась с его мамой, перезваниваясь по телефону... Они уже оставались наедине – и то ли литератор всё колебался, то ли девушка, а может, просто очки мешали. Так или иначе, но верхней частью тела он овладел: растёгивал кофточку, поднимал вверх лифчик и осторожно гладил грудь небольшими, бледными пальцами. Держал в ладони упругую тяжесть и вздыхал, забываясь:

– Борхес, это сила... Понимаешь? Сила...

Наверное, потому что он был всё-таки свой, рядом, вместе учились... Словом – кандидат. Да ведь и действительно хороший парень, что ещё ждать? – Добрый, честный. Правда, чуть с заумью, но это с кем не бывает.

И она уже почти решила, почти...

Как всё перевернулось.

Он был фотограф. Или просто говорил, что фотограф. Пять раз женат, шесть раз разведён, куча детей во всех концах

света. И жил в каморке, где главным предметом обстановки стояла низкая, широкая тахта и никогда не зажигался свет. Боком каморка выходила на общий для всех жильцов дома балкон и на него напирала старая, струящаяся лиственница. А уборная за ветхой деревянной дверью на том же балконе была всегда полуоткрыта, и посетители в темноте, ругаясь, вечно писали мимо унитаза. Ну так что?

И вот, теперь она сидит на плетёном, проваленном кресле, рука лениво свисает, и глаза её спокойные одной природы с закатом. Медленно садящееся солнце, синий воздух, листья по всему балкону. Ещё немного, стемнеет совсем, она встанет и они пойдут ложиться. И фотограф, как вчера, как позавчера, как завтра, будет снова и снова со сладкой яростью проникать в желанный перекрест её длинного, белого тела. Сколько это будет продолжаться? Год, два, месяц... Столько, сколько она сама себе разрешит. И всё неважно. Медленно садится солнце, и во влажной духоте между играющими, слушающими друг друга телами растворяются без остатка Борхес, Маркес и Хулио Кортасар.

ЯФФСКИЕ ВОРОТА

Тригорий Кановир

ESKADRON ŽYDOVSKY

Вся швейная мастерская на улице Доминиканцев состояла сплошь из евреев, если не считать ее заведующего пана Юзефа Глембоцкого.

Пан Юзеф, в двадцатых годах обучавшийся портновскому искусству в Варшаве, в Вильнюс перебрался неспроста – в один прекрасный день он решил открыть в этом городе, не столь избалованном классными мастерами, как столица Жечи Посполитой собственное ателье и стать из подневольного работника хозяином

Ателье ему и в самом деле вскоре удалось открыть, правда, не в самом людном месте – в старом городе, в затишке. Небольшое, уютное, оно за короткий срок завоевало немалую и заслуженную известность – брало дешево, а шило здорово.

В сороковом году, когда большевики (как они на весь мир выхвалялись) воплотили в явь давнюю мечту литовского народа, навеки передав Вильнюс Литве, заведение Глембоцкого было немедленно национализировано и передано в ведение какого-то неблагозвучного, наспех созданного треста, а "капиталиста" пана Юзефа, по просьбе портных, на улицу не выкинули, но все-таки разжаловали в рядовые.

В войну ателье закрылось. Бывших работников пана Юзефа, которые были евреями, в первые дни либо расстреляли за городом, в перелесках Понар, либо загнали, как скот на бойню, в гетто, а сам Глембоцкий, опальный частник, четыре года подряд вынужден был, как кустарь-одиночка, пробавляться случайными заработками у себя дома. Говорили, что при ликвидации мастерской он и сам едва унес ноги, когда осмелился какому-то белоповязочнику, разmozжившему ударом приклада закройщику Гутману череп, бросить в лицо:

– Портных убивать нельзя.

Так это было или нет, но эта неслыханная дерзость, ставшая после очередного освобождения Вильнюса "доблестной" Красной Армией чуть не легендарной, сослужила отважному пану Юзефу добрую службу.

Не без ведома новых властей вернувшийся в мастерскую на улицу Доминиканцев пан Глембоцкий снова возглавил, по его выражению, "eskadron zyдовsky" – "еврейский эскадрон". Но уже не как хозяин, а как временно исполняющий обязанности заведующего. "Врио" он оставался до самой своей кончины, которая день в день совпала с долгожданной и бесслезной для него кончиной Сталина.

Пан Юзеф был самый старший в ателье. Даже моего отца, перешагнувшего сорок пятую межу на пути к меже последней, он обгонял на добрых пять-семь лет и со снисходительным высокомерием называл не иначе, как "настолятком" – "зеленым юнцом".

Как и отец, пан "врио" в молодости служил в кавалерии, дослужился до хорунжего, но не пожелал связывать с армией свою судьбу и по трезвому размышлению поступил в ученики к варшавскому портному с редкой репутацией и еще более редкой для еврея фамилией – Кадило.

От службы в кавалерии пан Юзеф унаследовал военную выправку, любовь к лошадям и умение отдавать короткие и четкие, как цокот копыт, приказы, а от своего учителя – непреходящую благодарность и уважение к мастеровитым иудеям.

– Никто не шьет так, как вы, никто. Это у вас от Бога, – витийствовал он, бывало, за стаканом водки в празднично украшенном ателье на улице Доминиканцев, где после парада и торжественного шествия по главному проспекту весь "eskadron zyдовsky" до самого вечера запирался в кабинете временно исполняющего обязанности, чтобы в узком кругу "достойно отметить годовщину Великого Октября" – распить бутылочку-другую. Хотя у пана Глембоцкого не было никакого основания любить разорившую его советскую власть, он, тем не менее, как человек законопослушный или, по его собственному выражению, как "недостреленный воробей", старался относиться к ней с прохладным почтением и выше всего на свете в любом деле ставил лояльность "к сегодняшнему строю". Раз, скажем, велено 7-го ноября сплоченно и дружно пройти в колонне трудящихся Ленинского района мимо трибуны, воздвигнутой не где-нибудь, а рядом с консерваторией имени Дзержинского (так из-за соседства с консерваторией настоящей был наречен Наркомат госбезопасности), будь добр, явись в назначенный час на сборный пункт, бери в руки красный флажок или отпечатанный в тысячах экземплярах портрет какого-нибудь члена Политбюро, и не вздумай, как на Калварийском рынке, торговаться и брюзжать,

мол, почему я всякий раз должен нести того же самого Шверника или Микояна, дайте хотя бы для разнообразия Жданова или Маленкова... Что дают, то и бери, пока тебя за твою привередливость не забрали...

На всех демонстрациях трудящихся – первомайских и октябрьских – пан Глембоцкий неизменно, видно, как бывший хорунжий, нес портрет действовавшего на тот момент наркома обороны. Но за все время службы пана Юзефа в ателье на улице Доминиканцев не было такого случая, чтобы он изъявил желание водрузить над ликующей толпой изображение любимого вождя – великого Сталина, которого каждый год по заранее установленной очереди в такт бравурным маршам, гремевшим из громкоговорителей, покачивал кто-нибудь из подопечных "врио".

Когда брючник Хлойне, старый подпольщик, партиец с довоенным стажем, невзрачный, похожий скорее на корейца, чем на еврея, в глубине души рассчитывавший за свои подпольные заслуги на скорое производство в заведующие и готовый каждый божий день, вне всякой очереди, везде и всюду, в любом уголке планеты водружать пахнущего свежей типографской краской Иосифа-свет-Виссарионовича, пристрастно допытывался у пана Юзефа, почему тот предпочитает низших чинов высшим – наркома обороны главнокомандующему-генералиссимусу, Глембоцкий с обезоруживающей искренностью и сожалением отвечал:

– Пан Хлойне! Я этой чести не заслужил. Другое дело – вы... В подполье боролись... Или Диниц... В партизанах был... Или Канович... Воевал на фронте. Или Цукерман, который из-за немцев должен был временно принять крещение.

Глембоцкий обо всем говорил с легкой насмешкой. Не было в его словах ни мстительной издевки, ни расчетливой лести, ни угодливости человека, не раз победителями раздавленного. Он всегда придерживался правила: никому не раскрывай своих объятий, но и не кричи благим матом: "Долой!". Слишком много было на его веку триумфаторов и проигравших и слишком дорого стоили ему их победы и поражения.

В ателье пан Юзеф держался со всеми ровно, никого не выделял и не унижал, не делил на любимчиков и отверженных. Даже откровенно подсиживавший его Хлойне не мог пожаловаться на предубежденность и нетерпимость "врио". Глембоцкий не таил на него зла, не сомневался в его мнимых или подлинных подпольных заслугах. Никаким подпольем, кроме погреба, где он хранил припасенную на зиму картошку и сало, пан Юзеф всерьез не интересовался. Поэтому и ателье на улице Доминиканцев было для него мастерской не грядущей мировой революции, а качественного пошива мужской одежды, и ему, ее заведующему, пусть и временному, требовались не последова-

тели Ленина, не сподвижники Снечкуса, не заслуженные борцы за справедливость, а опытные и толковые портные.

Таких – толковых – в ателье и было большинство.

Швейная мастерская пана Юзефа продержалась на улице Доминиканцев до конца сорок восьмого.

То были три прекрасных, незабываемых, невозвратимых года – несмотря на разруху; на торчавшие вокруг развалины, в которых бродили голодные кошки с выжженной шерстью и бездомные шелудивые собаки, вынюхивавшие падаль, может, даже догнивающую под обломками человечину; на тени угнанных на смерть жильцов, витавшие над искореженными, повисшими, как скрижали, в воздухе половицами; на одиночные смертельные выстрелы, доносившиеся промозглыми вечерами из подъездов и подворотен.

Ателье пана Юзефа, расположенное под боком у доминиканского монастыря, постепенно и незаметно превратилось для каждого из них – для отца, только-только снявшего солдатскую шинель; для вечно настороженного, подпольного Хлойне; для степенного, рассудительного Диница, бежавшего из гетто в Рудницкую пушу в партизанский отряд "Смерть немецким оккупантам"; для хромоного, скрытного Цукермана, всю войну укрывавшегося где-то на хуторе в глиноземной Дзукии и перенявшего привычки и психологию крестьянина-литовца, – из урядного места совместной работы во что-то большее: в сиротский приют, в убежище от грохота и крови, в благословенную маленькую, не отмеченную ни на одной карте – ни на русской, ни на литовской, ни на германской – страну, где на гербе изображены не серп, которым ни одна полоска ржи в поле не сжата, ни молот, которым ни одна конская подкова не подбита, а тоненькая стальная иголка с белой ниточкой, связующей души. Каждый, кто умело держал ее в руке, мог при желании стать полновластным хозяином и гражданином этой страны.

При всей разности характеров, при всем различии способностей ее граждане умудрялись жить в ладу и согласии, потому что пытались выпрямить свои изломанные, исковерканные, ущербные судьбы, а не ломать и разрушать их сызнова и сызнова.

Но и маленькую страну, как известно, не обходят стороной ни тучи, ни ветры.

Не обошли они и ателье на улице Доминиканцев.

В конце сорок восьмого высокое трестовское начальство неожиданно решило расширить "eskadron zyдовsky", пополнить его новыми работниками из числа лиц коренной национальности и перевести его в просторное помещение – во флигель одноэтажного купеческого дома на углу Троцкой и Завальной.

Переезд, кроме мелких и неизбежных неудобств, вроде бы ничего страшного не предвещал, хотя постоянные перемеще-

ния в пространстве, совершавшиеся по чужой воле за последние десять лет, порождали в "еврейском эскадроне" недобрые предчувствия и воспринимались всеми с тревогой, тупой и неодолимой, как зубная боль. Да в этом и не было ничего удивительного – ведь каждый из подопечных пана Юзефа напеременялся за тяжкие годы войны до одури. Сколько раз их, обреченных на неопределенность и бездомность, срывало с насиженных мест, бросало в разные безотрадные стороны. В мастерской не было ни одного человека, который в ту зачумленную пору не страдал бы получившей вдруг широкое хождение и не поддающейся быстрому лечению болезнью – неотвязной боязнью перемен, чаще дурных и непредсказуемых, чем радужных и спокойных. Никто точно не знал, какими они, эти перемены, будут, но странное ощущение того, что обязательно случится что-то недоброе, крепло с каждым днем. Даже брючник Хлойне, давно покинувший подполье, и тот был заражен этой хворью, но объяснял ее происками классовых врагов, сеющих из-за океана смуту, а к их невольным подпевалам причислял хромого Цукермана, у которого чутье на все дурные перемены было развито намного сильнее, чем у остальных.

Город все чаще и грозней будоражили слухи о державном гневe Сталина на евреев, которые якобы поголовно записались в шпионы и агенты империализма. В еврейских домах, далеких от театральных увлечений, скорбно шушукались о гибели в Минске Соломона Михозлса...

– А вы, многоуважаемый Хлойне, абсолютно уверены, что это и вправду была авария? – наседал на подпольщика другой подпольщик – Цукерман.

– А что это, товарищ Цукерман, по-вашему, было? Вы, что, некролога в "Правде" не читали?.. Левитана по радио не слышали?.. Если хотите знать, Михозлса в Москве похоронили со всеми почестями... Траурные речи... гора венков... Даже от ЦК КП (б)...

– С каких пор, многоуважаемый Хлойне, речи и траурные венки считаются доказательством невиновности тех, кто убивает? – кипятился Цукерман. – Знаем мы эти ваши аварии... Как бы нам самим вскоре под колеса не попасть...

– Что ты, дурак, мелешь! Если одного еврея – пусть и великого – задавил грузовик, другим что, на улицу не выходить, в автобус не садиться...

– Дай Бог, чтобы вы были правы... Но я в случае чего ждать не буду – снова уйду в подполье. Махну в Дзукию... Казис всегда меня примет... Хлев у него большой...

– Успокойтесь, товарищи... – мирил опасных спорщиков слыхом не слыхавший о Михозлсе пан Юзеф. – Неужели в мастерской, кроме аварии, не о чем поговорить? Тем более, что, если смотреть в корень, вся наша жизнь – авария...

Хотя пан Глембоцкий к евреям никакого отношения не имел (он вел свой род от мелких шляхтичей) и мог за себя не опасаться, он все же к каждому тревожному слуху о евреях относился серьезно: сегодня – слух, завтра – факт. В расширении мастерской и ее переводе на угол Троцкой и Завальной пан Юзеф тоже усмотрел – по крайней мере, для себя – дурной знак: наверно, снимут с должности и назначат другого – русского или литовца. Еврея Хлойне, окажись слухи верными, начальником вряд ли поставят.

Насчет себя Глембоцкий ошибался: с должности его не сняли. Что же до евреев, то слухи об их преследовании множились, и пан Юзеф пребывал в растерянности. При всем своем почтении к этому шустрому племени он им, к сожалению, ничем помочь не сможет. Однажды уже пытался: "Портных убивать нельзя"... И чуть не поплатился... Господь Бог, и тот в войну им не помог. А ведь Отец небесный – не поляк, не мелкий шляхтич из-под Ченстохова, а их человек в горних высях, к тому же что ни на есть чистокровный иудей...

Жизнь, как всегда, распорядилась по-своему и избавила "врио" от угрызений совести.

Накануне Рождества Глембоцкий захворал и лег в больницу. На следующий день Хлойне откуда-то принес на Троцкую известие, что у пана Юзефа обнаружили болезнь, при которой все время трясутся руки. Портной с трясущимися коленками – это, мол, еще куда ни шло. Но с трясущимися руками!..

Пока Глембоцкий болел, его попеременно замещали партизан Диниц – он отвечал на звонки из треста и подписывал какие-то бумаги – и отец, договаривавшийся с клиентами о форме пошива, о сроках, показывавший им образцы материала, снимавший мерки.

Работы перед Рождеством было больше, чем обычно, и отец व्यюном вертелся то возле одного заказчика, то возле другого.

Вдруг в ателье вошли двое – дылда, подстриженный под тракториста – актера Крючкова, и одетый не по сезону в замшевую куртку, не сходявшуюся на брюшке, благообразный толстяк с дряблым лицом священника.

– Садитесь, пожалуйста. Сейчас я вас обслужу, – сказал отец и задержал свой взгляд на расстегнутой замшевой куртке.

Незнакомцы сели и, дождавшись, когда в ателье, кроме портных, никого не осталось, быстро поднялись и обступили отца.

– Что будем шить? – почему-то волнуясь, тихо спросил он.

– Скажите, пожалуйста, – предпочел свой вопрос отцовскому толстяк в замшевой куртке, – у вас не найдется таблички "Закрыто на переучет"?

И показал свое удостоверение.

За кем они? – кольнуло у отца в висках.

За Диницем? За хуторянином Цукерманом? За несгибаемым большевиком Хлойне?

Себя отец упорно и утешительно исключал из этого ряда, но уверенности в том, что его не тронут, от самоутешения и упорства нисколько не прибавлялось...

– Я не знаю, есть ли у нас такая табличка.

– Умеете писать по-русски? – спросил второй – в замшевой куртке.

– Нет, – с облегчением сказал отец.

– Попросите того, кто умеет. Пусть напишет: "Переучет до 16-ти часов". Кто тут у вас самый грамотный?

– Цукерман.

– Вот и хорошо, – пробасил дылда. – И ключ от дверей прихватите.

Отец кивнул головой, вошел в большую комнату, где, ни о чем не ведая, спокойно работал "eskadron zyдовsky", взял со стола лист, на котором перед кроем расчерчивали образцы одежды, и поднес к самому образованному из них – Цукерману:

– Иосиф, – сказал он, стараясь не выдать своего волнения, – напиши на листе "Переучет до 16-ти часов". По-русски.

– Зачем? – спросил Цукерман.

– Надо. Потом объясню.

Хуторянин размашисто вывел химическим карандашом надпись, отец достал из своего рабочего шкафчика запасной ключ от дверей и понес "табличку", как приговор, в приемную.

Дылда, подстриженный под тракториста – актера Крюкова, пробежал глазами надпись, похвалил: "Молодец! Ни одной ошибки", припилил ее с наружной стороны дверей, сами двери закрыл на ключ, ключ спрятал в карман и в маленькой стране, еще недавно благословенной, не отмеченной ни на одной карте и никому не грозившей, среди бела дня на углу Троцкой и Завальной начался обыск.

– Шейте, шейте, – не то посоветовал, не то приказал толстяк с лицом церковнослужителя. – Все должно быть как всегда. – И сам для вящей убедительности и отвода глаз заглядывавших в окна первого этажа прохожих обвинил свою пухлую шею портновским сантиметром и вооружился ножницами.

Они перерыли все, вплоть до замусоленных блокнотов, где записывались мерки – объем груди, талии, ширина плеч, длина штанины.

Отец смотрел на их неторопливые, хозяйские действия и, возясь у стола с чьим-то коверкотовым плащом, с отвращением думал о том, что немцев он так не боялся и не ненавидел, как этих, с их дьявольскими удостоверениями. От немцев можно было отбиться, отстреляться, зарыться с головой в землю – от этих же никакого спасения не было.

Казалось, ненависть и страх вытеснили из комнаты кислород, и дыхание у всех укорачивалось и ускользало.

Нитка в руке партизана Диница подрагивала так, как будто игольное ушко закрепили воском.

Цукерман, как колдун, вызывающий над очистительным огнем духов добра, сосредоточенно простирает над раскаленным утюгом растопыренные пальцы.

Только подпольщик Хлойне, то ли уповая на свои прошлые заслуги, то ли проголодавшись, как и обычно в обеденный перерыв, храбро хрустел в могильной тишине бутербродом со свежей ветчиной.

Все ждали конца.

Нагрянувшая беда почему-то выкликнула хуторянина Цукермана.

– Слишком много болтал, – справившись с ветчиной, растерянно пробормотал Хлойне.

Арест Цукермана ошеломил отца, растравил душу горькими и небезгрешными подозрениями. Он и раньше знал, что живет в жестоком и безжалостном мире, где зла гораздо больше, чем добра; в мире, где нет страшнее и опаснее зверя, чем человек, когда он зверь. Разве волк донесет на волка? Разве лев станет попрекать льва за то, что он слишком часто рычит? То, чему он был свидетелем и невольным пособником, сломало, смяло все его привычные представления о людях, об их нравственном долге и вине, о мере их ответственности друг за друга. Приученный с детства презирать грубую силу, он уже не под вражеским огнем, а в тихой мастерской на углу Троцкой и Завальной еще раз убедился в безнаказанности насилия, даже в его привлекательности, ибо совершается оно якобы во имя добродетели и всеобщего благоденствия. Хороши добродетель и благоденствие, запятнанные чужой кровью и залитые слезами!

Если раньше отец спешил в "eskadron zyдовsky", как в молодости на свидание с Хеной, то сейчас его одолевало желание бежать с Троцкой куда глаза глядят. Какое удовольствие с утра до вечера лицезреть эту пропахшую свежей ветчиной и подпольной плесенью рожу? У отца сомнений не было, что к аресту хуторянина Цукермана приложил руку и Хлойне. Брючник, наверно, стукнул куда следует, вот и явились о т т у д а этот в замшевой куртке и этот стриженный под Крючкова в фильме "Трактористы". Правда, в таких случаях можно и напраслину на человека возвести. Не пойман – не вор. Однако, как сказал один неглупый еврей о другом еврее: вор, но не пойман.

Отец собирался, было, спросить про Цукермана у свояка – чекиста Шмуде, но мать отсоветовала:

– Не связывайся с ним. Он тебе все равно ничего не скажет. Сам на волоске висит.

Шмуде действительно висел на волоске — ходил подавленный, хмурый. С задницы вдруг таинственным образом исчезла кобура с пистолетом, в отношениях с родными поубавилось спеси и бахвальства и прибавилось заискивающего тепла. В "наркомате госужаса", как тайком называла мама заведение, где служил ее брат, после разгона антифашистского еврейского комитета началась чистка — под разными предложениями увольняли сотрудников-"французов". Из их рук, еще вчера по-холопски преданных и небрезгливых, выбивали карающий меч революции. Уволенные тут же принялись вкладывать в освободившиеся от меча руки что угодно — кто занялся продажей сельскохозяйственной утвари в магазинах на Калварийском рынке; кто подрабывался в администраторы местного русского театра и распространял билеты на спектакли; кто тихо приворовывал, подавшись в диспетчеры на вильнюсский мясохолодильник, снабжавший деликатесами колыбель революции — город-герой Ленинград.

Никакой жалости к ним, отхватившим теплые местечки, отец не испытывал. Кого и вправду жалел, так это беднягу Цукермана, и никак не мог взять в толк, чем он, четыре года проживший в глухой литовской деревне, на скотном дворе вместе с лошадьми и коровами, научившийся у них безропотному долготерпению, успел провиниться перед советской властью? Кого убивал, кого предавал гестапо? Сидел в хлеву и под коровье и конское ржание латал сермяги Казиса, обшивал его детей. За что же они его увели?

Тайну открыл тот же Хлойне, который был вхож в так называемый избранный круг подпольщиков, где хоть и не стряпали такие аресты, но знали или догадывались об их причинах. Оказывается, Цукерман дважды в гостинице "Бристоль" тайно встречался с заезжим израильским дипломатом и якобы просил содействия в переезде с улицы Доминиканцев не на угол Троцкой и Завальной, а в кибуц под Хайфой, где с тридцать третьего года, с прихода Гитлера к власти, на пустынной земле, как дзукиец Казис, трудился его, Иосифа, старший брат. Захотел, видишь ли, чтобы под боком мычали свои коровы и ржали свои — еврейские — лошади.

Господи, возмущался отец, за желание жить рядом с еврейскими коровами и лошадьми человека изымают из жизни, как лыко из строки.

Но больше всего напугал отца я, только-только перешагнувший порог alma mater — Вильнюсского университета.

— Что слышно? — по обыкновению осведомился он, когда я однажды пришел с лекций домой.

Я пожал плечами.

— Вижу по твоему лицу — новости неважные... — промолвил отец.

Мой выбор – русское отделение филологического факультета, на котором никакого конкурса для поступающих не было (принес документы, и считай себя студентом), – вызвал у моих родителей глухое недовольство, хотя, по правде говоря, оба они зеленого понятия не имели об избранной мной специальности. Умные еврейские дети, по их мнению, свое будущее ни с каким языком не связывают – ни с русским, ни с английским, ни с немецким. Языком умных еврейских детей, думающих не о прихотях своих родителей, а о своем безбедном будущем, должен быть только один язык – язык медицинских рецептов... В доктора, в доктора – вот куда обязаны направить свои стопы серьезные юноши и девушки из порядочных еврейских семей. Что за радость в том, что их Гиршке станет учителем в школе где-нибудь в Бальберишке или даже писателем?

Еще задолго до того, как я подал в университет свои документы, отец, желая спасти меня от непоправимой ошибки, решил наглядно продемонстрировать ее бессмысленность, что называется, на местности. Не умевший читать ни на каком языке, кроме идиша, он пригласил меня на прогулку по длинному, растянувшемуся версты на полторы проспекту Сталина, где была сосредоточена вся книжная и газетная торговля. У каждого книжного киоска и магазина независимо от ассортимента товара, будь то политическая или художественная литература, занимательные биографии выдающихся спортсменов или популярные пособия по пчеловодству, он непременно останавливался, грозно тыкал указательным пальцем в полки и витрины и приговаривал:

– Кук, Гиршке, кук! (Смотри, Гиршке, смотри!)

Я таращил глаза, и не понимал, чего он от меня хочет.

В конце проспекта он по всем правилам строевой службы разворачивался, и шествие снова повторялось, но уже в обратном направлении.

– Кук, Гиршке, кук! (Смотри, Гиршке, смотри!) – мучил он меня и свой указательный палец.

В какой-то момент мое терпение оборвалось, как портновская нитка, и я в сердцах воскликнул:

– Ойф вос "кук", фарвос "кук"? (Куда "смотри?" Чего "смотри"?)

– Кук, Гиршке (Смотри, Гиршке), – спокойно погасил он мой пыл. – Столько уже написано! Разве можно к этому еще что-то добавить? Не лучше ли найти себе другое занятие?

Мама, та вразумляла меня, не выходя из дому и не утруждая своих пальцев:

– Запомни: больных на белом свете всегда больше, чем читателей...

Мое решение опечалило их. Но больше всего маму и папу тревожило, как бы я не влип в какое-нибудь дело, не связался с

бунтарской компанией – от меня и моих товарищей родители время от времени узнавали, что на филологическом факультете благопристойного столичного университета то и дело случаются "ЧП", гулко откликаются беды, которые аукаются в городе, во всей Литве и в Союзе: то кто-то зальет чернилами портрет "вождя и учителя всех народов" Сталина в белоснежном кителе; то перочинным ножиком выколют зоркие глаза бумажному Ленину; то в парты подбросят листовки, подстрекающие к бунту против русского засилья; то кого-то куда-то надолго или навсегда уведут; то выпроводят с волчьим билетом...

Опасения отца были не безосновательными. А вдруг и его пролетарское чад в чем-нибудь обвинят. Хотя бы в том, что он и его дружки-евреи в конце мая собрались в пивной на Татарской и при всем честном народе распили бутылочку горькой за новое, долгожданное государство – Израиль. Поди знай, кто рядом с ними потягивал в тот день в темном углу за казенный счет холодное "Жигулевское?"

– Что слышно? – пристрастно допытывался отец, борясь со страхами. – У вас еще никого не забрали?

– Евреев пока нет.

– Пока?

– В Москве, говорят, жарко... Среди еврейских писателей как будто бы аресты...

– Но ты ведь еще, слава Богу, не писатель... – произнес отец с благодарной мольбой в голосе и потер лоб. – Может, тебе на годик стоит бросить учиться и пойти работать... К нам в "eskadron zydovsky". Лишняя профессия никогда не помешает. Я поговорю с Глембоцким...

– Но мама говорила, что и от вас уведат...

Отец не нашелся, что ответить. Он еще долго не оставлял своих попыток наставить меня на путь истинный и переманить из гильдии никчемных болтунов-филологов, всю жизнь балансирующих на тонкой проволоке, свитой из честолубивых, лишенных всякой опоры слов, в стан умельцев и мастеровых, хоть в портные, хоть в штукатуры, хоть в парикмахеры, которые, забрось их строптивница-судьбина к черту на кулички, в королевский дворец или в острог, всегда своим умением добудут кусок хлеба.

Но все его попытки проваливались с треском.

С паном Глембоцким он встретился в больнице, но о сыне с ним не поговорил.

Пан Юзеф, бывший кавалерист-рубака, прятал в карманы поношенного больничного халата руки и почему-то виновато улыбался...

Вслушав рассказ о делах в ателье, Глембоцкий глубоко вздохнул в расползшиеся сороконожками усы.

– Прекрасный был работник!.. – сказал он о Цукермане, как о покойнике. – Жаль, жаль... Теперь я знаю: все болезни, пан Канович, оттуда... От страха... А ведь, если пораскинуть мозгами, кто в жизни должен бояться? Кто? Я? Вы? Цукерман? Диниц?

Он помолчал, еще глубже засунул в карманы трясущиеся руки и продолжал:

– Нет, пан Канович. Не мы должны бояться, а те, кто убивает, арестовывает, ворует, замышляет зло. А что получается на самом деле? Боятся не жулики, не воры и не убийцы, а порядочные люди. Разве я должен был бояться? В армии выполнял все команды, честно работал, не заглядывался на чужое, никого не обижал... Почему же, пан Канович, руки трясутся у меня, а не у них? Лежу на койке, смотрю в потолок и спрашиваю Господа Бога о том же, о чем и вас: почему?.. Доколе, Отец небесный, нам, твоим рабам, бояться за свою невиновность? У вас, пан Канович, нет ответа. Нет ответа и у Него. Но какой-то ответ должен быть!..

– Пан Юзеф, может, в этом и есть наше счастье? – вдруг сказал отец

– В чем? В чем? – выкрикнул Глембоцкий. – В том, что нет ответа?

– В том, что мы боимся... Иначе как бы мы эту нашу невиновность уберегли?

– Да будет оно, это счастье, трижды проклято... Счастье с трясущимися руками... Пойдемте, пан Канович, в коридор, я сделаю затяжку... Вы меня своей широкой спиной от врачей прикроете.

– Прикрою, пан Юзеф.

Они вышли в коридор. Пан Глембоцкий достал пачку "Беломора", губами выудил последнюю папиросу, долго зажигал спичку, и, наконец, закурил.

– Пан Канович, я и в гробу закурю, – сказал "врио". – Всем чертам назло...

Увидев в глубине коридора доктора, пан Глембоцкий быстро передал папиросу отцу. Папироса дымилась в отцовской руке; тонкая струйка дыма, завиваясь в колечки, поднималась к потолку и медленно таяла, оставляя след разве что в наболевшей душе.

ШХЕМСКИЕ ВОРОТА

Игорь Коган

ДРОЗДЫ ПРАВЛЕНИЯ

Каха ба-арэц

Приехав в Израиль, Лева Кацарчик совершенно переродился духовно и оставив в прошлом опыт тракторостроения и преферанс по субботам, проникся сознанием своей высокой миссии – отыскать ключи от рая и встать в один ряд с выдающимися Жаботинским, Бен-Гурионом и Моше Даяном...

Если у меня такая ответственная миссия, – размышлял он, – то где бы я ни стал копать, я же их все равно найду! Факт!..

После ульпана Лева после недолгих поисков нанялся к одному каблану за три шекеля в час на рытье выгребных ям...

...Как-то на заброшенном пустыре Лева осмотрелся и, поплевав на руки, взялся за кирку. Работа пошла хорошо, так как у себя в отделе Кацарчик много трудился на рытье канализации, прокладке кабелей и очистке котлованов. Через пару часов он выкопал двухметровую яму и наткнулся на подземный ход...

Протиснувшись между грубо обтесанных плит, он спустился в подземелье и зажег спичку. Прямо у ног, на выложенном старинной плиткой полу, стоял маленький саркофаг, накрытый резной крышкой. Кацарчик поднял спичку и увидел на каменной стене выбитую латинскую надпись "Leva durak".

- О! – удовлетворенно сказал он. – Это же проделки дьявола... Значит, ключи в ящике...

Свободной рукой он отодвинул крышку и на дне саркофага нашарил связку ржавых ключей и записку на пергаменте. Быстро переложив ключи и пергамент в карман, Лева полез было наверх...

– А ну, стой!.. – вдруг раздался за его спиной гулкий голос и чья-то ледяная рука схватила его за лодыжку...

— А ты не командуй тут! — храбро крикнул Кацарчик, лягнув изо всех сил каблуком. Кто-то с шумом свалился вниз, а Лева проворно вылез на поверхность и быстро забросал яму землей.

Дома он внимательно осмотрел находку. Ключей оказалось семь, и все были без бирочек, а текст на пергаменте, конечно, был на иврите, поэтому Лева долго пришлось разбираться со словарем и грамматикой Соломоника.

В старинном документе сообщалось, что комплект ключей оригинальный, изготовление дубликатов преследуется по Древнему Закону, а вскрытие двери в рай производить отключив сигнализацию путем очищения от грехов...

— Какие мои грехи?.. — задумался Лева. — Ну, хожу без головного убора, арнону еще не заплатил... Подумаешь...

Далее сообщалось, что дверь от рая находится в городе Кирьят-Ата по улице Кацнельсон сто два-алеф в здании новой синагоги.

Кацарчик сложил ключи и пергамент в черный болгарский портфель и сейчас же собрался ехать в Кирьят-Ата, но в дверях остановился, надел на голову синий картуз с гистадрутовской эмблемой, и по дороге к автобусной остановке уплатил на почте арнону.

Новая синагога на улице Кацнельсон была закрыта. Лева обошел ее и с тыльной стороны обнаружил железную дверь в бомбоубежище. Он вынул из портфеля связку и начал подбирать ключ. Проезжавший на мотороллере полицейский затормозил, но Лева, как ни в чем не бывало, приветливо помахал ему рукой.

Подошел, конечно, только самый последний ключ и занервничавший Кацарчик с усилием отворил бронированную дверь... Внутрь вели стертые ступени и Лева, включив припасенный фонарик, уверенно начал спускаться. Конец лестницы уперся в еще одну дверь, усеянную коваными заклепками и запертую на огромный висячий замок. Лева открыл его самым большим ключом и столкнулся нос к носу с пожилым евреем в хитоне с ключом в руке...

— Ну, ма кара? — неприязненно спросил обладатель хитона.

— Ой! Извините, — смутился Лева. — Я ищу, где тут вход в рай...

— Рай теперь находится на частной квартире у Мейеровича, — силпо ответил на иврите старик.

Кроме "Мейеровича" Лева ничего не понял.

— Ани роцэ книся ле ган-эдэм, — упрямо повторил он.

— Эдэн? — переспросил старик. — Ата руси?

— Руси, руси, — закивал Кацарчик. — А вот ключи, — и тряхнул ржавой связкой.

Старик молча посмотрел на связку, затем на Леву.

— Да, насчет сигнализации бэсэдэр, — подкупаяще улыбнулся Кацарчик, извлекая из портфеля справку об уплате арюны.

– Что вы мне бумажки под нос суετε?! – неожиданно по-русски произнес старик. – Сказано – у Мейеровича!

– Как – у Мейеровича? – вспыхнул Кацарчик. – Откуда вы знаете? Слушайте, я же вижу, вы тоже русский или поляк. Кама зман ата ба-арэц?

– С две тысячи четыреста пятого года, – величественно ответил незнакомец.

– Вот видите, – сказал Кацарчик, – тогда же вообще не было никаких Мейеровичей! Зачем вы мне голову морочите?..

– Послушайте, молодой человек, я вас не понимаю, – сурово прищурился старик. – Все русские ищут работу, а вы рай... В вашем возрасте еще хорошо можно устроиться в Израиле. Пошли бы работать в пекарню...

– Нет, я хочу знать, кто такой Мейерович? – начал скандалить Лева. – У меня официальные ключи!

– Ваш Мейерович – страшный жулик... – в сердцах проговорил старик. – Приехал, понимаете, из Одессы в девяностом году, во время войны в Заливе прятался в бомбоубежище, увидел у нас рай – и украл...

– Как это можно – рай украсть? – поразился Кацарчик. – А вы куда смотрели?

– Мы телевизор смотрели. То воздушная тревога, то отбой, то этот Нахман Шай говорит надеть противогазы, то снять... Первый раз за пять тысяч семьсот пятьдесят три года и не уследили...

– А в полицию обращались?

– А как же. Но наш рай нигде по бумагам, кроме ТАНАХа, не проведен и свидетелей нет. Поэтому дело закрыли.

– А я как раз ключи нашел, – грустно сказал Лева. – Вы мне адрес Мейеровича не дадите?

Старик поцокал языком и покачал седой головой, и Лева понуро вышел из бомбоубежища.

На улице он свернул за сигаретами в маколет и на всякий случай спросил у продавщицы про Мейеровича, который приехал в Израиль якобы в девяностом году.

– Ой, то вы не нашего Витьку Мейеровича шукаете? – удивилась продавщица. – Та он же через два дома от ханута живет, на втором этаже.

Отправившись по указанному адресу, Лева быстро нашел в амидаровском доме квартиру с надписью "Мейерович" и нажал кнопку звонка.

Открыл лысый горбоносый мужчина с черной волосатой грудью, одетый в пижамные брюки и шлепанцы. Кацарчик обратил внимание, что правый глаз мужчины заплыл "фонарем"...

– Заходите, Лева, – просто сказал мужчина, пропуская Кацарчика в салон.

Из райских вещей в комнате Лева обратил внимание только на дорогой японский "Панасоник" на сохнутковском столе.

— Ну, ма иньяним? — спросил мужчину, уставясь на Леву здоровым глазом.

— Боним биньяним... — зло ответил Кацарчик, как учила мора в ульпане. — Вы — Витя Мейерович, который украл рай?

— Я — Витя, — сказал мужчина. — Только не надо хамить, Лева. Будете пить чай или кофе?

Кацарчик подозрительно взглянул на Мейеровича и на его заплывший глаз.

— Откуда вы знаете, что я Лева?

— Конечно знаю, — ухмыльнулся Мейерович. — Потому что я — Дьявол...

— Вот! Я так и думал! — вскричал Лева. — Значит, вы приехали не из Одессы?.. Ну, теперь все ясно! А на репатриантов подумают, что они воры и крадут в маколетах и на рынке, и рай украли... Слушайте, где ваши рога?..

— Какие рога? — пожал волосатыми плечами Мейерович. — Что я, козел?

— Нет, вы хуже, — волнуясь, сказал Лева. — Да это же пятно на всей русской алии! Подумать только, что теперь в Израиле про нас, русских олим, будут говорить!

— А какое вам дело до всей алии? — спросил Мейерович. — Вот идиотская ментальность. Да если я вас сейчас съем, из ваших "русских" никто и за год не хватится... Я писал вам на стене, что вы дурак? А?

— И за ногу хватал?

— Хватал...

На разговор из кухни вышла жена Мейеровича в халате и туфлях на низком каблуке.

— Вот, Софа, это Кацарчик, — представил Леву Мейерович. — Я тебе говорил.

— Слушайте, у Вити теперь так глаз болит, — возмущенно упрекнула Кацарчика Софа. — Доктор сказал, — счастье еще, что роговица не задета, но кровоподтек две недели продержится!

— А вы знаете, что он — черт?! — вскинув подбородок, обличающе спросил Лева.

— Да не такой уж он черт, как его малюют, — с достоинством ответила Софа. — Другие черти в "Амидарах" не живут и зарабатывают по три тысячи.

— И еще он у израильского народа рай украл! — добавил Лева.

— Витя, какой рай? — спросила Софа. — Тот, что у нас в кладовке стоит?

— Софочка, человек с ключами пришел, — сказал Мейерович. — Поставь чайник, а мы пока посмотрим.

Лева вынул связку и в сопровождении Мейеровича прошел в кладовку.

Внешне рай не произвел на него впечатления. Повозившись с ключами, он открыл дверь и изнутри заиграла небесная музыка...

— Прямо как в книжке про Буратино, — озадаченно сказал Кацарчик. — Виктор, вы идете?

— Нет, что вы, мне нельзя.

— Ну, как знаете... — забормотал под нос Лева, осторожно переступая порог и оглядываясь. — А воровал тогда зачем?.. Ни себе, ни другим, прямо идиотство...

В разные стороны расходились уютные коридоры со множеством дверей без табличек. Никого не было видно и Кацарчик насторожился.

— Здесь только одни двери, — крикнул он. — И нет ни одной таблички, а у меня и ключи без бирок... Могли написать хотя бы, где здесь туалет!

Лева открыл первую попавшуюся дверь и заглянул внутрь.

— Ур-ра! — прокричало сразу несколько сотен глоток и за огромным банкетным столом подняли бокалы важные генералы в золотых погонах, дипломаты в расшитых мундирах и ослепительные женщины в бриллиантах.

— Слава гениальному Льву Семеновичу Кацарчику, выдающемуся деятелю международного сионистского движения, лауреату Нобелевских и Израильских государственных премий! Пытливому археологу и верному бен-гурионцу, жаботинцу и бен-элиезерцу! Ур-ра-а!

Лева отшатнулся, схватился за ручку соседней двери и дернул на себя, но там оказалось заперто.

— Ну, что? — громко спросил снаружи Мейерович, — Эйх ба ган-эдэн, тов?

— Не скрою, конечно, приятно... — испуганно сказал Лева. — И это что, они так кричать всю жизнь будут, если я останусь?

— Нет. Всю смерть. До Страшного Суда.

— А если другой еврей придет?

— А у другого еврея рай в другой комнате, — просто ответил Мейерович. — За каждым закреплено помещение. Или у нас там, или здесь...

Такая концепция.

— Слушайте, Витя, с каждым может случиться... — мягко сказал за чаем Кацарчик, по-домашнему надев бублик на палец. — Краденое надо вернуть израильскому народу... Есть же много праведников среди ватиков, даже кое-кто из сабр, я уже не говорю про наших олим хадашим. Так куда же им, когда настанет время, податься? А?

— Вот именно! — торжествующе ответил Мейерович. — Теперь понял?

– У вас какие-то антиизраильские настроения, Виктор, – тихо сказал Кацарчик. – Вы не еврей?

– Конечно. Я – Черт. Я же вам говорил.

– Значит, ты не еврей? – ставя чашку на стол, сказал Лева. – Рай у нас украл, сидишь в нашей амидаровской квартире, чай, понимаешь, пьешь...

– Это шиповник с мятой, – выходя из кухни, доброжелательно сказала Софа. – Мы в маколете у Маруси со скидкой покупаем...

– ...скидками нашими пользуешься! – перешел на крик Кацарчик и вдруг, коротко размахнувшись, ударил Мейеровича в левый глаз, так что тот вместе со стулом, полетел на пол.

Жена Мейеровича сразу хищно зашипела и, обернувшись черной кошкой, бросилась на Леву, чтобы расцарапать лицо, но он быстро ошпарил ее кипятком из чайника. Поднявшийся с пола Мейерович кинулся бодаться выросшими рогами, однако Лева с размаху обломал их сохнутовским стулом и успел еще попасть ботинком по оскаленным клыкам...

На шум соседи вызвали полицию, и вовремя, потому что разошедшийся Кацарчик, размахивая схваченной за хвост Софой, гонялся за Мейеровичем, бегающим раскорякой по потолку и стенам...

...Прошло время. Страсти, поднятые в прессе, улеглись. Лева получил от государства караван в новом поселке под Хайфой и предложение отработать сезон рабочим на раскопках. Рай служба безопасности вернула на место, а старика в хитоне уволили, не смотря на квиют.

– Каха ба-арэц, – сказала растерянному и недовольному Кацарчику знакомая ватика бабушка Фира. – Это еще не такое событие для Израиля – нашли ключи от рая или, бихляль, этот рай украли... В Израиле же никто не думает про завтра... Только и заняты этими скандалами в Кнессете – брал Дери, не брал, как быть с проституцией, и вообще, или едет ваша "русская" алия, или она уже, бээмэт, вся здесь...

Что делать?

Во время обеденного перерыва Рахмилович включил приемник и приготовился выслушать сводку новостей на русском языке, но вместо этого радио сухо сообщило: "Если тебе тяжело и ты одинок – обратись в Иран, где тебя выслушают, постараются понять твои проблемы и помочь тебе..."

Мусульманская пропаганда, – твердо решил Рахмилович, но на всякий случай, записал телефон.

Дома он приготовил чай, закурил "Тайм" и, усевшись на стул, стал обдумывать предстоящий разговор.

Конечно, мне тяжело ящики разгружать-загружать, слушать указания малахольного Ави, – размышлял он, – "кафэ" этот

хлебать... В свои пятьдесят я мог бы еще и за кульманом постоять. С другой стороны, и мусульмане, определенно, сволочи... Столько раз против Израиля воевали. И что значит, если ты одинок? Какое, спрашивается, их собачье дело?..

Рахмилович снял трубку и набрал номер.

– Салям-алейкум, – вежливо ответили на том конце. – Слушаем.

– Я по поводу объявления, – сказал Рахмилович. – Это Иран?

– Да, это Исламская Республика. Какие у вас проблемы?

– Вкалываю на овощном складе, а у меня пупочная грыжа, – сообщил Рахмилович. – Тяжело... Ну, а Эмма, жена, ушла еще во время войны в Заливе. И "Жигули" себе забрала, стерва... Так конкретно, чем можете помочь?

– Аллах всемогущ! – сказали в Тегеране. – На все воля Всевышнего! Как вас зовут?

– Меня зовут Женя.

– Так вот, Евгений, все ваши беды оттого, что вы живете среди евреев и занимаетесь сионизмом.

– Я занимаюсь погрузочно-разгрузочными работами, – ответил Рахмилович. – А в Артемовске у нас давно жрать нечего...

– Если вы, уехав из Артемовска, хотите спасти вашу грешную душу, вы должны обратиться к исламу. К тому же, Законы шариата не допускают безобразий, чтобы жена ушла и забрала "Жигули". У мусульман другие порядки!

– Представляете, – сказал Рахмилович, – нас обстреливают из Ирака "скадами", она молча забирает ключи, хлопает дверью, а я как дурак сижу в противогазе...

– Тегеран не питает теплых чувств к Багдаду. Мы разделяем негодование по поводу коварства подлого Саддама Хусейна и вашей супруги. Но, скорее всего, эти заговорщики действовали по указке израильских сионистов и американских империалистов!

– А зачем империалистам моя "шестерка" и Эмма?

– Много невероятных дел происходит по воле Аллаха, – уклончиво ответили из Тегерана. – Может быть, враги Корана задумали расправиться с дорогим нам всем Акбаром Хашеми Рафсанджани, да продлит Аллах его дни, и решили подослать к нему вашу Эмму с бомбой на русской "шестерке"...

– А как она переедет все границы? И потом, она такая эгоистка, что не станет из-за вашего Акбара рисковать даже за большие деньги.

– Вы плохо знаете женщин и возможности американского ЦРУ, – зловеще сообщили из Тегерана. – За миллион долларов любую неверную можно подбить на подлое деяние.

– А почему вы думаете, что она неверная? – обеспокоено спросил Рахмилович. – Мы просто поругались... Вы считаете, она спала с Гордоном?

В Тегеране задумались.

– Неверная, Евгений, – это значит, не является приверженницей Пророка Мухаммеда, храни и защити его Аллах... Но что она спала с Гордоном, наверняка факт... Однако, если бы ваша коварная Эмма попала в руки исламского правосудия, известного своим усердием и справедливостью, она была бы быстро наказана.

– А вы не могли бы прислать небольшой отряд стражей исламской революции? – с надеждой спросил Рахмилович. – Чтобы задержать мерзавку и изъять автомобиль?

– Не сейчас, – ответили на другом конце. – Пройдет совсем немного времени, и весь мир пойдет по светлому пути ислама!.. Тогда обязательно пришем.

– Если не можете прислать стражей, – разочарованно сказал Рахмилович, – то помогите хотя бы деньгами. Я получаю шесть шекелей в час, а за квартиру плачу триста долларов... Вы же по радио обещали помощь! Или это пропагандистский трюк?

– Это не трюк. Просто насчет денег – специальный разговор. Мало вы не возьмете, мы же знаем – "у советских – собственная гордость", а насчет большой материальной помощи из Тегерана – условия давно всем известны.

– Это Салмана Рушди убить? – уточнил Рахмилович.

– Согласно приговору незабвенного аятоллы Рухоллы Хомейни, да увековечит Аллах его имя!..

– Но у меня даже заграничного паспорта нет, – попытался увильнуть Рахмилович. – А он прячется не в Израиле...

– Для того, чтобы выполнить волю исламского правосудия, наше Министерство информации не остановится не перед какими техническими трудностями. Вы кто по специальности?

– Инженер-проектировщик средств связи...

– Вот и подключайтесь к проекту посылки пластиковых бомб по факсу. А наши шиитские товарищи, агенты исламской революции в Израиле Аббас Сумеречко и Джабар Харчуваха снабдят вас карандашами и ватманом.

– А кто они такие?

– "Хизбалла", которую мы поддерживаем, на самом деле – "Хербалайф"... – конфиденциально сообщили из Ирана. – Сумеречко и Харчуваха – полевые супервайзоры и руководят отрядами героев-распространителей... Они вам доставят все необходимое в коробках с диетическим продуктом.

– А эти обстрелы Хизбаллы "катюшами" израильской территории, – удивленно спросил Рахмилович, закуривая новую сигарету, – они что, проводятся в рекламных целях?

– Не только. Ислам также последовательно проводит борьбу против израильских вооруженных сил, партии "Ликуд", социализма и международного сионизма. А в борьбе правоверных против неверных все средства хороши – от лечебно-диетических до военно-рекламных. На джихаде, как на джихаде...

– Ой, вы знаете, давайте заканчивать, – вдруг сказал севшим голосом Рахмилович. – С Тегераном нет льготного тарифа, а мы уже десять минут разговариваем...

– Мы вас выслушали, постарались понять и предложили помощь, – строго сказали в Иране. – Начинайте проектировать. Еще в Коране сказано: "Что начато, да будет завершено!" Работая по заданию иранского правительства и лично имама Хомейни, да откроются пред ним врата рая, вы перестанете чувствовать себя одиноко и приобретете покровительство самого Аллаха! Мы вам перезвоним. Да поторопит Всевышний радость прихода технических решений!..

В трубке раздались короткие гудки. Рахмилович вытер со лба пот и бросил в пепельницу сгоревшую до фильтра сигарету.

О своем разговоре с Ираном Рахмилович рассказал знакомому, бывшему следователю по особо важным делам УКГБ по Ворошиловградской области майору Трофиму Реувенко, который служил на том же овощном складе в вооруженной охране.

– Если тебе тяжело и ты одинок, выпей водки и сходи к бабе, – посоветовал Трофим, поправляя за поясом "парабеллум". – А если такой идиот, что звонишь в Иран и получаешь задание на передачу взрывчатки – тебя накроет Всеобщая служба безопасности и тогда уж в два счета выпрут со склада.

– Так что делать?

– Выкинь все из головы, – предложил майор, деловито беря предложенную сигарету. – Руки у них коротки достать нас в Израиле. Этот Хомейни в тридцатые годы работал на территории СССР в пионерской среде под псевдонимом "старик Хоттабыч". Был разоблачен НКВД, арестован, но в конце сороковых обменян на нашего агента подполковника Шапирмурадова, а не то, что в книжках понаписано... Этот Шапирмурадов, кстати, сейчас старейший член Совета ветеранов в Безр-Шеве, недавно одно коллективное письмо в Кнессет подписывал.

... В перерыве Рахмилович включил радио, но вместо новостей услышал: "Граждан, располагающих информацией о деятельности органов КГБ против Исламской Республики Иран, просят позвонить в Тегеран по телефону..."

Сидящий на посту майор Реувенко цинично плюнул, а Рахмилович выключил к черту приемник...

Трудовой резерв

Один мальчик школьного возраста родил жука, посадил его в коробку и кормил пластилином. Но жук убежал...

Сема Портвейник перевернулся на другой бок, замахал рукой и снова захрапел в усы.

Дора Ароновна шагала по коридору Сохнута в старой каске с рожками и кованых солдатских сапогах. Полтавские и кишиневские евреи боялись и уступили ей очередь к бесплатному адвокату, но Дора Ароновна, плюнув через усатую губу, прошла в мужской туалет...

— Нельзя!.. — возмущенно закричал Сема, рывком садясь на постели.

— Да, нельзя быть таким паразитом, — сказала жена. — Ты бы еще жидкость для примуса глотал.

— Софа, дай валерьянки. У меня болит сердце, — попросил Сема, который-таки пил накануне дешевый "арак" с бывшими друзьями по кооперативу. — Слушай, снилась твоя мама...

— С гранатой? — спросила Софа, капая в рюмку сорок капель.

— Да не с гранатой. Ты, это вот... носков моих новых не видела?

— А зачем тебе новые?

— Ну что ты все в душу лезешь, зачем, зачем!.. У меня встреча с правительством. Не могу же я пойти в старых носках...

Сема через знакомого электрика в Кнессете много месяцев добивался встречи с руководством страны по поводу собственного плана создания рабочих мест. Он по-еврейски обстоятельно подготовился к разговору, включая тезисы на иврите, новые итальянские носки и дезодорант "Мустанг".

— Кажется, я все взял, — озабоченно сказал он, прощаясь с женой.

— Будет звонить из Америки Фима, скажи, если не пойдут на мои условия, так меня здесь и видели. Мы с тетей Фирой, дядей Мариком и детьми едем к нему на виллу в Филадельфию.

В Иерусалиме на тахане Портвейника встретил сам помощник референта министра труда по общим вопросам, с которым договорился знакомый электрик, и на служебном "пежо-205" отвез в канцелярию. Перед встречей с представителями министерства Сему обыскали и вежливо пихнули в комнату, где заседала комиссия, предупредив, что есть всего шесть минут.

— Шалом, — не теряя присутствия духа, произнес Портвейник.

— Здравствуйте, — доброжелательно сказал председатель комиссии. — Так мы вас внимательно слушаем, господин Винник.

— Я не Винник, а Портвейник, — заявил Сема. — В Израиле, товарищи, жуткая безработица...

– Знаем, знаем, давайте по существу, – потребовал зампредседателя. – Что это вы там придумали насчет работы?

Сема достал из кармана тезисы на иврите и надел очки.

– Ой, не морочьте голову, говорите по-русски, – закричала с места рыхлая дама в матроске и модных кружевных кальсонах. – Здесь все свои!

– Понимаете, я уже почти пожилой человек, – проговорил Сема, складывая очки. – И я знаю, как надо делать рабочие места.

– А как?

– Строительным материалом, товарищи, могут служить доски, из которых сделаны багажные ящики олим. Их очень много по всей территории страны. Это – каркас и стены. Термоизолирующим элементом послужат использованные целлофановые кулечки с шука, которые ни один оле хадаш не выбрасывает, согласно выработанным в Союзе навыкам. Так что резервы кулечков, товарищи, тоже неисчерпаемы...

– Ну, кулечки, доски... – нетерпеливо проговорил председатель. – А дальше?

– А дальше делаем рабочее место, – Портвейник взял со стола лист бумаги и уверенно нарисовал куб. – Здесь будет дверца, здесь отверстие для электропроводки, с обеих сторон по иллюминатору, а тут пустим отделочную жестяную полосу, чтобы было красиво.

– Слушайте, это какая-то летняя уборная получилась! – недовольно сказал зампредседателя, – как у нас в Бобруйске, когда я был маленьким.

– А где вы видите здесь унитаз?! – набросился на него Портвейник. – А место для рулона?

– При чем тут унитаз? – пожал плечами зам. – В Бобруйске тоже не было унитаза...

– Хаим, дайте ему договорить, – вмешался председатель. – Человек не мог знать, что вы из такого места, не надо нервничать. Продолжайте, мужчина.

– Это, в общем, все, – заключил Сема, откладывая карандаш.

– Я что-то не поняла, – произнесла дама в кальсонах. – Так на рабочем же месте людям надо работать...

– Ну и пусть работают, – ответил Сема.

– Так там же надо деньги зарабатывать!..

– А вы что, не сталкивались здесь, в Израиле, что на рабочем месте не платят? – сурово осведомился Портвейник, обводя комиссию тяжелым взглядом.

– Да, кстати, о деньгах, – немного смутившись, по существу задал вопрос председатель. – Какова себестоимость вашего рабочего места?

– Ровно триста шекелей.

– А оно надежное?

– Абсолютно. На болтах, с контргайками.

– А знаете, такое – каждому новому репатрианту по карману... – вдруг задумчиво проговорил религиозный член комиссии в кипе, с бородой и пейсами. – А наша партия выбьет фонды на мезузы.

– Нет, я понимаю, если бы это был какой-то аглицн-трактор с мотором, – не унималась рыхлая дама в кальсонах, – тогда это на что-то похоже. Но здесь даже нету никаких железных рукояток...

– Слушайте, Циля, что вы придираетесь, – прервал ее председатель. Какие рукоятки? Заладили – похоже, не похоже... Наша генеральная линия – создание рабочих мест. А чтобы было совсем, как настоящее, надо сделать немножечко трудностей, чтобы можно было получить только по блату, через дядю, там, тетю, я не знаю кого... Это буквально первое конструктивное предложение, которое я слышу за последние полгода. Кроме того – совсем недорого, я уже не говорю об экологии.

– Сначала, товарищи, можно делать прямо из нестроганных досок, – заговорщицки добавил Портвейник. – Потом постепенно улучшать отделку, красить, подводить телефон, воду, канализацию, – он злобно посмотрел в сторону зама, – можно со временем и кухню пристроить, и туалетик...

– Я знал, что туалетом кончится, – желчно сказал зампредседателя. – Я – против!

– Проголосуем, – распорядился председатель. – У нас демократия. А вы, мужчина, пока выйдите.

– Господин Винник, – сказал через пять минут председатель, выглядывая из комнаты. – Оформите ваш проект у секретаря в виде правительственной программы, пусть отпечатает и занесет.

... Теперь на севере и в центре страны созданы промышленные парки "Таасият алия". Свежесколоченные рабочие места разбиты на кварталы, а кварталы на участки.

На рабочих местах трудятся новые репатрианты. Они сидят в дверях своих кубов под новенькими мезузами и с озабоченным видом пьют растворимый кофе. Многие взяли свои места в рассрочку, а некоторые получили от Сохнута и Джойнта безвозмездную ссуду, но все, конечно, по блату.

– А в чем заключается ваш производственный процесс? – спрашивают розовощекие янки, осторожно трогая шершавые доски с надписью: "Гозенфельд Фаня. Жмеринка-товарная – Ашдо́д".

– Здесь каждый на своем рабочем месте свидетельствует, что деньги, жертвуемые на жизнь евреев в Израиле, используются по назначению, – с гордостью объясняет бестолковым туристам научный директор парков "Таасият алия" господин Портвейник. – Мы – живем!

– О`кей, – кивают американцы. – А как у вас поставлен контроль качества?

— Очень высоко, — охотно отвечает Сема. — Независимая группа ревизоров под руководством пенсионеров Далетмана и Ерухимовича день и ночь сравнивает факты нашей жизни с жизнью при советской власти в Гомеле и Черкассах и, если разница не в пользу Израиля, разворачиваются скандалы в крупных русских газетах и запускается компания по рассылке писем еще не выехавшим родственникам.

В целом же отрасль характеризует стремление к достижению высоких показателей. Поэтому постоянно действует соревнование на лучший японский автомобиль по олимовской льготе и на новый просторный "Амидар" в престижном районе. На девяносто шесть процентов возросло потребление кошерных колбасок "Зоглобек" и стереомагнитофонов, а использование в перекурах папирос "Беломорканал" и сигарет "Прима" сведено к одному проценту...

"Потрясающе! Нам в Израиле все очень нравится, — пишут в прошнурованной книге отзывов довольные янки. — Только вместо японских, все-таки, лучше покупать американские автомобили и еще в соответствии с нашим федеральным стандартом про мужчину надо говорить не "ху", а "хи", а про женщину не "хи", а "ши". В остальном же американские деньги расходуются по назначению"...

...Портвейника забрали в милуим, однако на медкомиссии он оказался рыжей фигуристкой и тогда его отвели к известному воспитателю.

— Винник, зачем вы пипу трогали? — строго спросила Крупская. — Видите, что случилось...

— Ни хрена не случилось!.. — бесшабашно заорал спящий в своем директорском кресле Сема. — Да я генерал-майор армии трудового резерва!! Понимаешь, указывать она мне будет, хрычовка старая!

Беспредел

Некоторым часто снится один бандит по имени Софрон Софронюк...

Улыбается щербатым ртом, гнусно подмигивает, ширинка расстегнута, на лапе волосатой наколка "Люська". Ясно, что сидел, а за что — даже думать противно. Сволочь, одним словом...

А видят этого Софронюка во сне и Ларочка Затуркевич, и Фима Мизерман, и лысый Наум Подпольный с детьми Эдиком и Мариком, мастерами по академической гребле... И даже бывший майор Бездетко из Кирьят-Хаима, хотя он и вообще украинец, участник обороны Кабула... Короче, абсорбция эта и так

вот где, а тут еще Софрон по ночам показывает, кто настоящий пахан и хозяин, Святая это земля или там Казань татарская.

Конечно, были попытки пресечь произвол. Так крутой программист Гриша Аксельродов ходил с дубиной на разборку с Софронюком, но тот возьми и выскочи верхом на серой крысе ушастой, та зубами как заскрежещет, шерсть дыбом. Образованного Гришу стошнило, палку уронил, а Софрон подъехал, ногой его бьет, будит, в другой раз, значит, чтоб неповадно было...

Вред от Софронюка, как от ХАМАСа с Джихадом, если не больше. Пользуясь своей нематериальностью он, если трезвый, строит олим хадашим всякие козни и такие пакости, что иной проходимец и подсознанием не додумается. Умеет Софронюк унижить человека, показать ему такие темные стороны жизни, что будь он сам не урка, а с высшим образованием, не пьяница, а гражданин западной демократии, давно открыл бы сатанинскую секту и греб валюту лопатой.

В общем, первым пострадал архитектор Зорик Цадкес из Чернигова, еще в девяностом году. Спит ночью Зорик в Афуле и видит, как к нему в голову вместо идеи приходит красномордый Софронюк с проектом подземного небоскреба, в который лом завернут.

– Земляк, – говорит, – на, за бутылку.

– Подземный небоскреб – некрасиво, – начинает интеллигентно возражать Зорик. – Кто вам сказал, что дома строят вниз?

– У Израиля поверхности мало, – говорит Софронюк. – Бери, падла, а то дам по голове! – и как замахнется...

Ну какая водка у Цадкеса? Тем более, во сне? Так взял... А Софронюк говорит:

– Тогда чтоб внедрил обязательно. Над ним кореши три года в зоне корпели. Я твою харю запомнил. Ну, пока... – и ушел, дверью хлопнул, чуть барабанную перепонку не порвал.

Ну, Зорик давай по конторам бегать со своим ивритом, а его отовсюду гоняют, то ришайона нет, то дискретности, то вообще "русских" не любят. Спать Зорик по ночам стал бояться. Задремлет, а сам прислушивается – не идет Софронюк? Через неделю извелся, заснул-таки. Слышит, ломится пьяный Софрон в голову, грозится все извилины пересчитать. Пустил... А тот сразу к вестибулярному аппарату и давай накручивать по коду Америку, к Зорикиному шуруну на Брайтон.

– Вовик! – орет. – У тебя зять с ума сошел! Иглой ширяется, жену бросил, арабам Родину продал! А ты, курва, деньги шлешь! Не шли!.. – и как загнет матом, а потом трубку финским ножиком срезал, сунул в карман и ушел...

Хорошо, в Нью-Йорке разница во времени, шурин не спал, на такси вкалывал – не слышал.

Короче, потихоньку собрал Цадкес амуту из таких как сам, получил местечко в песках и строит на машканту подземный небоскреб, что дружки Софрона придумали. А израильскому каблану что? Он всех "русских" в гробу видал, лишь бы деньги платили...

Другой жертвой стала Ларочка Затуркевич. Она курсы секретарш окончила, хоть у самой вторая степень, легла ночью спать, а Софрон тут как тут снится.

– Не бойсь, девка, – говорит, – я тебя на работу устрою, – а у самого рожа гнусная. – Пойдешь в контору к Ави Пицхакову, скажешь – от меня. Мы с ним в Котласе на одних нарах срок мотали, он место тебе даст.

Ну, Ларочка вежливо поблагодарила, проснулась утром, накрутилась и поехала. Она же что про Котлас, что про Шизафон, скажем, вообще ни черта не слышала...

А этот Ави, конечно, тоже тот еще бандит был. Контора у него с компаньоном в приличном месте, с вывеской на иврите. Усадил Ларочку за махшев, обещал испытательный срок две недели, а там и полную ставку... Ларочка день по клавишам стучит, второй. А на третий Пицхаков говорит:

– Приходи в шабат, адын сырочный работа эсть. Только в сарафана приходи.

Ларочке это как-то не понравилось, но она, дура, взяла и пришла в сарафана. Пицхаков тоже пришел, дверь на ключ запер и давай Ларочку хватать потными руками. А в шабат – кричи, не кричи, кто тебя из мисрада услышит?

В общем, плохо бы кончилось, если б не компаньон Пицхакова. Он тоже вдруг снаружи дверь своим ключом отпирать начал – ему на шабат Софрон другую жертву в сарафана подставил, только спяну накладка вышла...

Ларочка успела убежать, так Софрон на Мизермане отыгрался.

А Фима Мизерман, надо сказать, если спал – вообще снов не видел, предупредил его кто-то в Ташкенте. Софронюк и туда, и сюда – везде глухо, а Мизерман еще и не пьет ни грамма, на гипнотизеров понаехавших не ходит, гриппом без температуры болеет, не бредит... Ну, крепкий и здоровый, как слон. Однако Софронюк его на любовнице Тане подловил.

– Закрой глаза, – говорит Таня Мизерману, а сама набор мужских трусиков за спиной в подарок держит. – А ну-ка, представь, чего бы тебе больше всего хотелось?..

Мизерман-то глаза закрыл и только собрался себе голую Таню представить, а Софронюк тут как тут влез, тоже голый, как из бани, попа волосатая, вся в татуировках.

– Ой, – говорит тонким голосом, – так ты, Фима, гомосек? – а сам ему веки двумя руками держит, чтобы Мизерман глаза не открыл. – Гляжу, такой мужик видный, такой мужик... Иди в шмиру работать, там тоже все мужики...

– Да я в Технионе на стипендии Шапиро, – растеряно так отвечает Фима.

– Иди, сука, – говорит Софронюк щербатым ртом. – Сейчас явлюсь твоей бабе да заложу, как ты меня с корешами на зоне опустил, – и мохнатой задницей вдруг как завертит...

– Ну, милый, представил? – загадочно спрашивает Таня и протягивает Фиме эти трусики несчастные...

Софронюк ему и веки отпустил, но Мизерман стоит ни жив, ни мертв, ждет, что тот дальше выкинет. А Софрон что – свое дело сделал, затаился.

Пошел Мизерман в ширу, наплел, что подработать хочет, а там его еле-еле взяли без милуима, да еще с третьей степенью. Из неуважения к "русским" выдали какой-то кремневый пистолет с шомполом в тряпичной кобуре и форменную рубашку без пуговиц. В таком виде пошел Мизерман упражнение для сторожей в тир стрелять и чуть всех там не спалил своим старым порохом...

А со стипендии Шапиро его взашей выгнали, как только увидели с кремневым пистолетом.

Однако с Сашей Клафосом Софронюк поступил вообще как последний изверг.

Был Саша всю жизнь тихим инженером-теплотехником в строительном тресте, по вечерам стихи писал, мечтал о всяком, о счастье в общем... Хотел за границей жить, иметь чековую книжку, новый белый автомобиль, подругу-красавицу и вообще, чтоб окна выходили на теплое Средиземное море и кругом пальмы с кипарисами...

Ну, как водится, приехал Клафос в Израиль, получил теудат оле, лег ночью спать, а ему Софронюк приснился.

– Санек, держись, – говорит. – Я тебе, как господь Бог, все желания исполню, бля буду...

– Да что вы... – смутился Клафос. – Вы же, наверно, давно тут живете, а я только приехал, вы меня совершенно не знаете...

– Как облупленного, – ухмыляется Софрон. – Давай в очко сбачаем.

– А на что? – осторожно спрашивает Клафос. – На часы?

– Какие часы! На то, что тебе на хер не нужно!

– У меня лишнего ничего нет, – серьезно отвечает Саша.

– А крайняя плоть есть?

– Ну при чем тут это?.. – густо краснеет Клафос.

– А не запаadlo тебе, кучерявому, необрезанным ходить? Бери карту, козел!

Взял Саша карту, потом еще две, набрал двадцать, а у Софронюка очко!

– Слышь, – говорит Софрон. – Даю тебе день сроку. Карточный долг, понял?

– А потом что? – спрашивает Саша.

– Потом еще сыграем. Смотри мне...

Проснулся Клафос, голова после такой ночи трещит, сел на кровати, задумался, а потом пошел в полицию.

Однако со своим ивритом, он, конечно, толком ни черта объяснить не смог, запутался.

– Ма кара, хавэр? – сочувственно, говорит ему дежурный полицейский в кипе и с пистолетом за поясом. – Правильно, всем "русским" надо брит мила. При чем тут твой Софронюк, а?..

Ну, делать нечего, поехал Саша в купат холим, по олимовской льготе сделал себе обрезание.

На ночь принял две таблетки "акамола" и с тяжелым сердцем лег. Только задремал, приходит Софронюк.

– Отрезал?

– Да, – тихо говорит Клафос. – Болит...

– Ничего, – ласково так отвечает Софронюк и садится совсем рядом. – Это у тебя там абсорбция болит. Леат-леат, поболит и перестанет. На вот карту...

– А теперь на что? – со страхом спрашивает Саша.

– Счастье твое поставишь, – усмехается Софрон. – Глядишь, и баба с пальмами обломится, и тачка белая...

Сыграл Саша раз, и второй сыграл и все выигрывает, а Софронюк знай себе, улыбается. Достанет из кармана бутылку, отхлебнет, и снова колоду тасует. До утра сидел, а потом хлопнул Сашу по плечу и ушел...

Короче, есть теперь в Израиле у Клафоса и белая "Самара", и жена красивая из Черновиц, и счет в банке, и квартира в Хайфе с видом на море...

Да только ясное дело, Софронюк все специально подстроил.

На "Самаре" своей ездит Саша по уборкам за пять шекелей в час, чужие туалеты моет, иврита не знает, на счету в банке минус – машина, машканта, жена красивая не готовит, не стирает, только кофе пьет, по магазинам за шмотками мотается, а за квартиру с пальмами пятьсот долларов платить надо.

Знал, конечно, сволочь Софронюк, что счастье-то у Клафоса еврейское...

Вот как-то собрались братья Подпольные с папашей Наумом Моисеевичем, которых ночью Софронюк подбил взять ссуду на строительство гребного канала в Димоне, позвали еще украинского майора Бездетко и бывшего сиониста Фришмана, которых тот же Софрон подговорил стать им гарантами на ссуду в двести тысяч, и обратились к другим жертвам. Дали объявление в газеты "Вести" и "Наша страна" и хотели еще на радио "РЭКА", но средств не хватило. Однако, все равно, народ активно откликнулся. Пришли на собрание и сначала единогласно постановили писать коллективную жалобу русскому послу в Тель-Авив, но потом решили сразу обратиться в между-

народный трибунал в ООН, чтобы привлечь Софронюка за преступления против человечности.

Об этом с интересом узнала израильская общественность, которая, как всегда, заняла неоднозначную позицию.

– Это русская вялотекущая шизофрения, – авторитетно заявлял один левый израильский физик, хотя раньше и сам, бывало, выезжал в Богодуховский район на картошку. – Это типичные посткоммунистические фобии на комплексе невосприимчивости свободы личности...

– Нет, это проявление нового секретного арабского психологического оружия! – гневно возражали правые. – Правительство преступно бездействует, а наши "русские" уже почти все сошли с ума!..

– Да это просто какой-то "Кошмар на улице Вязов"!.. – жалели пострадавших богатые олим из Америки. – Их Софронюк точная копия нашего Крюгера, только Фредди не сидел в тюрьме на страшных русских нарах...

В общем, одна совместная фирма из Петербурга на деньги "Сионистского Форума" взялась расследовать это дело. Через месяц с помощью фоторобота удалось точно установить, что на самом деле проживает Софронюк в поселке городского типа Красная Лопань, пьянствует в кролиководческой бригаде и, действительно, по ночам дома не ночует...

Нанятый "Форумом" частный детектив Финкельштейн, используя свои старые связи в России, приехал с ОМОном в Красную Лопань брать Софронюка.

– Да какой такой, мать-перемать, трибунал?! – очень удивился Софрон, когда в райотделе милиции Финкельштейн официально зачитал ему международное обвинение. – У нас в России демократия и права человека! Понял? Вали к едрене матери в свой Израиль, так там и передай: за действия, произведенные мною в чужом сне, я ответственности не несу!

Круто повернулся и ушел к своим кролям, да еще милицейской дверь хлопнул...

Возвратился Финкельштейн в Тель-Авив не солоно хлебавши, а Софрон после этого вообще напролом пошел, на израильских политиков перекинулся. Иврита, подлец, не знает, но такое выкобенивает, утром газету открыть страшно...

Вы думаете, все?

Недавно, по случаю, на Западе купили архивы КГБ. А там, среди прочего, совсем свежие оперативные сводки. Некто Гришка Хаймович, безродный космополит, сионист и масон, регулярно снится членам общества "Память", заслуженному штангисту Власову, одному математику Шафаревичу и еще уйме народа. Есть пострадавшие, а материальный ущерб по России вообще учту не поддается.

Хаймович этот живет, конечно, в Израиле, в Холоне, в двухкомнатном Амидаре на четвертом этаже. На склоне лет в религию подался, носит кипу и пейсы, так, с пейсами, там в России и снится...

Ну, приходили к нему паломники в Святую Землю из Свято-Данилова монастыря, укоряли.

– Ничего не знаю! – запальчиво отвечал Хаймович. – У нас тут, в Израиле, демократия и права человека. За действия, произведенные мною в чужом сне, я ответственности не несу! Разговор исчерпан!..

Так вот. Тот не несет, этот не несет... Люди страдают, жизнь к черту рушится и порядок навести некому.

Вот некоторые метафизики серьезно утверждают, что мы все, – ну, они там и мы тут, – тоже кому-то снимся...

Кому?

Один меткий обозреватель в газете так открыто и пишет: "если снимся – пусть немедленно проснется и прекратит беспредел!"

Дрозды правления

(К 90-летию со Дня рождения Д. Хармса)

По ночам Лизин муж пронзительно храпел. Лиза во сне раздражалась, потому что ей казалось, что звонит телефон. В конце концов, она поскандалила на телефонной станции, чтобы прислали монтера. После ремонта муж перестал храпеть, однако телефон продолжал работать плохо, потому что в пять часов утра зазвонил, а когда Лиза схватила трубку, то услышала на иврите требование явиться в Кнессет на ближайшее заседание.

– Теудат зеут брать? – хрипло спросила Лиза, шаря в потемках карандаш.

– Брать, – приказали на другом конце. – Копию трудовой и характеристику с последнего места работы.

– А я в Израиле еще не работала, – испугалась Лиза.

– Значит с места, на котором еще не работали, – неопределенно ответили из Иерусалима и дали отбой.

– Как это, с места, на котором еще не работала? – спросила утром Лиза у мужа.

– Идиотка... Вон, из самого Кнессета звонят, может, работу чистую предлагают, а она дурацкие вопросы задает, – возмутился муж. – Ты королевой была?

– Нет... Я же, Боря, инженер-технолог по аккумуляторам.

— Ну, я тебе сам напишу, — сказал муж. — Мне в комиссионке уют в бланки Иерухамского монархического общества за вернули. Дай ручку с черной пастой.

Лизин муж написал, что по работе на троне тов. Фишман Елизавета характеризуется положительно, постоянно участвует в общественной жизни двора, активно борется за чистоту престола и прилегающей территории, высоко несет звание Ее Величества, в быту скромна, морально устойчива, политически грамотна. Рекомендована местным комитетом к выезду с королем Борисом на монархическую работу в центральный район. Характеристика дана по месту предъявления.

— А мы ж в Иерухаме ни разу не были, — сказала Лиза.

— Оставь! Полно монархов по всему миру находится в изгнании. Сегодня Иерухам, вчера Кирьят-Ям, завтра Шизафон... какая разница. Ты, главное, на образование напирай — индустриальный техникум и заочный политехнический. В Кнессете в первую очередь на диплом смотрят.

Лиза поехала на автобусе в Иерусалим, предъявила на проходной теудат зеут и ее без разговоров пропустили в парламент.

— Здравствуйте, гверет Фишман, — сказал ей председатель комиссии по общественным делам. — Вы говорите по-русски?

— А я только по-русски и говорю, — ответила Лиза.

— Есть мнение привлечь вас к ответственной общественно-политической работе. Бумаги привезли?

Лиза открыла сумку и достала пачку документов. Председатель надел очки и стал читать.

— Индустриальный техникум — чепуха, — отмахнулся он. — А вот что вы царствовали в Иерухаме — замечательно. Это правда?

— А как же, — соврала Лиза. — У меня и характеристика подписана.

— Тогда идемте сейчас в зал заседаний, оформим это голосованием.

В зале шли прения, распáренные депутаты много ругали какого-то члена Кнессета Ицика, который бил жену и пропускал сессии парламента, потом толстый дядька в пейсах сказал на выступающего "гой" и ловко плюнул в его сторону, а араб с черными усами, поднявшись на трибуну, призвал бороться за увеличение алии из России.

— Дурак, что ли? — спросила Лиза у председателя, который ей переводил.

— Это такие политические интриги, — объяснил председатель. — Потом все вместе идут в буфет пить кофе. Демократия.

Наконец, перешли к повестке дня и спикер объявил, что Израиль нуждается в царе. Все замолчали и посмотрели в сторону председателя комиссии по общественным делам.

— А что такое? — вставая, сказал председатель. — Традиции монархии утрачены две тысячи лет назад, надо восстанавливать. Приехали подготовленные кадры. Хочу вам представить Ее Величество гверет Елизавету Фишман...

— А она из дома Давида? — подозрительно спросила порусски депутатша от коммунистической партии.

— Из дома Давида Соломоновича Мищука, — уточнила Лиза.

— Он был помещик?

— Он был Мищук.

— Конечно, монархия! — закричали с мест сразу несколько депутатов. — Свита, венец, дворяне. У нас как раз и конституции нету!.. — но спикер начал стучать на них деревянным молотком и они замолчали.

Тогда поднялся молодой депутат Рабинович.

— Да, монархия, но только в демократической форме! — строго подытожил он. — Мы будем проверять каждые полгода. Специальная парламентская комиссия и ведомство государственного контролера!

— А тебя, Рабинович, первого... — себе под нос тихо сказала Лиза.

— Что — первого? — не расслышал председатель. — Повесить?

— Да.

— Вы с этим подождите, пожалуйста, — попросил председатель по общественным делам. — Еще не состоялось голосование.

Тем временем к Лизе важно подошел депутат от религиозной партии и стал ее внимательно рассматривать.

— Слушай, ничего. Ты мне нравишься, — сказал он. — Только обязательно постригись и мы тебе зубы вставим.

— Да я сама могу сделать так, что тебе все зубы вставят, — неожиданно на чистом иврите ответила Лиза. Депутат шарахнулся в сторону, а председатель показал Лизе большой палец.

— Надо решить вопрос о престолонаследии, — сказал спикер.

— Никаких династий! — снова вскочил Рабинович. — Наследника престола будет выбирать Кнессет большинством в шестьдесят один голос.

— Вот собака, — сказала Лиза. — Пусть спасибо скажет, что мы не привезли вам красное знамя...

Вопрос поставили на голосование и Лизу большинством избрали на царство.

— Землю не отдавать! Земля теперь королевская! — обрадовано закричали депутаты правых партий. — Как завещано в первоисточниках!

— А третий государственный язык, — заявила Лиза, — будет русский с еврейским акцентом. И русские в Израиле первыми в космос полетят!

В качестве дворца за Лизой закрепили отремонтированный трехэтажный матнас, дали "Вольво" с водителем и сотовый телефон в кожаном футляре.

— А на кой нам водитель? — при всех спросил на коронации Лизин муж. — У меня ж права есть. Лучше я и эту ставку получать буду...

— Какая ставка, ты теперь король, — зашипела на него Лиза.
— Надень корону и стань в сторону.

Заняв престол, Лиза сейчас же напечатала в газетах объявления, что требуются аристократы на полную ставку, кавалергарды и работники свиты.

— Какие дворники? Дворяне!.. — кричала она звонящим по сотовому телефону. — Не швабра, а шпага! Купите себе на тахане мерказит!

Лизин муж сначала скучал во дворце за русскими газетами, но потом вспомнил, что был когда-то младшим лейтенантом запаса, взял саблю и стал заниматься с кавалергардами строевой подготовкой.

"Раньше кавалергарды были усатые, а теперь носатые, — желчно написал в Москву корреспондент "Правды". — Вот и в Израиле появилась монархия. А зря. Еще в каком-нибудь Свердловске расстреляют..."

Подданные из новых репатриантов, бывшие жители Горловки, Белгорода и Саратова за Лизу очень радовались и писали письма.

"Ваше Преосвященство, — написал пенсионер Моисей Щупак из Бат-Яма. — Мы тут за вас надеемся, что теперь дрозды правления будут в крепких руках. Они в Израиле говорят, что все русские — проститутки, а у нас, понимаете, не только проститутки, а царицы, ветераны и образованные работники умственного труда. Мой зять работает бухгалтером на птицефабрике, и начальство дает ему бесплатно курей".

Правда, один пьяница Киселев из Кирьят-Гата сказал корреспонденту "Едиот ахронот":

— Жиды продали Россию. Они, ептать, и Израиль продадут! Чо вылупился?

Но в целом пресса положительно отзывалась о правлении королевы Елизаветы и короля Бориса.

Космической программой занялись летчики Сима Гагарина и Берман-Титов. Правда, на ракету денег не хватило, и Лиза объявила среди репатриантов сбор средств на постройку дирижабля.

— Слушайте, диктатура всегда с этого начинается, — предупреждал один старый диссидент. — В тридцатых товарищ Сталин тоже занимался воздухоплаванием, а поэт Лебедев-Кумач не хотел давать денег на дирижабль.

Так этого Кумача чуть не расстреляли, перестали хвалить и не дали орден Ленина. Куда мы идем?..

Однако старых диссидентов никто не слушал, все устраивали свою светскую жизнь, ругались из-за титулов и не учили иврит.

А когда в торжественной обстановке готовый дирижабль надули, он лопнул и Берману-Титову оторвало палец. А еще взрывом повалило яблоню, которую когда-то на Первое мая посадила Голда Меир.

– Ни черта не умеют, – сердито сказал депутат Кнессета Рабинович. – Пора собрать комиссию и заслушать отчет государственного контролера.

Лизу и Бориса пригласили в Кнессет, и Лизе сразу не понравилось, что вместо трона подали пластмассовые стулья.

В своем докладе государственный контролер перечислила ошибки и факты некомпетентности особ, приближенных к монарху.

– Например, Барон Аркадий получал зарплату четыре тысячи шекелей, – сказала контролер, – не являясь представителем высшей знати в действительности. Барон – это просто его фамилия по теудат зеуту. Имеется справка из Министерства внутренних дел.

Также чины еврейской конной королевской полиции вместо лошадей ездили на пони на том основании, что страна маленькая. Это привело к тому, что посол Великобритании направил ноту нашему правительству, где жаловался, что при погоне за преступниками мимо посольства конные полицейские отвратительно шаркают подошвами по мостовой.

Чета Фишманов, – сказала контролер, – и после коронации получила пособие по безработице, что противозаконно, поскольку монархи имеют действующее дело в виде Израиля.

"Русские репатрианты по своему менталитету скорее склонны к влажным уборкам и вооруженной охране, чем к аристократической деятельности, – злорадно повторил слова Рабиновича диктор в выпуске теленовостей. – Сегодня решением Кнессета Фишманы лишены престола, двор распущен, а приближенные получают письма об увольнении".

Недовольные Лиза с мужем вернулись на съемную квартиру.

– Сволочи, – сказала Лиза. – Ну, подумаешь, дирижабль лопнул...

– Кавалергардов жалко, – вздохнул Борис. – А Рабиновича и без нас повесят.

Лизин муж по ночам снова стал храпеть, а Лизе опять начало казаться, что звонит телефон. Она сообщила на телефонную станцию, и оттуда прислали монтера.

– Так, в чем дело? – спросил монтер и полез в аппарат отверткой.

– Меня свергли, – сказала Лиза, – а тут еще телефон поломался.

– Я живу в Израиле уже двадцать лет, здесь каждый должен съесть свою порцию дерьма, – ответил монтер.

– А как же насчет земли, текущей молоком и медом? – возмутилась Лиза. – Ничего себе, мед!

– Надо принимать понемногу каждый день, как все.

– Но ведь вы же не пьете ваш чертов кофе с говном! – закричала Лиза.

– А у меня квиют, – заявил монтер и посмотрел на Лизу светлыми глазами.

Трансиррационал

Стремительно рассекая головой воздух и хлопая на ветру лапами пиджака, Ширман мастерски разминулся с грузовым самолетом и свечой взмыл к солнцу.

— Мы рождены, чтоб сказку сделать былью... — радостно напевал он. — Преодолеть пространство и простор!..

На высоте семь тысяч метров он принял валидол, потому что стало трудно дышать, и, заложив вираж, камнем ринулся к земле. С треском оторвалась на рубашке пуговица, и от турбулентных потоков развязались шнурки на туфлях.

Сунув два пальца в рот и выпучив глаза, Ширман оглушительно засвистел над самой землей и, совершив головокружительную "мертвую петлю", перешел в горизонтальный полет...

— Я научу вас летать! — кричал он репатриантам из Киева, Гомеля и Москвы. — Я открою вам небо. Поприлипали к съёмным квартирам!

— А мы "русскую" общину создаем, — обстоятельно отвечал ему снизу Моисей Спивак из Минска. — Будем свою газету издавать, КВН проведем и митинг за увеличение корзины...

— Местечко! — кричал Ширман. — Общину они захотели! Корзину! Да мы же всегда жили духовной жизнью, мы — выше этого! Я научу вас летать!

— А мы высоты боимся, — объясняла Роза Исааковна. — Это вы, молодой человек, себе летаете. А мы на шук ходим, там картошка уже по два шекеля кило и зять у меня шестой месяц без работы...

— Эх вы!.. — бросал в сердцах Ширман и без разбега взлетал в небо.

— Я чайка Ширман по имени Джонатан Ливингстон!.. — кричал он облакам, солнцу и шарахающимся птицам. — Я плоть от плоти воздушной стихии! Я — вихрь! Я — луч света в темном царстве!..

— Кстати, насчет плоти... — задрав бороды, говорили между собой ответственные за абсорбцию равы. — И вообще — эти идиотские полеты в пиджаке и ботинках в небо с непокрытой головой — некошерные. Без дэлека и с такой жуткой аэродинамикой могут летать только ангелы и, может быть, сам Машиах, а не эта скотина Ширман. Дождемся еще, он по морю пойдет, яко по суху, тогда, бихляль, хлопот не оберешься...

Равы между собой тихонечко прокляли Ширмана и отступились.

А Ширман свил себе гнездо в горах Кармель из картонных ящиков, днем спал, а по ночам поднимался к звездам. И чем выше взлетал он в небо, тем светлее становилось у него на душе, и как шелуха спадали оковы политехнического образования, опыт холодной обработки металлов и знание немецкого со словарем.

В стратосфере Ширмана ощупывали тревожные лучи радаров ПВО, но, смеясь, он презрительно отражал их своим румынским пиджаком...

В один из полетов в безлунную ночь его догнала летающая тарелка с ярко горящими иллюминаторами и осветила неземным серебристым светом.

– Слушайте, Ширман, остановитесь, – телепатически обратились с тарелки. – У нас контакт на пару минут.

Ширман резко сбросил скорость, завалился на бок и, сделав глубокий вираж, медленно облетел НЛО.

– В чем дело? – спросил он, засовывая руки в карманы.

– Где вы научились так красиво летать? Вы что, в авиации служили?

– Нет, в бронетанковых частях.

– А почему другие не летают?

– Потому что нужно особенное состояние души!

– А что такое душа, Ширман?

– Душа – это поле битвы между Богом и Дьяволом. В моей душе Бог истребил Дьявола и я могу подняться к звездам...

– Нет, это средневековые предрассудки, – сказали с тарелки. – На такой достоевщине нельзя построить серьезной научной теории. Чтоб вы знали, на самом деле у людей существует вторая иммунная система, которая предохраняет от иррационального влияния. А у вас она разрушена новым вирусом. Вам лечиться надо.

– Неправда, – сказал Ширман. – Откуда вирус, а?

– Вирус за много лет выработался из вируса гриппа под влиянием социалистического образа жизни и аварий на атомных станциях. А передается при деловых контактах. Ездили в киевский кооператив за четырехдюймовыми шайбами?

– Ездил...

– Ну, вот.

– А почему же тогда **там** никто не летал?..

– Инкубационный период инфекции большой. А в Израиле жарко, поэтому тут он короче... Можем таблеточку дать, хотите?

– Не хочу, – сказал Ширман и, понурив голову, полетел своей дорогой, а тарелка растворилась в ночном небе.

Приземлившись у себя на Кармеле, Ширман зашагал взад-вперед по гнезду, заложив руки за спину.

– Я не боюсь иррациональной инфекции! – сказал он громко. – Если вирус дает человеку способность летать, то это не болезнь, а свобода!

– Люди! – закричал он утром, бросаясь с горы в долину. – Я принес вам свободу! Я один знаю, как заразить всех!..

Он снял в банке свои квартирные деньги и дал объявление в газетах:

"Новые репатрианты, имеющие перспективные предложения, приглашаются в компанию "Ширман херут баавир" для **деловых контактов!** Беспроцентные ссуды! Дискретность гарантируется!"

Тогда народ, наконец, повалил к нему. У его дверей столпилась очередь и люди с ночи вели список. Ширман никому не отказывал. Он всем давал по пятьдесят шекелей, заполнял анкету и, для надежности, еще троекратно целовал... Не щадил он и детей, которых брал на руки и нарочито деловито предрекал карьеру фотомодели или успех на детском конкурсе красоты...

А через три месяца на последние деньги снял помещение на двенадцатом этаже здания в Тель-Авиве и пригласил всех по списку.

— Братья, — обратился он к собравшимся. — Теперь каждый из вас может летать! Инкубационный период окончен! Подойдите к окнам, не бойтесь! До свободы один шаг!

Но желающих не нашлось.

— Смотрите! — сказал Ширман и, разбежавшись, перепрыгнул через подоконник.

Наступила мертвая тишина...

— Вот это — по-нашему! По-шагаловски!.. — вдруг выкрикнул пенсионер Мильнер и взмахнул шляпой, но жена крепко взяла его за локоть. Все подошли к окнам и посмотрели вниз на асфальт.

— Нет, я здесь! — закричал сверху громовым голосом Ширман. — За мной, люди!

Тогда одинокая бывшая завуч Клара Соломоновна, высморкавшись в батистовый платочек, решительно раздвинула плечом любопытных и, подобрав платье, встала на подоконник. Спикировав, Ширман ободряюще ей свистнул, Клара Соломоновна покачулась и упала лицом вперед... Все ахнули.

Но не достигнув земли, она отчаянно замахала короткими руками и тяжело полетела вверх. В ее близоруких широко раскрытых глазах светилось счастье.

— Женщинам в тренировочных штанах надо! — закричала она, пролетая мимо двенадцатого этажа. — А то неудобно, когда снизу смотрят... Я птица! Я чайка Клара по имени Джонатан Ливингстон!..

— Если эта Клара — чайка, то и я могу, — заявил Гарик Фрумкин и, прижав к груди кейс с деловыми предложениями, выбросился в окно. Ширман едва поймал его у самого тротуара.

— Вы идиот, — злобно сказал Ширман.

— Почему?

— Вас же нет в списке!

— Так что? — обиделся Гарик.

— А нужен инкубационный период. Дайте сюда, — Ширман открыл кейс и пробежал глазами бумаги. — Будем считать нашу встречу деловой, — и троекратно поцеловал Фрумкина в щеки.

— У них корней нет на этой земле, — стали глухо говорить о "русских" местные. — Вот увидите, они все в Америку улетят. Вон, сколько их поднялось, солнца не видно...

Иногда снизу по ним стреляли из рогаток смуглые дети и кричали: "Маньяк! Маньяк!..", но люди не обращали внимания, а только понимающе улыбались друг другу.

Однажды вечером пришел к Ширману молодой марокканский еврей, хозяин двух высотных домов в Тель-Авиве, и попросил:

— Научи. Я тебе пятьсот шекелей заплачу.

— Нет! Ты сначала Набокова прочитай, паршивец! — сказал ему Ширман, — И жилплощадь отдай бедным! Тогда будет **деловой** разговор.

"Не еврейское это дело — витать в облаках, — со скрытой завистью писали о "русских" разные комментаторы. — Их извращенные воздушные фантазии подорвут устои общества... Они глаголов не знают".

И пополз по Израилю слух о второй иммунной системе, о каком-то летучем СПИДе и опасных "русских"... Многих под угрозой сокращения корзины вызывали в поликлиники и делали анализы на сопротивляемость организма к иррациональному. А один молодой американский врач из Бруклина немедленно защитил диссертацию "О секулярной парадигме русской пенитенциарной нервной системы", а другой "О вирусном феномене самовозгорания людей в результате ядерных войн в организме".

Но остальные специалисты, не разобравшись, испугались и составили предвзятый доклад правительству.

— Нет, им нечего нас бояться! — говорил высоко в небе Ширман. — Наша болезнь не носит агрессивный характер. Никаких эскадрилий, никаких стай, максимум — летать "клином"...

Но нет таких заболеваний, которые не лечат в Израиле... Министерство Абсорбции выделило деньги и в подземных лабораториях "Хадассы" создали жидкую вакцину.

Русскоговорящие психологи и врачи поднялись на воздушном шаре и крикнули в мегафон:

— Ширман! Вы же сотрудничали с Гончаруком из УКГБ по Полтавской области! У вас нет морального права руководить полетами больных!

— Нет, я чайка!.. — кричал из-за облаков Ширман. — Я — луч света!..

— Немедленно летите сюда! — звали в мегафон. — Мы сделаем вам укол, а потом дадим караван в престижном районе. Если не прилетите, санитары откроют зенитный огонь.

— Слышите, люди! — обратился к парящим в бездонной голубизне Ширман. — Дался им Гончарук! Какие уколы? Не надо больше слушать официальных лиц. Огонь они откроют... У нас уже другая ментальность! Мы звездные птицы! Мы трансирационалы! Нам Космос распахнет объятия!..

Но пока он так кричал, Миша Кацнельсон, прячась за тучами, подлетел к воздушному шару и тихо укололся... А за ним, без лишнего шума, Рита Рабинович из Маалота, и семья Сви-наренко из Кфар-Сабы.

Из гондолы воздушного шара им всем давали парашюты, а на земле чиновники, помогая гасить купол, сразу вручали ключи от караванов в престижных районах...

И когда Ширман охрип, повиснув в зените, и протер глаза, рядом с ним безмятежно покачивался на восходящих потоках лишь Соломон Гинзбург. А внизу вакцинированные репатриан-ты уже вовсю ругались с "Амидаром" и тащили в караваны со-хнутовские кровати.

– Только мы с тобой и чайки, – горько проговорил Ширман, – и небо осталось для нас двоих...

– Говорите громче, а то я слуховой аппарат уронил, – по-просил Соломон. – А где моя племянница Циля?

– А-а-а!.. – дико закричал Ширман. – А-а-а!.. – и, рванув ворот рубахи, взмыл в распахнутые объятия Космоса...

* * *

На этом можно бы поставить точку.

Но Ширман жив.

На Альфа-Центавра он работает кладовщиком на фанер-ной фабрике. Там все летают, а Ширман им выдает со склада магнитные ботинки, чтобы стоять у станков...

Татаро-Марголин

(К 90-летию со Дня рождения Д. Хармса)

Душным июньским вечером к Григорию в квартиру за-брался бородатый араб Махмуд, который вместо мира принес завернутый в газету молоток, стукнул Григория по голове и убе-жал на территории.

Из-за дырки в голове у Гриши серьезно нарушилась гра-ница между внутренним и внешним миром, а кабельное теле-видение вдруг начало принимать его мысли в виде электромаг-нитного излучения и транслировать в цвете по сорок девятому коммерческому каналу. Григорий сидел на диване, а телевизор показывал торжественный парад, посвященный Дню Красного Мотэка. Физкультурники в штанах с лампасами несли на вытя-нутых руках флаги. Чеканя шаг, проходили девочки в длинных платьях с разрезами, за ними негры на сутулых плечах тащили фаллические символы, а позади, озираясь, семенили работни-ки КГБ. Потом проехал поцарапанный "Мерседес" с бандитами

и началась демонстрация трудящихся. Люди шли толпой с озабоченными лицами и несли портреты.

За сто долларов жена Григория пригласила частного доктора Зухера и пожаловалась ему на передачу.

— Это клинические симптомы постсионизма, — объяснил на иврите доктор. — Надо края раны смазывать израильским йодом и чаще менять носки.

— Зачем носки? — удивилась жена.

— Пахнут, — ответил доктор, забрал доллары и ушел, шаркая сандалиями.

С кабельного телевидения приехали разбираться русские журналисты Лифшиц и Надя Непомученко. Лифшиц был пьян и говорил на Израиль гадости, а трезвая Непомученко взволнованно шелестела в папке бумагами.

— Расскажите, как вы жили при социализме? — спросил Лифшиц, глядя на Григория влажными глазами.

— При социализме жил возле паровозного депо имени товарища Лазо, — рассказал Гриша, — а работал мастером на Пятой макаронной фабрике.

— Вы делали отверстия в макаронах?

— Делал, что прикажут, — ответил Гриша, закурил и выпустил дым через дырку в голове.

— И что вы можете объяснить по поводу парада и демонстрации трудящихся, которые наши зрители смотрели вместо "Санта-Барбары"?

— Праздник был, понял? Потом люди выпивали-закусывали, а ответственные сдавали портреты на грузовик.

— А кто бандитам "Мерседес" поцарапал? — бойко спросила Непомученко.

— Ну, хулиганы. Бандиты — они ж тоже люди. Вы так интересуетесь, или по делу?

— Хозяин хочет купить вашу телепатию на рекламное время, — сказал Лифшиц. — Колготки там, женские прокладки и все такое...

— Не продается. Это результат травмы молотком.

— В тюрьму посадят, — предупредила Непомученко. — Наш адвокат уже все на пленку записал.

— Ну и дурак, — ответил Григорий. — В Израиле свобода мысли.

— Ой, а вы, случайно, не интеллигент? — всплеснула руками Надя.

— Русский он, — вступилась за Гришу жена. — А по паспорту Марголин Григорий Самуилович.

Вечером Григорий выпил санрайдеровского чая с медом, сто грамм и прилег в тапках на диван, а телевизор начал показывать картины из жизни какого-то Зюни Вытыщенко. Зюня лежал на сцене в кровати и издавал звуки фабричной сирены, а в изголовье бородатый режиссер кричал на него в рупор:

— Громче! Не верю!..

Когда Зюня загудел изо всех сил, из-за ситцевой занавески вдруг повалили рабочие в грубых ботинках и толпой пошли на фабрику.

– Давай монолог, скотина! – потребовал режиссер.

Зюня сел на постели и, пригладив волосы, произнес:

– Я – Зюня Вытыщенко. А если б моя фамилия была Тыщенко, я б давно, бля, капиталистом был. Это вопрос генетический.

В зале захлопали.

Гриша потрогал дырку в голове и сделал телевизор громче.

С экрана ведущий сообщил, что трансляция телепередач ведется Григорием Марголиным, технический редактор араб Махмуд.

После Лившица и Непомученко к Грише утром приехали полицейские. На иврите они сказали, что обязаны пресечь незаконные трансляции и изъять передающую аппаратуру.

– А я что, – пожал плечами Гриша. – Это голова так работает.

Полицейские надели Грише на голову наручники и отвезли в следственную тюрьму. А жена сейчас же побежала к известному русскому адвокату.

Гришу заперли в камеру к бывшему шпиону, который обвинялся в оголтелом шовинизме, руководстве русской мафией и влиянии на средства массовой информации.

– Разве ж так влияют! – орал он на Гришу. – Родина доверила ему выехать в Израиль, арабские товарищи пробили брешь в преграде между реальностью и его внутренним миром, а он из своей головы устроил рупор томления духа и проходную для пролетариев!

Гриша не ответил, но обратил внимание, что у бывшего шпиона вместо носа клюв, расстроился и позвал дежурного русского полицейского.

– Клюв – это на иврите клетка, – объяснил полицейский. – По Зоценко.

– Дурак, не по Зоценко, а по Фрейду. Это сам Зоценко был фрейдист, – ответил Гриша, замолчал и до самого суда больше ни с кем не разговаривал и не сотрудничал со следствием.

Русский адвокат, к которому побежала Гришина жена, хотя и родился в Израиле, но взялся защищать Григория бесплатно, назло широкой общественности.

– Меня интересует знать, или вы нарочно выкидываете эти фокусы? – тихо спросил он Гришу перед процессом.

– Я привидениями страдаю, – тоже тихо ответил Гриша. – Может, и на суде болеть буду...

На процессе Гриша сидел за специальным столом вместе с адвокатом, а за другим столом развалились присяжные студенты ешивы Петренко, Олейник и Кравцов. Сначала разбира-

ли дело о каких-то могилах и заслушивали показания старцев о смерти.

Старцы лживыми голосами пели райские песни, а когда прокурор по фамилии Какабойниц их обличал, кусали его желтыми зубами за указательный палец.

– Безобразие! – сказал адвокат, и хотел заткнуть Грише дырку в голове карандашом, но Гриша увернулся.

Тем временем в зал внесли мертвого обвиняемого в очках и коричневом пальто. Обвиняемый снял очки и тут же заявил отвод составу присяжных.

– У них же чума в религиозном квартале, – сказал он. – Все беременные. Как представитель мертвых меньшинств, требую голубого суда!

Тогда Гришин процесс отложили и Гришин адвокат выступил в фойе перед корреспондентами.

– Конечно, мой клиент невиновен, – сообщил он. – Просто, как жертва террора, он имел постсионистское осложнение – своим внутренним умом, а не ногами ходить в гости к абонентам сорок девятого канала... В деле есть заключение профессора Зухера.

– А незванный гость хуже татарина, – сказала одна корреспондентка в оранжевых рейтузах, которая из-за Гриши не досмотрела две серии "Санта-Барбары".

– Мой подзащитный не татарин, а Марголин, – сухо ответил адвокат и ушел пить кофе в уличный буфет.

Тогда другая корреспондентка, в зеленых рейтузах, напечатала в своей газете, что татарины и Марголины – все русские, приехали в Израиль, сдурели, а теперь хотят, чтобы сдурели и остальные.

Эта газета попалась покусанному прокурору Какабойницу, который в пятидесятом году изучал в Симферополе крымское право.

– Я сразу понял, что Гриша – татаро-марголин! – заявил он на процессе. – Поэтому в приговоре требую срочно напихать ему в голову изделий Пятой макаронной фабрики, чтобы через дырку не проникла мысль установить в Израиле иго!..

АМЕРИКАНСКАЯ КОЛОНИЯ

Владимир Друк *ВТОРОЕ ЯБЛОКО*

ШЕРЕМЕТЬЕВО

я хочу быть понят своей страной
я хочу быть понят своей женой
я хочу купить себе проездной
и уехать к Б-гу на выходной

я хочу подключиться к саянской ГЭС
или просто включить из конфорки газ
я уже выпил КПСС
но еще не доехал до АДИДАС

этот город останется без меня
сиротою казанскою как вокзал
все останется так же – но без меня
все останется так, как я сказал

шереметьево выключу, словно свет
за собой погашу
но достанет бутылочку мой сосед
а я закурить у него попрошу

мы нальем по сто, а потом еще
и врубим свободу на полный звук
и сосед мне скажет: и ты, друк!
а я отвечу: налей еще!

я пил надежду из черепов
всех советских вождей
я был пионером в стране стихов
и птицей в стране гвоздей

но теперь все выпито, ночь пуста
и пора бутылки сдавать
и я как заяц боюсь куста
но кайф не дам поломать!

я время выключу словно свет –
даждь хлеб нам насущный днесь –
и в этой стране, где меня уже нет
я все-таки еще есть

декабрь, 1993

ТЕОРИЯ НОВОСТЕЙ

новостей на всех не хватает
новости друг у дружки воруют

трогают за причинное место
мучают и пытаются
нюхают и целуют

новости свежие как невесты
просто прелестны

по утрам, как котлеты, их заворачивают в газеты
затягивают в корсеты

свежие новости ежедневно выходят замуж

миллионы невест
ежедневно теряют невинность
рожают деток
несут свой крест

да уж! —

вчерашние новости
по утрам
пахнут селедкой и перегаром
несвежие новости никому не нужны
даром

иногда они пьют кофе
или легкое пиво
эгоистичны, стареют,
обижаются, становятся некрасивы
и ревнуют своих детей...

их придумал один еврей
из разведки моССад
он живет на памире и пишет в таймс —
анонимно —
ему на памире конечно видней
чем нам

лишь во время войны
новости принимают строгую форму
надевают военную форму
лезут в прямой эфир

накрасив губки
пригубив водки
военные сводки
популярнее старых актрис
но их не вызывают на бис

новости любят войну хотя голосуют за мир
так поэты и бляди ругают свою работу
но прямой эфир — это прямой эфир
эйфория понятная идиоту

новости размножаются и делятся пополам
хорошие — им, а плохие — нам

...иногда, и правда, неумоготу —
и тогда — постель
осенняя ностальгия
весенние спазмы

новости — неизлечимы как насморк или мигрень
и очень опасны

кажется, они иногда умирают —
но это не так
в нашем распоряжении публичные
библиотеки
где каждый охотник желает конкретно знать
что было — на самом деле —
в двадцатом веке

согласно теории новостей
они — передаются среди гостей

но едва гости расходятся по домам
те новости, что достались вам
остаются, никак не уходят домой
и вы уходите с ними в запой

пейте с ними ! —
от одиночества и с тоски —
пейте! —
пока не спадут очки —
пейте! —
ибо
мы и они
одноразовы
как светлячки

в сущности — это маленькие зверьки
словно белки или другие хорьки
что приучены сахар лизать с руки

но остаться без новостей
как оставить собаку
без хозяина и костей

Нью-Йорк, декабрь 95

ВТОРОЕ ЯБЛОКО

америка — как новая жена
с которой спишь на старой простыне
жизнь надвое теперь поделена
но — данная нам дважды — суть одна
лишь только изменяется в цене

...все дорожает
все дрожит внутри...

войдя однажды в темный переход
на двести двадцать и сто десять вольт
я вышел на другом краю земли
хотя еще не знаю — вышел ли

...но сравнивая баксы и рубли
все время остаешься на мели...

я начал сызнава, с лечебных процедур
со словарей, зачитанных до дыр
где сказано — январь и йом-киппур
и детский мир, и рыбий жир

я начал сызнава — с больницы, где наркоз
где доктор Марти поменял мне правый глаз
(но он не знает где купить дихлорофос
и не умеет пить его как квас)

...вот пиво...
...вот протез...

там — спали, обнимая пулемет
а здесь в постели обнимают бипер
здесь — фаренгейт, а там — аэрофлот
там выпал снег, а я еще не выпил

— вот пиво -
- вот протез -
— и вот процесс —
it means —
сквозь восхитительный протез
я вижу восхитительный процесс —

вот воблу в супермаркет завезли
севрюгу в супермаркет завезли
и балычок, и семгу завезли
а пиво до сих пор не завезли.

разорвана душа напополам ...
пойдем, душа моя, возьмем по триста грамм!

все дорожает, все дрожит внутри
все дешевеет и свистит снаружи
нью-йоркский зной достоин русской стужи
пойдем, душа моя, пойдем на ужин
в американо-русский "самовар"
где девочки живут напропалую
а мальчики гуляют наповал

по триста "клюковки" два раза и котлет
привет Серега, Людочка – привет
а эти тоже: суверенитет...
ну, бляха-муха, глянь, какие рожи!
ты кто такой? поэт? и я – поэт!
берите вилкой, на хера вам ножик

поклюйте клюковки, пархатые жиды
пока вам не отвесили пизды
пока мы эту ночь не отгуляли
за родину! за клюкву! за мацу!
за ленина, за машинку, за рассею!
счас выкорчюю семья Моисея!
а я вас счас ударю по лицу!...

глаза открою – что же там, вдали?
да статуя какая-то вдали...
а что это за статуя вдали?
да, говорят, что статуя свободы...
так что же эта статуя – вдали???

скажи, голубчик, пиво завезли?
да, барин, завезли и увезли!

америка – как новая жена
с которой спишь на старой простыне
проснешься не один, и с бодуна,
проснешься не один, а жизнь – одна!
во рту – хреново, выпить – ни хрена
и ты торчишь, как бедуин в пустыне
или еврей в алмазном магазине

все дорожает, все дрожит внутри
как лифт который ползает внутри
полцарства за глоток или пилюлю,
за колесо, затяжку или пулю,
которая спасет тебя к июлю!...
нырни в сабвей – как головой в кастрюлю –
и постигай предметы изнутри ...

жизнь дорожает или дешевеет –
все солью съедено, все пусто, все ржавеет
задумаешься – может быть – пора –
коль доу джонса не стоит с утра

когда светает там , то здесь – темнеет
побреешься – уже и спать пора

... и снова мальчики с кровавыми глазами
стоят у двери с надписью словами

здесь был ильич, потом военкомат,
потом тверьбанк, закрытый на учет...

а мальчики сжимают автомат
и объявили полный хозрасчет
но я хотел бы знать – кто банкомет

жизнь дорожает, а страна – цветет
попробуй позвонить в москву ноль-девять
экран погаснет и полковник лебедь
под музыку чухонскую/чайковскую поедет
по озеру чудскому поплывет

где немчура, обламывая лед, хотела нас
но все ушли на фронт

когда они кричали нам, скользят:
таффариси, так больше жит нелза!
нельзя так жить – ни больше и ни меньше –

ах, темная вода, темнее Польши –
“хотели лучше, вышло, как всегда”

арбатство, растворенное в крови
лишь издали похоже на дворянство
а вот вблизи – последнее засранство

мы изменяем кривизну пространства
прогулками обиды и любви

но это не меняет суть пространства
как, впрочем, не меняет суть любви

идите прямо – до того угла
где вам предложат беспроцентный loan
и где дадут один бессрочный rent
и здесь и там – не более чем клоун
поэт в америке не меньше чем поэт

россия – мать, америка – жена
и вот она почти обнажена
и вот она – почти биробиджан
в который мой народ не убежал

Нью-Йорк, 1994-1995

УЛИЦА ЖАБОТИНСКОГО

Александр Окунь

РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ

Историю эту я вычитал в воспоминаниях секретаря Владимира (Зеева) Жаботинского. Дело было в десятых годах. В отделе департамента полиции, занимавшемся евреями, состояло на службе три сотрудника, в обязанности которых входило посещение еврейских собраний, заседаний и т.п.

Народ этих троих знал в лицо, да они, собственно, ни от кого ничего и не скрывали, занимались своими прямыми обязанностями. К ним привыкли, с ними здоровались, звали их по имени-отчеству.

Один из них однажды присутствовал на собрании в Соляном городке, в училище барона Штиглица.

И вот, произносит Жаботинский речь (а оратор он был из лучших), и зал взрывается овацией. Восторженные крики, рукоплескания... и в этот момент секретарь Жаботинского видит, что означенный полицейский чин, стоявший рядом с ним, аплодирует, "браво!" кричит и вообще — прямо-таки дрожит в экстазе.

— Что, Виктор Иванович, — с интересом осведомился секретарь, — понравилось?

— Не то слово, батенька, — возбужденно отвечал полицейский агент, — не то слово! Сионизм — какое замечательное дело! Вот только жалко, батенька, такое дивное дело да такому говенному народу доверять!

* * *

Когда в конце 80-х годов Советский Союз вторично приоткрыл двери, то первыми в них, естественно, рванули евреи. И если в конце 70-х в Израиль худо-бедно прибывало 30-35% выехавших, то через десять лет сюда прибывали уже единицы: либо старики-родители, брошенные в Вене за ненадобностью, либо люди с обостренным чувством порядочности, генетической памяти, словом — люди ненормальные. Основной поток выехавших из СССР временно оседал вокруг Рима, ожидая разрешения на въезд в Штаты, Канаду, Австралию. Очередной раз Господь давал своему народу шанс, очередной раз народ шанс упускал, достоинству и чести предпочитая все тот же сладкий лук и горш-

ки с мясом, правда, на этот раз рубленным, с эмблемой Мак-Дональдса на стерильной упаковке.

В бессмысленной попытке остановить эту лавину Сохнут – Еврейское агентство – засылал в лагеря беженцев эмиссаров и лекторов, задачей которых являлось просвещение помраченного коллективного сознания и возвращение заблудших агнцев в историческое лоно. Граничащей со слабоумием наивностью этой затеи попользовалось много народу, удачно сочетая патриотизм и благородство цели с поездкой за границу за казенный счет.

Когда мне позвонили с предложением послужить делу еврейского народа, я не стал из себя целку корчить, а радостно согласился, поставив, впрочем, условие, что, мол, пропагандой заниматься не буду, уговорами тоже, готов-де излагать свои соображения, но не более того.

– Именно на это и рассчитываем – любезно ответили мне в Сохнуте и выдали авиационный билет и пачку красивых итальянских денег с портретами великих художников.

Нет на свете страны, которую я любил бы больше Италии. Каждый ее город и городок от прославленных Венеции и Флоренции до безвестных Амандолы и Читерны есть праздник души и именины сердца.

И все же...Помните, в дни нашей юности шел в России прелестный фильм с юной трепетной Одри Хепберн и мужественным обаятельным Грегори Пеком? Назывался он “Римские каникулы”.

В финале на пресс-конференции (я помню, как вставляли наши уши, когда один из журналистов, представляясь, картавил: “Давар, Тель-Авив”) принцессе задают вопрос: – Какой город понравился Вам больше всего?

– Все города красивы по-своему – шепчет ей на ухо посол.

– Все города, – послушно повторяет принцесса, – красивы по-своему... Рим. Конечно же, Рим...-

И вслед зыбкому кинематографическому призраку моей растаявшей молодости я, улыбаясь, шепчу: – Рим. Конечно же, Рим.

В Риме по-особому дышится. Его воздух, безотносительно количеству разнообразных миазмов и газов, его образующих, остается прозрачным и ясным воздухом Ренессанса – нашего общего отечества, нашей бессмертной родины вне зависимости от того, где и когда мы родились.

Лениво раскинувшись по всем своим семи холмам, он бесстыдно выставляет себя напоказ, и кто осмелится не восхититься царственным величием, с которым он это делает? Если бы в русском языке существовала система артиклей, то этот город по праву владел бы определенным.

Его тело обрюзгло, и румяна, густо положенные на его обвисшие щеки, не в силах скрыть причиненные временем разру-

шения. Да он и не пытается себя приукрасить. Лениво перемаывает он все, что попадает в его пасть: народы, стили, моды, идеи, время...

Его площади, улицы, переулки заполняет шумящая, беспечная, шустрящая толпа. Человек недалекий принимает этих людей за туристов, тогда как на деле это толпа клиентов, со всех концов мира спешащая к своему милостивому и щедрому господину, зная, что без награды никто не останется. В Риме все мы равны, равны перед этим великим вечным городом. И поэтому, когда поздно ночью ты придешь к фонтану Треви, то не поморщишься, брезгливо глядя на плавающие в воде жестянки из-под пива, колы и оранжада, а в молитвенном восхищении этим гигантским, рыгающим, урчащим, сопящим, испражняющимся организмом, этим благородным, величественным, мудрым созданием, смиренно склонишься, и как все, бросишь в воду монету в блаженной надежде вернуться сюда еще раз...

Сердце мое начинает биться сильнее, когда автобус, выехав из аэропорта, пролетает по автостраде, минув поворот на Флоренцию, оставляя позади Сан Джованни, проституток, стоящих под фонарями, мрачные развалины Терм Каракаллы и, минув освещенную громаду Колизея, выкатывает на площадь перед вокзалом Термини.

Поздний вечер. Площадь пуста, небольшие группки людей у остановок автобусов, да обычные обитатели ночных вокзалов, негры, арабы...

Так обычно начинались мои римские каникулы, но на этот раз я был не частное лицо и в аэропорту меня встречал шофер, который и привез меня не на вокзал, а в самое сердце Рима – на Кампо де Фиори.

Отель, где меня поселили, назывался “Люнетта” и более всего напоминал большой птичий вольер, по прозрачной сетке лесенок и галереек которого я поскакал, как канарейка, добираясь до своего номера на верхнем этаже.

Население отеля было таким же забавным и симпатичным, как сам отель: две англоязычные девицы, готовившиеся к поступлению в консерваторию и чирикавшие по утрам свои вокализы чистыми звонкими сопрано, кудрявый веселый скрипач, высыпающий в наш вольер пригоршни паганиниевских фиоритур, задумчивый лысый швед, покрывавший в холле узкие листочки голубой бумаги тонкой, не иначе как рунической, вязью...

Я поставил чемодан, раздвинул портьеру, распахнул ставни, и сердце мое замерло! Прямо предо мной по гордо выгнутой траектории упругим аккордом летящих вверх ребер торжественно утверждался в синеющем сумраке уходящего дня огромный купол собора Сан-Андреа дель Валле.

* * *

Как известно, Господь Израиля, среди прочего, Он и Бог мести тоже. И месть его бывает страшна и ужасна. Опять же, кому из книг, а кому и по личному опыту известно, что чем дольше и изобретательней ты готовишь месть, тем она становится сладостней, поражая ни в чем не подозревающего противника в самый для него неожиданный и неподходящий момент.

Которые в этом сомневаются, пусть перечитают “Графа Монте-Кристо”.

А еще известно, что, когда отцы жрут зеленый виноград, то на зубах оскомины у детей. И что за грех отцов внуки платят аж до десятого колена.

Почти две тысячи лет ждал Господь, прежде чем отомстить гордым римлянам за поруганный и разрушенный храм, за муки и страдания еврейского народа.

Но когда время пришло, то месть его была страшна и неожиданна. Тихо и мирно жили себе римские граждане, ели свои макароны и тортеллини, пили кьянти и фрасскатти, слушали Верди и Вивальди, одевались у Версаче, душились у Армани, поругивали жесткого польского папу Войтылу, мафию, бюрократию, цены и загрязнение окружающей среды, а на лето отбывали на отдых в прелестные городишки на берегу Тирренского моря: в Остию, где когда-то поднял мятеж легендарный Спартак, в Чивитта Веккию, где маялся французский консул Мари Анри Бейль, и в знаменитые своими пляжами и ресторанами Ладисполи и Санта Маринеллу.

И вот, эта идиллия, все это благоденствие рухнули в одночасье, когда подобно десяти казням египетским, подобно чуме, холере и прочему эйдсу, обрушилась на беспечных итальянцев волна советских людей еврейской национальности, которые в неукротимом своем желании достичь Нового Света мать родную готовы были порешить, не то что изнеженных веками цивилизации и не способных к сопротивлению слабых жителей Апеннинского полуострова.

Бросив все свои привычки, позабыв традиции, оставив на разграбление и уничтожение любимые свои курорты, бежали несчастные итальянцы в свои римские квартиры, двери позапирали, жалюзи поопускали, шторы позадергивали, на улицы не выходили. А сидели по домам, крестясь и молясь с утра до ночи доброй деве Марии, мол-де, Санта Мадонна, охрани, спаси и помилуй!

Захватив брошенные местным населением территории, евреи вольготно расположились и стали заниматься активным отдыхом, то бишь обирали и обманывали друг друга, для амери-

канского консульства сочиняли истории о своих страданиях в Российском отечестве, добывали доказательства своей иудейской веры ("Ты не знаешь, как евреи в своей церкви крестятся?" – спросил как-то при мне один такой будущий американ другого), а в промежутках не жили на пляже свои тела под громкие песни Кобзона и Аллы Пугачевой.

Вечерами народ ходил на лекции сохнутувских засланцев, поскольку другие развлечения были не по карману.

В Ладисполи лекции эти проходили в клубе "Кадима" (что на иврите значит "вперед", что каждый опять таки понимал по-своему) – помещении душном, без кондиционера.

Обычно отчитав лекцию и ответив на вопросы, я торопился в Рим, однако не так-то просто это было: на улице меня по очереди хватали только что вышедшие из клуба слушатели и, оттащив за угол, припирали к стенке со словами: "Ну, а теперь скажите нам правду!".

Робкие мои уверения, что именно это я и делал на протяжении последних двух часов, не производили ни малейшего впечатления.

– Да-да, – кивали они, – конечно... Но теперь. Между нами...

И еще всегда находились люди, которые смущенно топтались в сторонке, и когда все расходились, бочком, просительным наклоном головы набок, подходили и, понизив голос, говорили: – Так что? Может, все-таки ехать в Израиль? Или нет?

Мои попытки объяснить им, что я не собираюсь решать за них и что свою судьбу надо определять самому, ни к чему не приводили. Они согласно кивали головами, а потом шепотом: – И все-таки, скажите, да или нет?

И часто возвращался я в Рим, полный боли и стыда за своих соплеменников, разбитый душевно настолько, что даже не мог пойти гулять, а отмывшись в душе, часами лежал на кровати, тупо глядя на парящий за окном купол Сан Андреа дель Валле.

Впрочем, об одной лекции, где впервые в жизни было дано мне познать ощущения шлюхи, по которой прошелся кавалерийский полк (вместе с лошадьми), я и по сей день вспоминаю с наслаждением. (Возможно, есть в душе моей нечто, роднящее меня с этой, не худшей разновидностью прекрасной половины рода человеческого.)

Это было в Ладисполи. Больше часа рассказывал я про Израиль, еще с час отвечал на вопросы, а когда все закончилось, поднялся во втором ряду пожилой человек с редкими седыми волосами на потном черепе, с орденскими планками на сером в полоску пиджаке и с чувством сказал: – Большое, большое спасибо. Вы всех нас удовлетворили".

* * *

Зажатый в проходе набитого эмигрантами автобуса Ладисполи-Рим, я пытался сохранить достоинство и равновесие, что было непросто. Несколько итальянцев, исхитрившихся пробиться в автобус, чувствовали себя еще более неуютно и напряженно, чем я – они еще и побаивались.

В автобусе пахло перегаром и немытым телом.

Позади меня, рядом с узкоплечей шатенкой сидел плотный лысеющий блондин лет 35-ти с золотой цепочкой.

Прислушиваясь к их разговору, я выкручивал шею, стараясь сквозь шум дороги разобрать – о чем идет речь.

– Чего это он на нас оборачивается? – заволновалась шатенка. Ее, уже начавшее блекнуть, лицо было встревоженным и печальным.

– Речь-то чужая, – скользнул по мне безразличным взглядом блондин, – а итальяшки, они любопытные. Этот-то еще ничего, а другие так на нас пальцами показывают. Дикари...Вообще, – вернулся он к прерванной беседе, – в Америке у всех свои машины, слышишь? У них в автобусах только шваль ездит. Там, в Америке, у нормального человека даже две и три машины...

– Да что вы мне шикаете? – он гневно вскинул брови на пожилого мужчину в соломенной шляпе. – Что это я вам громко говорю? А для чего мы сюда приехали? Чтобы молчать в автобусах? – потное лицо его сияло от возбуждения: – Человек на свободе! Смейся, разговаривай, кури! Да что это вы так скованно себя ведете? Не бойтесь, пройдите, отодвиньте этого итальяшку, пройдите, сядьте, все дела!

За окном проносились стройные высокие тополя Кампаньи.

– не бойсь, не бойсь... – ободрял он соседку, – приедешь в Америку, замуж выйдешь.

– Ну... – робко возразила шатенка, – это еще неизвестно.

– Выйдешь!

– Ох... – продолжала грустить шатенка, – неизвестно...

– Отвечаю! – уверенно сказал блондин. – У меня на это дело чутье есть.

Автобус выехал в город, и долгая, уходящая до горизонта равнина с рядами тополей сменилась домами, выкрашенными красной и желтой охрой.

– Эй, синьора! – блондин потрепал по руке стоящую рядом с ним итальянку в очках. – Синьора, где здесь будет гранде банко? А, ну что же ты не понимаешь, гранде банко! Ну до чего же тупой народ! Должен он здесь быть, я помню! Гранде банко, синьора! А, – он махнул рукой, – чего от них ждать! – и вдруг встрепенулся: – да вон же он! Что? Суббота? Кьюзо? Закрыто? Ах, итальяшки, паскуды черножопые, додумались банки закрывать по

субботам! Слушай, – он снова повернулся к шатенке, – смотрю я на тебя – хорошая ты баба, но, с другой стороны... – и вдруг лицо его озарилось неподдельным счастьем: – Э, смотри, так вот же та площадь, про которую я тебе говорил! Сюда еще ребята за некоторыми продуктами ездют. Эй, мужик, почему тут палатка, ты знаешь? – он засуетился, поднялся, вытащил из-под сидения какую-то мятую кошелку. Шатенка смотрела на него безнадежными беспомощными глазами.

– Сходи со мной! – он энергично стал пробиваться к выходу.

Девушка затравленно молчала.

– Сходи!!

Узкие плечи дрогнули под розовой блузкой:

– Ты ж дороги не знаешь... Если б знал, я б сошла...

* * *

В Санта Маринелли познакомился я со славным парнем, физиком из Свердловска.

Ехал он в Штаты с большой семьей – жена, дети, теща, родители... Он сам искал встреч с нами, израильянами. Его явно томили какие-то сомнения, и он все время оправдывался, хоть никто его об этом не просил, никому это было не надо, и одна неловкость проистекала от этих объяснений. Он настойчиво зазывал нас к себе домой, и как-то я и еще двое моих коллег, купив торт и каких-то фруктов, пришли.

Текла учтивая беседа о прелестях Италии, как вдруг в темную, зашторенную от солнца комнату ворвался молодой рыжий парень в зеленой рубаше и клетчатых шортах. Он стоял на пороге, счастливо улыбаясь, тяжело дыша, и волосы на его голове шевелились огненными протуберанцами.

– Слава! Слава! Я уезжаю! Я получил транспорт!

Мы, трое израильян, зябко переглянулись. Наш хозяин, видимо тоже знавший – в каком контексте употреблялось в еврейской истории слово “транспорт”, отвел глаза.

А парень стоял на пороге, счастливо улыбаясь, и повторял:

– Транспорт! Ты слышишь, Слава, транспорт! Транспорт в Сан-Франциско!

* * *

Жарким июльским полднем я медленно поднимался по переулкам Эсквилинского холма. Это был мой последний день в Риме, наутро я улетаю и, признаться, уже мечтал о возвращении. Утро я провел на Капитолии в Палаццо дель Консерватори. В прохладных залах было пусто, и я медленно бродил меж мрачных богов и богинь, императоров и их фаворитов, императ-

риц и их фрейлин, куртизанок, детей и прочих изображений неведомых мне давным-давно усопших граждан великого Рима.

Неожиданная летняя гроза обрушилась на город, когда я вошел в длинную галерею с большим, до потолка, окном в дальнем конце. Окно было распахнуто, и в нем, окутанный серебряной сетью дождя, вздымался в небо черный конус огромного кипариса.

У окна на круглом канелюрованном постаменте стояла мраморная голова. И столько мощи было в этом сухом, обтянутом кожей лице, столько напряжения в повороте шеи, а направленный в окно взгляд глубоко сидящих под сдвинутыми бровями глаз был так интенсивен, что с пугающей меня самого реальностью я ощутил жизненность этого, многие сотни лет тому назад обработанного куска желтоватого мрамора.

Лысая, с тонкими, плотно сжатыми губами голова, вытянув шею, с любопытством смотрела на струи дождя, на черную зелень кипариса, и раздувающиеся мраморные ноздри четко очерченного носа жадно втягивали острый, свежий холодок озона.

С затаенным ужасом я понял, что жизнь этой молчащей мраморной головы с любопытным взглядом и брезгливо сжатыми губами куда как реальнее, чем та, с которой я сталкивался на протяжении последних двух недель в курортных городках на побережье Тирренского моря.

Гроза кончилась так же неожиданно, как и началась, я побрел вдоль Императорского форума к Колизею и вот теперь карабкался вверх по склону Эсквилинского холма, лениво размышляя о том, что пора бы чего-нибудь пожевать.

Размышления мои были прерваны божественным запахом, в котором я различил оттенки баранины, чеснока, бальзамического уксуса и розмарина.

Я оглянулся: тремя ступеньками вниз, связка перцев и чеснока над дверью, мраморная вывеска с хорошей антиквой вырезанным названием "Тратория Романа". Седой, загорелый, в красном жилете метрдотель провел меня к столу. Я сделал заказ и открыл газету.

— ...Синьоре...

Я поднял голову...

Никогда, ни до ни после, не видел я столь совершенной красоты. Черный лак гладко зачесанных волос над высоким лбом, короткий, чуть вздернутый нос, под арками кватрочентистских бровей раскосый, как у сиенских мадонн, разрез глаз, и в них два влажных мерцающих черных зрачка...

Ей было лет 16, и красота ее была так же банальна, как банален вид неаполитанского залива из Сорренто, банален, сто раз описан и... и горло перехватывает от счастья, когда видишь его живьем, и сердце теснится, и ни одного слова сказать не можешь.

– Синьоре...

– Да, – сказал я севшим голосом. – Да.

– Ваше вино...

Она поставила на стол стеклянный графин, в котором карминными вспышками пульсировала живая жидкость.

Она сидела в темной глубине зала, с прямой спиной, сложив на коленях руки. Время от времени она вставала, чтобы принести мне очередную тарелку, ставила ее на стол и опять возвращалась на свое место. Я не в силах был оторвать от нее взгляд, и ощущая это, она чуть улыбалась.

Где-то на Пьяцца Паскуинно ждал меня Сеня Шварцбанд, с которым мы собирались провести последний вечер. Где-то в Остии, в ожидании щекотания душевных своих пяток очередным сохнутувским эмиссаром, собирались в клуб мои бывшие соотечественники. Где-то там, на противоположном берегу Средиземного моря, ждали меня мои друзья, моя семья...

Обед подошел к концу. Девушка поставила передо мной маленькую чашечку кофе.

– Клянусь мадонной, – сказал я, собрав воедино убогие знания итальянского языка. – Клянусь мадонной, я ведь не первый, кто говорит тебе, что ты ослепительно прекрасна?

Она подняла глаза. Ее взгляд был спокоен и серьезен. Несколько секунд мы молча смотрели друг на друга. А потом припухшие ее губы приоткрылись и я услышал тихое: “Грации, синьоре...”

Владимир Фромер

*ИЕРУСАЛИМ –
"МОСКВА – ПЕТУШКИ"*

Михаилу Левину

Книга Венедикта Ерофеева "Москва – Петушки" – явление в российской словесности уникальное. Не менее уникальна ее судьба. Написанная на кабельных работах в Шереметьево в 1969 году, она мгновенно разошлась в самиздатских копиях и вскоре попала на Запад, где ни одно русское издательство не решилось опубликовать "яроственную инвективу в адрес великого народа" (так охарактеризовал шедевр Ерофеева редактор одного из старейших русскоязычных изданий на Западе). В конце концов проза, или, если хотите, поэма Ерофеева была издана в Израиле, что тоже свидетельствует о необычности ее судьбы.

"Москва – Петушки" увидели свет летом 1973-го года, в третьем и последнем номере журнала "Ами" – нашем с Михаилом Левиным детище, которое мы около трех лет тащили на своих плечах. В ту пору мы рыскали по всему Израилю в поисках материалов, ошивались в различных учреждениях и министерствах, выбивая деньги, как ландскнехты, предлагая свои услуги кому угодно, готовые отдаться любой партии в качестве полномочных представителей полумифической молодежно-студенческой ассоциации выходцев из СССР.

Первый номер "Ами", похожий на сброшюрованные материалы самиздата, мы издали в декабре 1970 года на средства этой самой ассоциации, которая тут же тихо скончалась, не выдержав бремени такого расхода.

Второй номер был издан только через полгода на средства Гистадрута, и сам генсек израильских профсоюзов хавер (товарищ) Бен-Аарон выписал нам на это "святое дело" чек. Мы даже хотели сохранить его как реликвию, но чувство долга перед журналом победило.

И наконец, третий, Веничкин, номер появился благодаря щедрости Независимой либеральной партии. Вот кому обязан Ерофеев своей всемирной славой! Увы, и эта партия вскоре

угасла, подорвав изданием Венички свои финансовые возможности.

Вышло так: "Два Рима падоша, третий стоит, а четвертому не быть". С присущей мне скромностью отмечу, что два первых номера "Ами" тоже были ничего. В особенности второй, с форматом журнала "Огонек", с двумя черно-белыми пятнами на обложке, похожими на устремившихся в полет жареных гусей. Именно во втором номере впервые были опубликованы тексты песен Высоцкого, Галича и Кима. Мы, в сущности, застолбили новую жилу во владениях поэзии. Ибо это теперь ясно, что хорошие миннезингеры – в первую очередь поэты, тексты которых могут и должны жить самостоятельной жизнью. Четверть века назад очевидность эта была ясна далеко не всем.

Кстати, со вторым номером вышла накладка-неразбериха, затянувшаяся по сегодняшний день. Корректур пять держали мы с Левиным, каждое слово вывели, а про обложку забыли... Получив в типографии готовый тираж, мы с ужасом увидели на обложке журнала, рядом с названием, цифру два и слово "май". И все... А год-то какой? Лишь по одному из объявлений на последней журнальной странице можно сегодня вычислить, что год был 1971-й. В результате совсем недавно ко мне обратились из музея Высоцкого в Москве с просьбой уточнить дату первой публикации его текстов.

И все же лишь третий номер, говоря словами одного из его авторов, польского сатирика Станислава Ежи Леца, растворившегося в веничкиной тени, стал "эпохальным событием, имеющим переломное значение". Мы с Левиным сразу же оказались на описанной Зиновьевым "зияющей высоте".

"Ребята, – спрашивал я друзей и знакомых, – как третий номер?"

"Еще бы, – отвечали мне, – Веничка".

"Ну а профессор Тальман, палиндромоны Гершуни, Лец?" – интересовался я. Друзья смотрели на меня округлившимися от изумления глазами: "Москва – Петушки", – отвечали они с осторожной снисходительностью.

Один из моих приятелей, – человек ядовитый, сухой и обаятельный, – даже поинтересовался: "Что пришлет вам Ерофеев в следующий номер?" Все читали Веничку. Кто обращал внимание на Тальмана, Леца, Гершуни? На великолепный венок сонетов Радыгина? Все сразу хваталось за гениальную прозу, игнорируя не только проникновенные речи раскошелившихся либералов, предваряющие журнал, но и все остальное. Как писал Ерофеев: "Даже не прочитав фразы: "И немедленно выпил"..."

* * *

Мы прекратили издавать журнал не только потому, что по причинам, о которых будет рассказано ниже, общественные организации и государственные учреждения перестали "доиться". Деньги в конце концов не функция. Их всегда можно достать. В особенности после такого успеха. Под залог Веничкиного имени. Но в том-то и дело, что Веничка поднял журнал на недостижимую высоту и тем самым погубил его. Ошеломляющий успех связал нам руки. И очень скоро истина забрезжила перед нами. Мы поняли, что завоеванную высоту можно удержать лишь в том случае, если четвертого номера никогда не будет...

"Веничка больше ничего не напишет", – сказал мой друг и соредактор.

"Почему?" – удивился я.

"Он ему не позволит".

"Кто?"

"Автор поэмы "Москва – Петушки".

Левин ошибся. Ерофеев, правда, не опубликовал больше ни одной страницы прозы. Мифический роман "Шостакович" (не о композиторе), который не видел никто и никогда – не в счет. Но Веничка остался верен себе, и его разбойничьи набеги на литературные бастионы завершились созданием еще двух произведений: эссе "Розанов глазами эксцентрика" и трагедии "Вальпургиева ночь, или шаги командора".

После выхода третьего номера известный эмигрантский публицист сказал раздраженно; "Ерофеев – это железная маска. Бред. Мистификация какого-нибудь маститого прозаика".

Мне осталось лишь пожать плечами. В природе не существовало прозаика, способного на столь гениальную мистификацию.

Вскоре выяснилось, что Ерофеев существует в земной своей ипостаси. Появились люди, его знавшие. Но удивительное дело, – никто не мог описать словами его расплывчатый ускользающий облик.

"Какой он, Веничка?" – спрашивали мы.

"Ну, – мялись те, кому выпала честь пообщаться с автором гениальной прозы, – голубоглазый блондин. Похож на Есенина. Глушит все без разбору. Но мы лишь потом узнали, что он писатель. Это так странно: Ерофеев и..."

* * *

Уже через год после того, как Ерофеев заявил о себе со страниц "Ами" как власть имеющий, его книга была переведена на добрый десяток языков. Его печатали, переводили и грабили все, кто могли.

А мы ловили смутные отголоски его походов. Ерофеев гулял по Москве, как киплингковский кот по крышам. Всех шокируя, всем импонируя. То там, то здесь возникала на один миг, чтобы исчезнуть навеки. Казалось, что его, как Агасфера, влечет куда-то непреодолимая сила. Прочь от семьи, прочь от людей, прочь от литературы.

Гойя как-то обронил с восхитительной дерзостью, что даже самая благополучнейшая из жизней "это такая тоска". Жизнь Ерофеева – добровольного изгоя, бродяги – не укладывается ни в какие рамки. Кажется, что человек этот – вне времени и пространства. Да так оно, впрочем, и есть.

Герой поэмы "Москва – Петушки" не существует в реалиях нашего измерения. Окружающие нас реалии превращаются в форму его самосознания и трансформируются в ней. Но ведь "Москва – Петушки" это тот классический случай, когда герой и автор слиты воедино. Я почти уверен, что творение Ерофеева сложилось в его душе не как сочетание идей и образов, а как единое целое. Ему оставалось только выплеснуть наружу свой шедевр.

Сразу оговоримся, что термин этот уместен лишь когда творцу удастся создать в искусстве новую – неожиданную и небывалую – форму существования.

Ерофееву удалось, и это стало его проклятием. Автор "Москва – Петушки" превратился в его злейшего врага – в этом смысле Левин был прав. Венедикт Ерофеев разработал одну-единственную идею – но она вместила в себя все остальные. Написанная им вещь оказалось настолько совершенной, что в дальнейшем обрекала его только на подражание самому себе. Венедикт еще пробовал бороться с этим наваждением – менял жанры, и даже не без успеха, но пора уже признать, что в литературе он останется только как автор гениальной поэмы.

* * *

Слава Ерофеева все растет – хотя, казалось бы, куда уж больше. "Москва – Петушки", превращенные в пьесу, не сходят со сцены. Критики с похвальным усердием трудятся в "ерофеевских копиях".

Хуже обстоит дело с мемуарным жанром. Лучшие воспоминания о Венедикте принадлежат Лене Игнатовой. А ведь не так уж много лет отделяют нас от Ерофеева живого. Живы еще люди, его знавшие, – ерофеевские друзья-субутильники. Казалось, им бы и карты в руки, и большое плавание. Но вряд ли мы дождемся от них чего-то существенного.

Рассказать о Веничке... Кому вообще такая задача по плечу? К тому же, Санчо Пансы не пишут воспоминаний о Дон-Кихотах... Кстати, в отличие от героя великой книги Сервантеса,

у Венедикта Ерофеева было двое оруженосцев, сопровождавших его на своих прагматичных осликах.

Вадим Тихонов и Игорь Авдиев. Обоих обессмертил Веничка, сделав персонажами своего шедевра. Оба были его закадычными приятелями. Вадим Тихонов – тот самый "первенец", которому Венедикт посвятил свою поэму. И было за что. Вот как сам Веничка описал свое знакомство с Вадей:

"Во Владимире мне сказали: "Ерофеев, больше вы не жилец в общежитии". И приходит абсолютно незнакомый человек и говорит: "Ерофейчик. Ты Ерофейчик?" "Я говорю: "Как то есть Ерофейчик?" – "Нет, я спрашиваю: ты Ерофейчик?" Я говорю: "Ну, допустим, Ерофейчик". – "Значит, ты Ерофейчик?" Я говорю: "Ну, в конце концов, Ерофейчик". – "Прошу покорно в мою квартиру. Она без вас пустует. Я предоставляю вам политическое убежище".

Последнее место вадиной службы – смотритель на сельском кладбище.

Игорь Авдиев – личность не менее колоритная.

Оба еще живы, но вряд ли возьмутся за перо из-за подорванного по известной причине здоровья. Но их устные рассказы, записанные корреспондентом "Комсомольской правды", свидетельства настолько ценные, что забвения не заслуживают. Привожу несколько отрывков для полноты картины.

Рассказывает Вадим Тихонов:

"Как-то то я Веничку от смерти спас. Это была удивительная история. Он любил одну женщину в Орехово-Зуево – совершенно до безумия. Но это не мешало ему ходить к другой – он ее туда аж из Владимира привез. Веничка разрывался надвое: то к ореховской, то к владимирской. Первой говорил: "Не сердчай, дурочка. Ну раз она ко мне приехала, я же должен с ней повидаться. А той объяснял совсем по-другому: "Я же не к ней приехал, а к тебе, но мне и с ней тоже посидеть надо". Это Юлия Р. Была такая. Строгая и неприступная комсомольская богиня. Однажды в пылу ревности она схватила ружье и пальнула в Ерофеева. Слава Богу, заряд оказался холостым, а то бы нашему Веничке тяжело пришлось. Ружье я выхватил. Смотрю, мой Ерофеич лежит на земле белый, как снег. Ничего, – говорю, – успокойся. Сейчас пойдем ворон стрелять".

Веничка не мыслил своего существования без женщин. Они его безумно любили и всегда стояли перед ним на коленях. Ну, как у Пушкина...

Ерофеев умер, и я остался "вторым алкоголиком на Руси". Первым был Веничка..."

А вот из рассказов Игоря Авдиева, он же Черноусый. Веничка сделал его министром обороны Петушинской республики:

"Выпивка была для него работой. Он так говорил: "Человек отличается от животного тем, что пьет водку. От выпивки человеческое тело становится дряблым, а душа твердой". Когда выпить было нечего, мы изобретали коктейли. О них Веничка в поэме написал. Все составляющие компоненты перепробовали. Однажды даже какое-то германское средство на синтетической основе пили. У Венички начались такие страшные почечные колики, что он, бедняга, по полу катался. Я его спрашиваю: "Тебе действительно совсем плохо?" А он говорит: " В месяце чудесном мае распустились почки". Помнишь, как у Гейне?"

Сохранить остроумие, когда испытываешь такие муки, мог только Ерофеев...

Он угас ранним утром 11 мая 1990-го года в пустой больнице (праздники были). Я собрал его вещи, взял ботинки и отправился в морг – переодевать Веничку. Он похоронен на Новокунцевском кладбище. Каждый год мы ходим на его скромную могилку. Вспоминаем, пьем портвейн. А над кладбищем в это время тихо и незримо пролетают Веничкины Ангелы..."

* * *

В том же "чудесном мае" 90-го года пришла в больницу к умирающему Венедикту Ира Якир. Он уже не реагировал на исчезающий этот мир. У изголовья стояла его сестра, монотонно повторявшая:

"Веня, Веня, нашего папу реабилитировали. Ты слышишь, Веня?"

Но Веня не слышал. И не мог оценить трагический комизм чисто ерофеевской ситуации. Умирающему сыну сообщают о посмертной реабилитации отца, сгинувшего в сталинском застенке много лет назад...

Венина сестра показала Ире только что полученную справку о реабилитации главы "клана" Ерофеевых. Корни этой добротной русской семьи на Кольском полуострове. Три брата еще были у Венедикта, похожие на него обаянием и статью. Нет больше этой семьи. Никого в живых не осталось...

Иру поразило удивительное совпадение. Венин отец сидел в мурманской тюрьме в одно время с ее матерью Валентиной Савинковой.

"Причудливо тасуется колода!" – ничего не скажешь...

* * *

А мы долгие годы собирали о Веничке апокрифы, которые тем уж хороши, что подстегивают воображение. Может, все так и было. А, может, не было никогда, хоть и могло быть...

* * *

Рассказывали, что вскоре после выхода третьего номера "Ами" Ерофеев сказал одному из своих собутыльников: "Меня издали в Израиле с предисловием Голды Меир".

* * *

Рассказывали, что однажды, находясь в "ерофеевском" состоянии, он ехал, как всегда, в Петушки, прижимая к груди чемоданчик с двумя бутылками кубанской и с готовой рукописью нового романа "Шостакович", существовавшего в одном экземпляре. И, конечно же, чемоданчик был забыт в вагоне. И, конечно же, Ерофеев убивался по бутылкам, даже не вспомнив в тот день о пропаже рукописи.

Но это – апокриф, а вот о пропаже полного текста второй Вениной трагедии "Диссиденты, или Фанни Каплан" мы располагаем подлинным свидетельством ерофеевского приятеля Ивана Рудакова.

Закончив трагедию, Веня всюду таскал ее с собой в "авоське". Ему казалось, так оно надежней. Летом 1977 года решили они с Ваней прощвырнуться на велосипедах в Абрамцево, – подмосковное дачное место. Взял Веня драгоценную "авоську", взял фотоаппарат и поехали. Привезенные запасы быстро иссякли. Члены у Вени ослабели, а Ваня – мастер спорта, между прочим, – как огурчик.

– Я, – говорит, – мигом слетаю в соседнее село, в магазинчик. Сказано – сделано. Только ехать Ване как-то несподручно. Глянул, а на руле велосипедном с одной стороны – "авоська" болтается, а с другой – фотоаппарат. Снял Ваня эти вещи и под кустик положил. Потом, думает, подберу.

Никакого потом не было...

Привез Ваня бутылки. Добавили.

– А рукопись-то где? – спохватился Веня. Бросились искать...

Рукописи, может, и не горят. Но теряются...

* * *

И, говорят, ему снился сон.

Сидит Ерофеев за столом, уставленным батареей бутылок и всякой закусью (во сне чего не бывает). А напротив него Смерть. Тянется к нему, зажав стакан в костлявой ладони.

"Смерть, а Смерть!"

"Что, Веничка?"

"А ты все можешь?"

"Все, Веничка".

"Ну так сделай меня бессмертным".

"А вот этого не могу. Ты, Веня, тогда Богом станешь. Ну взгляни на свою рожу в зеркало. Сам посуди – какой из тебя Бог?"

Из этой же серии:

"Вень, а Вень, – говорит Смерть, – а ведь у тебя в Петушках ребеночек есть. Давай его навестим. Гостинцев свезем".

С Ерофеева мигом хмель соскочил. Холодная испарина на лбу выступила: "Что ты, что ты", – забормотал.

А Смерть – ласково так: "Не бойся, Веня, я его тоже люблю".

* * *

Рассказывали, что однажды к Ерофееву пришли ребята из ультрапатриотического самиздатского журнала.

"Веня, – сказали, – ты великий русский писатель. Ты первым персты вложил в отверстую нашу язву. Дай нам что-нибудь в журнал".

"Вам нужно что-нибудь идейное?" – спросил Ерофеев.

"Напиши, Веня, как русский патриот, о жидях, испаскудивших родимую нашу словесность".

"Хорошо", – согласился Ерофеев. "Только не бесплатно. Мне интересно, какое это чувство, когда тебе платят".

"Тебе, Веня, заплатим".

И Ерофеев тут же содрал с них пятьсот рублей.

Прошло полгода. О Вене ни слуху, ни духу. Пришли к нему опять.

"Ты, Веня, деньги взял. Где же статья?"

"Я в вашем журнале не только печататься не буду, – я с вами под одним кустиком не присяду".

"Ах сука! Тогда верни деньги!"

"Только судом".

* * *

И Ерофеев умер. Не от цирроза печени, а от рака горла. Я видел его за год до смерти в литературной передаче московского телевидения. Чугунное лицо и потухшие глаза. Трубка в горле, и голос из потустороннего мира. Он уже был ТАМ, а не здесь.

Ерофеева приглашали во Францию, где перевод его книги встретил благосклонный прием у самых изысканных критиков. Предлагали операцию. Почти гарантировали успех. Не пустили...

Чего они боялись в период "гласности и перестройки"? Сам Ерофеев никуда не ходил и ничего не требовал. Государство назначило ему пенсию в 28 рублей – и сочло, что выполнило свой долг перед писателем. Другьям его сказали: "Чего Ерофеев хочет? Его ведь уже печатают на родине. И лечить будут на родине".

Обидно, что он до самого конца остро нуждался. И это при книге, изданной большими тиражами в тридцати странах. Ирине Белгородской, жене Вадима Делоне, получившей от Ерофеева доверенность на ведение в Западной Европе его издательских дел, секретарь престижного французского издательства, хорошо "нагревшего руки" на Веничке, заявил: "Ерофееву? Не заплатим ни франка. Все права принадлежат журналу "Ами".

Я послал просимый ею документ, но не знаю, помог ли он. Знаю только, что в последующие годы "чужие люди за него зверей и птиц ловили в сети". Многие собирали Ерофееву деньги, переправляли лекарства. В Америке этим занимался обосновавшийся там Левин.

Что знал обо всем этом сам Ерофеев? Кое-что знал. Но факты, трансформировавшись в его сознании, превращаются в трудно уловимое мерцание. Пусть лучше скажет сам Веничка. Вот отрывки из его интервью, насколько мне известно, последнего в жизни, опубликованного в 1991 году в четвертом выпуске альманаха "Апрель":

– Веня, "Москва – Петушки" впервые были опубликованы в израильском издательстве...

– "Ами".

– А ты знал, что готовится эта публикация?

– Мне как-то сказал Муравьев году в 74-м: "А ты знаешь, Ерофеев, что тебя издали в Израиле?" Я решил, что это очередная его шуточка, и ничего в ответ не сказал. А потом действительно узнал спустя еще несколько месяцев, что действительно в Израиле издали, мать твою, жидяры, мать их!

– В 72-м издали?

– В 73-м.

– А как складывались материальные отношения с издателями за границей – ведь потом издавали еще во многих странах?

– Это действительно очень большой вопрос. А Британия купила у Парижа... То есть никто никому не должен, а я всем немножко должен. Но не должен никто, это уж точно. Я так понял по их действиям.

* * *

С чего все началось?

С 28 по 30 мая 1970 года на берегу озера Кинерет, в Огало, проходил съезд молодежи и студентов, недавних репатриантов. Не упомню уж сколько нас там было, но много. Все с интересом разглядывали друг друга. Так вот мы какие. Многие еще не успели отряхнуть с сандалий галутную пыль. Многие еще не завершили процесс "реинкарнации", и душой продолжали оставаться в навсегда покинутом мире. И многие из нас не понимали тогда простейшей истины, к которой пришли потом, каждый своим

нелегким путем. Чтобы не быть чужим на этой древней земле, нужно воспринять все ее легендарные были, как часть собственной биографии. Нужно научиться смотреть на мир так, словно тебе три тысячи лет. Тогда все вспомнишь, все почувствуешь, и все поймешь...

Приехали мы в Огало днем. Быстро перезнакомились и таборм спустились на берег озера. Пески огненным ковром развернулись на солнце. Обувь жгла ноги. А вдали пылала голубая пустыня. Кинерет...

Вечером меня пригласили на "форум" уже избранной инициативной группы. Я вышел из флигеля для семейных и побрел сквозь апельсиновый сад, под густой россыпью подернутых изморозью звезд, прямо на звон гитары.

Инициативная группа успела уже основательно нагрузиться. За столом, уставленным пустыми бутылками, сидели человек шесть. Бородатый парень с библейским профилем пел, аккомпанируя себе на гитаре. Рядом с ним пристроился Боря Геккер – его я уже знал немного. Счастливый человек, не ведавший сомнений, Боря отличался умением все устроить и решать любые проблемы, – если только они не носили интеллектуального характера. "Он заземлен, как громоотвод, – сказал о нем кто-то, – молния в него не ударит." Это правда, но деловая хватка его была изумительной. Боря шел к цели, как гончий пес. Он, инженер, не зная языков, сумел закончить спецкурсы в хайфском Технионе. Преподавателей штурмовал, как вражеский редут, добивал измором. И своего достиг. Но труд инженера в Израиле высоко оплачивается лишь в частных фирмах. Поэтому Боря, потрудившись на государственной ниве, перебрался в Нью-Йорк, где переквалифицировался в водителя такси.

"Тебе полагается штрафняк – сказал Боря, наливая полный стакан. И сразу перешел к делу. – Завтра будет создана молодежно-студенческая ассоциация выходцев из СССР. Я стану ее председателем. Так решили ребята. Мы хотим издавать свой журнал. Делать его будете вы. Ты, Фромер, и вот он, – Боря кивнул в сторону библейского персонажа, перебиравшего гитарные струны, – Миша Левин".

Все было, как сказал Боря. На следующий день состоялось учредительное собрание. Боря стал председателем, а мы с Левиным редакторами еще не существующего журнала.

Сразу приступили к самому трудному.

"Как назовем? – спросил Левин. – Название журнала должно звучать, как боевой клич".

"Иерусалим", – предложил я.

"Мой народ", – выскочил Боря Геккер.

Левин усмехнулся: "Тогда уж лучше "Ами".

* * *

Вообще-то, вышестоящие товарищи придавали съезду в Огало большое значение. Находившаяся тогда у власти Рабочая партия видела в нас, выходцах из страны "реального социализма", будущее пополнение редеющих партийных кадров. Тех, кто помогут дряхлеющей "старой гвардии" высоко держать партийное знамя. Как же глубоко мы все их разочаровали...

Прошло всего несколько месяцев, и лидеры рабочего движения поняли, что из России приезжают враги тех идеалов, которым они преданно служили всю свою жизнь. И тогда на самых верхах интерес к репатриации из СССР резко снизился. "Зачем нам нужны избиратели Ликуда?" – стали поговаривать в партийных кулуарах. И хотя открыто против репатриации не посмел выступить никто, ее стали притормаживать.

Но все это было потом. У нас же на съезде выступили министр абсорбции Натан Пелед и Шимон Перес, занимавший в то время, как мне помнится, пост министра жилищного строительства. Пересу тогда не было и пятидесяти. Еще молодой, полный энергии, он произвел неплохое впечатление. Тем более, что речь его была посвящена хроническому неврозу в израильско-арабских отношениях. Кое-что из его выступления врезалось в память.

"По долгу службы, – говорил Перес, – мне пришлось неоднократно беседовать с палестинскими общественными деятелями. Одному из них я долго пытался доказать, что евреи имеют право на эту землю. Я говорил об исходе из Египта, о том, что две тысячи лет назад здесь жили и создали великую цивилизацию мои предки. Мой собеседник молча слушал. Потом спросил: "Ну, а когда твои предки пришли сюда из Египта, здесь жили люди?" "Да, – ответил я, – ханаанские племена." "Ну так вот, – усмехнулся он, – это были мои предки." Я понял, что спорить бесполезно."

Закончив выступление, Перес сошел с трибуны, и отрывисто пожимал руки тем, в ком видел своих потенциальных избирателей. Мы попросили популярного министра дать интервью для первого номера "Ами". "Позвоните в мою канцелярию, и вам назначат время", – любезно ответил Перес. Мы звонили, но он то был очень занят, то находился за границей. Выступлением в Огало, по-видимому, и закончилась его роль в абсорбции.

* * *

Надо было издавать первый номер. Деньги, естественно, достал Боря. Мы даже получили комнатку для редколлегии в университетском комплексе в Гиват-Рам. Шансы нашей "фирмы" тогда еще котирировались. Репатриант шел плотным косяком. Университетская библиотека даже выделила средства для пополнения своего русского фонда. Левин, забредя однажды в

читальный зал, с удивлением увидел сваленные кучей в углу тома со знаменитым золотым обрезом. Брокгауз. Энциклопедия, ставшая похоронной мелодией раздавленной революцией культуры.

"Мы, – разъяснил библиотекарь, – получили новую советскую энциклопедию и списали старую." "И можно это забрать?", – дрогнувшим голосом спросил Левин. "Сделайте одолжение", – сказал библиотекарь. Левин подарил мне выброшенного Брокгауза. Он и сегодня стоит на моих полках.

Первый номер мы сварганили на обычной пишущей машинке. Распространением его занимался Мирон Гордон, впоследствии дипломат, посол Израиля в Польше, а тогда – студент, усердно штудирующий политические науки, и воспитатель умственно-отсталых детей. Неплохая школа для работы в нашем МИДе. Позже, в бытность свою в Москве, Мирон встречался с Ерофеевым, и подарил ему третий номер "Ами", который у Венички тут же бессовестно позаимствовали.

* * *

Ассоциация наша тем временем фактически прекратила существование. Все разберлись кто куда и занялись своими делами. Остался один Боря. Но он не унывал. Это он свел нас с членом исполкома Всеобщей федерации трудящихся хавером Сеней Каценельсоном. В Сене не было ни одного острого угла. Весь он состоял из приятных глазу овальных линий. Небольшой животик – признак довольства. Простая расстегнутая рубашка, подчеркивавшая пролетарское происхождение. Добродушное круглое лицо, внушающее доверие. Сносный русский, сохраненный из уважения к стране победившего социализма. Он долго отечески беседовал с нами, все время подчеркивая, какие большие надежды связывает с русской алией Гистадрут и лично хавер Бен-Аарон.

Как я уже говорил, кончилось все это тем, что вождь профсоюзов выписал нам чек. Сеня, желая произвести хорошее впечатление, даже не потребовал на предварительную цензуру публикуемые в журнале материалы. Очень скоро ему пришлось горько пожалеть об этом. Он позвонил нам вскоре после выхода второго номера. Его голос дрожал от обиды: "Забудьте к нам дорогу. Ваш журнал не только антисоветский, но и антисоциалистический. Вы популяризуете Жаботинского и этого реакционера Марголина. И вы даже не сочли нужным поблагодарить хавера Бен-Аарона."

Мы удрученно молчали. Да и что можно было сказать?

* * *

Вскоре после выхода второго номера нас вызвали в русский отдел МИДа.

"Нехемия", – представился пожилой, крепкий еще человек с военной выправкой, энергично пожимая нам руки. "Яка", – про-

изнес второй, мужчина лет пятидесяти с живыми глазами, поднимаясь навстречу. Состоялся откровенный разговор. Нехемия говорил о том, какое огромное значение имеет для Израиля репатриация из СССР – плод закулисных контактов, тайных переговоров и усилий русского отдела МИДа. Мы, дескать, даже не представляем, какие влиятельные факторы были задействованы с целью убедить кремлевские власти, что репатриация евреев не является процессом политическим и не вызвана отрицательным отношением к советскому строю. Пробитая в железном занавесе брешь может ведь и затянуться. Поэтому МИД против того, чтобы прибывшие на историческую родину евреи афишировали свой антисоветизм. Вот почему издание в Израиле такого журнала, да еще в качестве органа студенческой ассоциации выходцев из СССР, крайне нежелательно. Тут Нехемия положил руку на лежащий на столе второй номер.

Наш ответ свелся к тому, что если в Израиле есть закон, запрещающий издание русскоязычного журнала без разрешения русского отдела МИДа, то мы, разумеется, уголовными преступниками не станем. Ну, а если такого закона нет, то уж не обессудьте. "Такого закона нет", – сказал Яка и усмехнулся. В глазах же у обоих читалось: "Слишком уж вы прытки, голубчики".

И после второго номера наступил длительный антракт.

* * *

Прошло больше года. Боря Геккер исчез из нашей жизни – кажется, уже водил такси в Нью-Йорке. Организация "Рога и копыта" давно прекратила свое существование. Два первых номера "Ами" стали библиографической редкостью. Мы, сделав несколько безуспешных попыток раздобыть средства для продолжения дела, которое нам, в общем-то, нравилось, разбредлись в стороны. Левин делал докторат. У меня были свои заботы.

Однажды Левин привел ко мне незнакомого парня с огненно-рыжей шевелюрой. Ни высокий, ни низкий, ни худой, ни полный, он произвел впечатление честолюбца, чувствующего себя выше занимаемого положения, но сомневающегося, признают ли это другие. "Фима Цал", – сказал он, протянув вялую руку.

"Ставь бутылку, – сказал Левин. – Фима издаст третий номер".

Оказывается, Фима, решившийся на политическую карьеру, вступил в Независимую либеральную партию, к тому времени агонизировавшую. Дело в том, что независимые либералы представляли собой осколок когда-то влиятельного политического движения. В движении произошел раскол. Большая часть партийного руководства вступила в коалиционный блок с Херутом, признав Бегина своим вождем, и забрав с собой партийную кассу. "Меньшевики", не подчинившиеся воле большинства, отказались свернуть независимое партийное знамя. Но они потеряли и избирателей, и источники финансирования. Дни независимых либе-

ралов были сочтены, и в массовом исходе евреев из СССР они видели чуть ли не единственную свою надежду. Фима обещал им голоса "русских" избирателей и даже целый журнал. Забегая вперед, отмечу, что ни Фима, ни третий номер, ни даже сам Веничка их не спасли.

Но деньги они дали, и мы стали готовить третий номер. Вскоре он, в принципе, был готов. Не хватало лишь ударного материала.

"Обратитесь к Цукерману", – посоветовал нам Юлиус Телесие, написавший для третьего номера статью "Владимир Гершуни – мастер палиндромона". Юлиус, как орден почетного легиона носивший в Москве титул "принца самиздатского", был ментором журнала.

Мы знали, что Борис Исаакович Цукерман считался видной фигурой в правозащитном движении. Свою задачу он видел в том, чтобы заставлять советские власти выполнять собственные законы. Помню, как поразил нас его памфлет, распространявшийся в самиздате после вторжения в Чехословакию. Борис Исаакович, с издевательским добродушием изложив все советские аргументы – "братская помощь", "интернациональный долг", "нерушимое единство соцлагеря" и т.д., – задал вопрос: в чем же повинен Советский Союз с точки зрения международных правовых норм? И пришел к выводу: в массовом нелегальном переходе чужой границы.

* * *

И вот мы у Бориса Исааковича. Хозяин, сгорбившись, восседает в кресле, немногословен и неразговорчив. Мы сбивчиво объясняем цель нашего визита, но даже не ведаем, прорываются ли наши слова сквозь вакуум, надежно ограждающий его от внешнего мира. Лицо грустное, непроницаемое и словно навсегда обиженное. Становится ясно, что он, понимая все несовершенство человеческой природы, давно не ждет от общения с людьми ничего хорошего.

Мы кончили. Борис Исаакович долго молчит. Потом тихо спрашивает: "Какова программа вашего журнала?" Мы забормотали что-то о взаимодействии культур.

"Да", – сказал Борис Исаакович и надолго умолк. Минут через пять хозяин нарушил гнетущую уже тишину: "Знаете, я вот приобрел проигрыватель с особым адаптером. Сам кое-что сконструировал. Чистота звука изумительная". Он подходит к полкам и медленно, словно священнодействуя, ставит пластинку. Звучит музыка, вздымаясь и нарастая, как в исполнении соборного органа.

Действительно здорово. И мы даже не замечаем исчезновения хозяина. А он уже возвращается с пачкой глянцевого бумаги. Сфотографированные страницы уменьшенного объема.

Строчки сбились в кучу, как овцы. "Ну и будет же работка у машинистки", – мелькает мысль.

Это он, Веничка.

Сказочная удача, как миллионный выигрыш в лотерею.

А музыка продолжает звучать...

Дальнейшее – дело техники. Две машинистки перепечатали Веничку. Перед самым выходом третьего номера меня забрали на сборы, а Левин сдавал экзамен. Наши тогдашние жены Илана и Наташа заклеили последние ошибки и отнесли готовый макет журнала в типографию.

* * *

Мой товарищ Владимир Гершович, друг всех известных правозащитников, в дни далекой молодости и сам игравший в опасные те игры, сказал мне много лет спустя:

"А ты знаешь, старичок, что вы издали единственный уцелевший экземпляр Венички? Я сверял потом. Все последующие публикации "Москва – Петушки" – и на Западе, и в России – базируются на вашем тексте. Даже опечатки – и те ваши... К тому же все самиздатские копии имели предваряющую текст страницу с эпиграфом из "корифея всех наук": "Эта штука посильнее, чем "Фауст" Гете". В вашем экземпляре эта страница была, к сожалению, утрачена. Поэтому веничкино творение так и осталось без эпиграфа".

"А куда же подевался весь самиздатский Веничка?" – поинтересовался я.

"Сгорел, – удивился такой наивности Гершович. – Тогда за самиздат уже сажали. Правозащитники сжигали весь криминал..."

Меня самого грязно-бурое пятно на паркете уличало в простительной, впрочем, человеческой слабости. Гебисты расхохотались, придя ко мне с обыском. Уж они-то в миг поняли генезис этого пятна... И вообще год был тяжелый. 1969-й. Шли обыски, аресты. Многое изымалось на шмонах. Самиздат, существовавший, в основном, на папиросной бумаге, сберечь было непросто. Да и кто думал тогда о сохранении культурных ценностей? В догутенберговский период погибли манускрипты величайших историков и мыслителей древности по той же причине. Не умели хранить..."

В 1977-м году Гершович даже послал Венедикту Ерофееву вызов в Израиль. После того, как получил он из Москвы письмо от своего приятеля Владимира Гусарова – одного из первых публицистов самиздата, личности тоже легендарной, автора нашумевшей книги "Мой папа убил Михоэлса". Письмо с приложенной фотографией Венедикта кончалось адресом местожительства Венички.

Правила игры не оставляли сомнений. Ерофееву нужен был вызов, и Гершович это устроил. Но Веничка как раз женился. Ну

и – ребеночек, тот самый, который в Петушках... Короче, Ерофеев никуда не поехал...

Вот, впрочем, представляющий для нас интерес фрагмент из этого письма:

"P.S. 1/3/77. Вчера весь день у меня был Веня, высокий, красивый, даже элегантный мужчина 38 лет. Мальчик, которого он упоминает (в своей поэме. В.Ф.), учится в четвертом классе, круглый отличник, каким, вероятно, был и сам, пока все не забросил, но я не расспросил его, потому что сам тараторил, а он немногословен. Когда приведший его, увидев третью бутылку на столе, спросил, не делает ли он преступление перед литературой, Веня заметил: "Сегодня необходимо выпить – понедельник". И – ко мне: "Покажите вашу любимую книгу".

Я ответил, что здесь только то, что не принимает ни один букинистический магазин, а Веня сказал, что Тютчева никогда не продаст, даже если останется без брюк. И брюки, и пиджак на нем весьма свежие и элегантные. Я ожидал увидеть деклассированного типа со странностями, но ничего подобного, если не считать, что он все время пил и курил, и, как мне казалось, оставался трезвым. Часов в 10-11 он уехал в троллейбусе на Флотскую 17, кв. 78, на свой 13-й этаж..."

* * *

Ну а мы сразу ощутили пустоту. Что-то невозвратное ушло из нашей жизни. Но Ерофеева с тех пор из виду не теряли. Он был рад, что его книга вышла в Израиле. Известному нашему поэту, посетившему его, уже неизлечимо больного, подарил Ерофеев свою фотографию с надписью: "Михаилу Генделеву, гражданину благороднейшего государства".

И вот, перед смертью, сотворил Ерофеев статью, настолько жидоедскую, что у получившего ее редактора "Континента" руки опустились. Тем более, что предсмертная воля автора обязывала всенепременно печатать.

Мне думается, что метаморфоза эта вызвана далеко неоднозначным отношением Ерофеева к роли евреев в русской культуре. Ерофеев видел в евреях неотторжимую часть российской интеллигенции, готовую разделить ее судьбу, – пусть даже самую трагическую. Потому и воспринял он с таким болезненным надрывом еврейский исход из России. Известно ведь, кто бежит с тонущего корабля. Впрочем, юдофобский срыв Ерофеева произошел, когда смертельная болезнь уже не позволяла ему контролировать темные силы, заключенные в подспудных глубинах каждого из нас, и проявляющиеся вдруг самым неожиданным образом.

В "Вальпургиевой ночи" Россия – это сумасшедший дом, обитатели которого гибнут, отравленные, – без злого, впрочем,

умысла, – главным героем, евреем Гуревичем, погибающим вслед за хором под сапогами остервенелого надзирателя.

Гуревич настолько по-человечески привлекателен, что Ерофеева никто и не помыслил обвинять в антисемитизме. Как в эсхиловом "Эдипе", в основе ерофеевской трагедии – вечная идея о неотвратимости судьбы и неизбежности возмездия.

"Вальпургиева ночь" с большим успехом шла в Израиле.

Поэма же Веничкина, переведенная на иврит Нили Мирской, долго возглавляла у нас список бестселлеров. Ставить "Москва – Петушки" собрался израильский Камерный театр. Так что в Израиле никакого невроза относительно Венички не существует. Говоря словами известного анекдота, вопрос об его антисемитизме "не стоит и стоять никогда не будет".

* * *

Я же, когда беру в руки ерофеевскую поэму, вижу крошечную ночь, разрываемую звуками одиноко бредущего куда-то пьяного саксофона, и "полную печали высокую-высокую луну".

ГОРОД ДАВИДА

Хава-Браха Корзакова

ЗАГАДКА ДВАДЦАТОГО ПСАЛМА

Вспомним, как звучит этот псалом (в переводе под редакцией Давида Йосифона):

1. Руководителю (хора). Псалом о Давиде ("למנצח. מזמור לדוד").
2. Ответит тебе Господь в день бедствия, укрепит тебя имя Бога Яакова.
3. Он пошлет тебе помощь из святилища и с Сиона поддержит тебя.
4. Он вспомнит все приношения твои и всесожжение твое превратит в пепел (*т.е. примет*). Сэла.
5. Он даст тебе по (*желанию*) сердца твоего, и каждый совет (*замысел*) твой исполнит.
6. Ликовать будем при спасении твоём и во имя Бога нашего поднимем знамя. Исполнит Господь все пожелания твои.
- одь помазанника Своего, ответит ему с небес святых Своих, мощью спасающей десницы Своей.
8. Эти (*полагаются*) на колесницы, а те – на коней, а мы имя Господа Бога нашего славим.
9. Те склонились и пали, а мы поднялись и осилили.
10. Господи, помоги! Царь ответит нам в день, когда воззовем мы.'

Ибн Эзра обращает внимание на то, что первый стих (после технического указания "למנצח" – "руководителю (хора)") можно понять двояким образом. "Мизмор ле-Давид" может означать "(песня) Давида" – так же, как "שיר השירים אשר לשלמה" ("Песнь песней Шломо" – то есть сочинил ее Шломо), а может означать "песня о Давиде" или "для Давида", как "מזמור שיר לאום" ("песня на шабат"), и тогда, как говорит Ибн Эзра: «Возможно, один из поэтов сочинил ее о Давиде.» Не жалко ли отбирать авторство столь прекрасного псалма у Давида и отдавать всего лишь "одному из поэтов"? Нет, не жалко, потому что, как мы увидим в дальнейшем, история с авторскими

правами на этот псалом гораздо более запутана.

О чем же говорит псалом? На этот вопрос отвечает Раши: «Этот псалом – о том, как (*Давид*) послал Йоава и весь народ Израиля на войну, а сам стоял в Иерусалиме и молился о них, как сказано: "Лучше, чтобы ты помогал нам из города" (2-я Книга Шмуэля 18:3). А мудрецы наши сказали: "Если бы не Давид, не победил бы Йоав в войне"».

война, о которой идет речь, была самой опасной и одновременно самой горькой для Давида. Все началось с того, что сын одной из его жен, Амнон, опозорил дочь от другой жены, Тамар. Ее единоутробный брат Авшалом дождался удобного случая и убил Амнона, и тогда ему пришлось бежать от гнева отца. И хотя через некоторое время Давид утешился (2-я Книга Шмуэля 13:39), было положено начало вражде между ним и Авшаломом, вражде, которая через много лет закончилась тем, что Авшалом, добившись в народе популярности, восстал и даже был помазан на царство. Давид был вынужден бежать, собрал верных ему людей под предводительством Йоава и отправил их на войну с мятежниками, наказав, однако, не причинять вреда самому Авшалому. Однако Авшалом был убит по приказанию Йоава, который был его давним врагом. Таким образом, Давид остался на престоле, но потерял сына. Кроме того, эта история положила начало вражде между Иудеей и Израилем, приведшей после смерти Шломо к разделению единого еврейского государства.

2

Второй стих двадцатого псалма звучит так: «Ответит тебе Господь в день бедствия, укрепит тебя Имя Бога Яакова». Почему Давид в трудную минуту обращается к "Богу Яакова", а не к "Богу Авраама, Ицхака и Яакова", как принято? Эту странность заметили уже классические комментаторы. Раши пытается разрешить проблему следующим образом: «"Имя Бога Яакова" – которому Он (*Всевышний*) обещал (*помощь*) на пути в Харан, и исполнил свое обещание, поэтому сказано "Имя Бога Яакова"». Напомним, что в Харан Яаков отправился, спасаясь от гнева обманутого им брата Эйсав (как Давид – от гнева своего сына Авшалом). История эта нам еще пригодится, поэтому приведем ее с небольшими сокращениями: «И пришел на одно место, и переночевал там... И снилось ему: вот, лестница поставлена на земле, а верх ее касается неба; и вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот, Господь стоит при нем и говорит: "Я Господь, Бога Авраама, отца твоего, и Бог Ицхака. Землю, на которой ты лежишь, тебе отдам ее и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься на запад и на восток, на север и на юг, и благословятся в тебе и в

потомстве твоём все племена земные. И вот, Я с тобою; и сохранию тебя везде, куда ты ни пойдешь; и возвращу тебя в землю эту, ибо Я не оставлю тебя, доколе не сделаю того, что Я сказал тебе. И пробудился Яков от сна своего, и сказал: "Истинно Господь присутствует в этом месте, а я не знал!" И убоился, и сказал: "Как страшно это место! Это не что иное, как дом Божий" ("סוּדָרָא מִבֵּית יְיָ כִּי עַם הָיָה שָׁנָה"), а это врата небесные. И встал Яков рано утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником; и возлил елей на верх его. И нарек имя месту тому Бейт-Эль, а первоначальное имя того города Луз...» (Берешит 28:11-19).

Всевышний сдержал обещание, данное убежавшему от родного брата Якову, – и Давид, убегающий от родного сына, обращается к Всевышнему именно так, возможно, желая напомнить о "прецеденте". Таково мнение Раши. Ибн Эзра рассуждает похожим образом, но вывод делает несколько другой, более общий: «А смысл выражения "Бог Якова" в том, что многие горести пережил Яков на дорогах, а Всевышний укрепил его (или "возвысил его" – "сагвэху", корень "син-гимель-бейт")».

Рассуждение Ибн Эзры кажется более близким к истине, потому что "дорожные неприятности" Якова не ограничились страхами на пути в Харан. Возвращаясь в Землю Кнаан, обремененный детьми и стадами, он все еще боялся гнева Эйсав (по утверждению мидрашей, далеко не безосновательно), и Всевышний явился ему еще раз, благословил и дал новое имя – Израиль. Так что логично предположить, что царь Давид вспоминает про оба "дорожных приключения" Якова, а не только про одно из них. С другой стороны, – почему тогда только Якова? Ведь и Авраам странствовал и был во время странствий храним Всевышним: ему пришлось путешествовать из Харана в Кнаан, потом в Египет, и даже во время обычных для скотовода кочевок по территории будущей Эрец Исраэль его подстерегали опасности, – например, в Гаре, когда плиштимский царь Авимелех взял у него Сару. Неприятности того же рода и с этим же Авимелехом были впоследствии у Ицхака и Ривки.

3

А теперь перенесемся в самое, казалось бы, мало связанное с двадцатым псалмом место, – в Египет. В начале 20-го века там был найден папирус, написанный на каком-то тарабарском языке (Papyrus Amherst 63). В 1944 году английскому исследователю Ричарду Буману удалось узнать в этой тарабарщине культовый языческий текст на арамейском языке,

записанный демотическими знаками (то есть египетским алфавитом), и расшифровать около четырех строк. А папирус, – который, относится, возможно, к четвертому, а скорее всего, ко второму веку до нашей эры, – содержит целых 23 колонки (то есть 23 листа, сшитых друг с другом по краям). И только в 1982 году голландцы Флеминг и Весселиус опубликовали полностью расшифрованный текст, а через год Чарльз Нимс из Университета Чикаго и Ричард Штейнер из Йешива-Юниверсити окончательно "вычислили" отрывок, который нас интересует, – 11-я колонка, строки с 11 по 19. Я не случайно называю университеты, к которым принадлежат эти исследователи. Возможно, в успехе их именно сочетание "обще-го" и "еврейского" университетов сыграло решающую роль.

Нимс и Штейнер обнаружили, что семь из этих восьми строк почти буквально соответствуют семи строкам двадцатого псалма, со 2-й по 8-ю. А в восьмой строке папируса содержится "ключ"...

Но приведем оба псалма построчно (для понятности приближая и без того приблизительную транслитерацию арамейского текста к ивritу).

Теилим 20:2:

עֲנֵךְ ה' בְּיוֹם צָרָה, יִשְׁגָּבֶךָ שֵׁם אֱלֹהֵי יַעֲקֹב

«Ответит тебе Господь в день бедствия, укрепит тебя имя Бога Яакова».

Папирус 11-12:

יַעֲנֵנו חֹר בַּמִּצּוֹרִין, יַעֲנֵנו אֲדוֹנֵי בַּמִּצּוֹרִין, הוּא קִשֵּׁת בְּשִׁמְיוֹ סָהָר

«Ответит нам Хор в бедствии, ответит нам Всевышний (или "господин") в бедствии, будет радуга в небесах его лунных».

Теилим 20:3:

יִשְׁלַח עֲזָרָךְ מִמִּקְדָּשׁ וּמִצִּיּוֹן יִסְעָדֶךָ

«Он пошлет тебе помощь из святилища и с Сиона поддержит тебя».

Папирус 13:

יִשְׁלַח צִירְךָ מִן אֶרֶץ אֶרֶשׁ וּמִן צָפוֹן חֹר יִסְעָדֶנּוּ

«Послал посланца твоего из святилища Эреша, и с севера Хор поможет нам».

Теилим 20:4:

יִזְכֹּר כָּל מִנְחֹתֶיךָ וְעוֹלָךְ יִדְשְׁנֶה. סָלָה.

«Он вспомнит все приношения твои и всесожжение твое испепелит.»

Нет параллели в папирусе.

Теилим 20:5:

יֵתֵן לְךָ כִּי לִבְבְּךָ וְכָל עֲצָתְךָ יִמְלֹא

«Он даст тебе по желанию сердца твоему, и каждый замысел твой исполнит».

Папирус 14-15:

יִתֵּן אֱלֹהֵינוּ חֹר כְּלָבֵינוּ, יִתֵּן אֱלֹהֵינוּ מֶר כְּלָבֵינוּ, כֹּל יַעֲצֵנוּ חֹר יִמְלֵא

«Даст нам Хор по желанию сердца нашего, даст нам Мар по желанию Сердца нашего, каждый замысел наш Хор исполнит».

Теилим 20:6:

בִּישׁוּעָתְךָ וּבִשְׁם אֱלֹהֵינוּ נִגְדֹל, יִמְלֵא ה' כֹּל מִשְׁאֲלוֹתֶיךָ

«Ликовать будем при спасении твоём и во имя Бога нашего поднимем знамя. Исполнит Господь все пожелания твои.»

Папирус 16:

יִמְלֵא חֹר לֹא יַחֲסֹר אֶדְוֵנוּ כֹּל מִשְׁאֵל לִבֵּנוּ

«Исполнит Хор, не пожалеет Всевышний (или "господин") всякое пожелание сердца».

Теилим 20:7:

עֲתָה יָדַעְתִּי כִּי הוֹשִׁיעַ ה' מִשִּׁיחוֹ, יַעֲנֶהוּ מִשְׁמֵי קָדְשׁוֹ, בְּגִבּוֹרוֹת יֵשַׁע יָמָיו

«Ныне знаю, что спасает Господь помазанника Своего, ответит ему с небес святых Своих, мощью спасающей десницы Своей».

Нет параллели в папирусе.

Теилим 20:8:

אֱלֹהִים בָּרַכְבּ וְאֵלֶּה בְּסוּסִים, וְאֶנְחֵנוּ בִשְׁם ה' אֱלֹהֵינוּ נִזְכִּיר

«Эти (полагаются) на колесницы, а те – на коней, а мы имя Господа Бога нашего славим».

Папирус 16-17:

אֱלֹהִים בִּקְשָׁת אֱלֹהִים בַּחֲנִית, הָרִי אֶנְחֵנוּ מֶר אֱלֹהֵינוּ חֹר יֵה אֱלֹהֵינוּ עֲמָנוּ

«Эти (полагаются) на лук, а те – на копье, а мы – на господу нашего Хора, Всевышний у нас, с нами».

Дальше тексты расходятся. Теилим продолжает:

כָּמָה כָּרְעוּ וּנְפְלוּ וְאֶנְחֵנוּ קָמְנוּ וְנִתְעוֹדֵד. ה' הוֹשִׁיעַ, הַמֶּלֶךְ יַעֲנֵנוּ בַּיּוֹם קְרָאנוּ

«Те склонились и пали, а мы поднялись и осилили. Господи, помоги! Царь ответит нам в день, когда воззовем мы») (20:9-10).

В папирусе (18-19):

יַעֲנֵנוּ מִחֹר אֶל בֵּית-אֵל, בְּעַל שְׁמַיִן יִבְרַךְ, לַחֲסִידֶיךָ בִּרְכָתְךָ

«Ответит нам завтра бог Бейт-Эль, Бааль Шамин Мар благословит, праведным твоим – благословение твое».

4

Сходство текстов не может не навести на мысль о заимствовании, – или, как минимум, об общем источнике. Один из публикаторов папируса Амхерст 63, Ричард Штейнер, считал, что 20-й псалом "приехал" в Египет вместе с евреями и принял языческий характер, когда часть этих евреев подверглась влиянию египетского синкретизма (в котором боги одной религии "проецируются" на богов другой, как, например,

произошло с греческой и римской религией, когда Афродита стала ассоциироваться с Венерой, Арес – с Марсом, Зевс – с Юпитером, Гера – с Юноной, и так далее). Однако мы, по примеру Моше Вайнфельда, в качестве рабочей гипотезы остановимся на втором варианте: общий источник. Назовем его "протопсалмом".

Кроме того, мы ведь уже получили ключ к разгадке обращения царя Давида в двадцатом псалме к "имени Бога Яакова". Комментарий Раши подводит нас к некоему месту – туда, где Яаков по дороге в Харан увидел вещий сон (знаменитую лестницу), обещавший ему безопасность и благополучие. «И нарек имя месту тому Бейт-Эль...» (Берешит 28:19). (Сегодня это это имя носит небольшое поселение под Иерусалимом.)

Обратившись к "параллельному", египетскому псалму, мы находим то же словосочетание, на этот раз в качестве имени языческого бога (18-19): «עֲנֵנוּ מֶלֶךְ אֱלֹהֵי בֵּית־אֵל, בֹּדֵק שְׁמַיִם בְּרַךְ, לַחֲסִידֶיךָ» («Ответит нам завтра бог Бейт-Эль, Бааль-Шамин Мар благословит, праведным твоим – благословение твое»).

В египетском псалме мы встречаем несколько имен языческих божеств, причем божеств и египетского (Хор), и ханаанского (Бааль-Шамин), и, очевидно, семитского происхождения (Мар; Бейт-Эль; возможно, Адонай, – если так читается слово в 12-й и 16-й строках, которое иначе будет означать "адони", то есть "господин"; в 17-й строке псалма можно увидеть Тетраграмматон, или, как минимум, двухбуквенное имя Всевышнего – "йуд-хей"). В еврейском псалме присутствуют, естественно, только имена Всевышнего (Элоким и Тетраграмматон). Что же было в протопсалме? Египетского Хора там, скорее всего, не было, – он мог появиться только в Египте. Более того, очевидно, что имя Хор в египетском псалме в нескольких местах заменяет какое-то другое имя (или, что более вероятно, какие-то другие имена), – точно так же, как имена Всевышнего везде стоят вместо имен языческих божеств в еврейском псалме. Присутствовали ли в протопсалме имена еврейского Бога Всевышнего? Могли и присутствовать – плюрализм так плюрализм. Кроме того, протопсалом к моменту его "переезда" в Египетуже мог подвергнуться влиянию иудаизма, и имена Всевышнего могли быть включены в него "на всякий случай".

Какие же еще имена стояли в подлиннике? С Маром и Бааль-Шамином мы еще успеем разобраться, а вот одно имя можно назвать уже сейчас – "Эль Бейт-Эль", то есть "бог Бейт-Эль". Оно упоминается в 18-й строке египетского псалма: «עֲנֵנוּ מֶלֶךְ אֱלֹהֵי בֵּית־אֵל» («Ответит нам завтра бог Бейт-Эль...»). А в

еврейском псалме, естественно, не упоминается. Откуда же мы знаем, что оно там было? Да из таинственного обращения Давида – или другого "автора" – к "Богу Яакова". Помните начало еврейского псалма? «עַנֵּךְ ה' בַּיּוֹם צָרָה, יְשַׁבֵּךְ שֵׁם אֱלֹהֶיךָ עָרַב» («Ответит тебе Господь в день бедствия, укрепит тебя имя Бога Яакова», Теилим 20:2:). А что написано в папирусе? «וַיַּחַד חֹר בְּמִצְרַיִם, וַיַּחַד חֹר בְּמִצְרַיִם» («Ответит нам Хор в бедствии, ответит нам Всевышний (или "господин") в бедствии», 11-12).

5

Некая личность, имя которой в Теилим 20:2 заменило "Имя Бога Яакова", а у египтян – имя Хора. Кто же это был?

Не знаю. И никто не знает. И никогда не узнает, если только не будет найдена какая-нибудь табличка с соответствующими письменами, где это имя будет написано черным по белому (или хотя бы по обугленному). А пока можно только строить предположения.

Хора мы исключили с самого начала. Хор – бог египетский и Египта, насколько нам известно, не покидал. Имя Всевышнего упоминается и в еврейском, и в египетском псалме, поэтому Его полностью исключить нельзя, однако почему тогда во второй строке еврейского псалма Его Имя появляется как "имя Бога Яакова"? Зачем такая конспирация? Нет, очевидно там было другое имя. Бааль-Шамин или Мар? Возможно, кто-то из них. Однако ни Бааль-Шамин, ни Мар никак не связаны с Яаковом. Остался последний подозреваемый – Эль Бейт-Эль. И он-то как раз тесно связан с Яаковом. Помните, в 28-й главе Яаков говорит: «Как страшно это место! Это не что иное, как дом Божий, а это врата небесные. И встал Яаков рано утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником; и возлил елей на верх его. И нарек имя месту тому Бейт-Эль, а первоначальное имя того города Луз...» (Берешит 28:17-19).

Если бы мы с вами были приверженцами простой библейской критики, то сразу сказали бы: никакой город Луз Яаков Бейт-Элем не называл, а просто обратился, по обычаю тех времен, к местному, лузовскому, божеству, а его-то и звали "Бейт-Эль". Однако мы совершенно не обязаны принимать столь "языческую" версию поведения праотца нашего Яакова. Тем более что "Эль Бейт-Эль" – это очень странное имя: "Бог дома бога"?

Яаков знает, что место это «не что иное, как дом Божий» («בֵּית אֱלֹהִים כִּי פֶה זֶה כִּי פֶה זֶה»). Под хозяином этого "Дома бога" мог подразумеваться кто угодно, в том числе и Всевышний. Известно, что хозяина священного места не обязательно (а возможно, и запрещено) называть по имени. Известны же Бааль-Цафон (Хозяин Цафона – не Севера, а места, называвшегося

"Цафон") или Мар (Господин).

Однако, чтобы окончательно не идеализировать монотеизм праотцев, нельзя не отметить, что в дальнейших своих приключениях Яков несколько раз упоминает своего покровителя именно в связи с Бейт-Элем. Решив уйти от Лавана из Падан-Арама, он рассказывает Рахели и Лее свой сон: «И сказал мне ангел (или *"посланец"*) Божий во сне: Яков!.. Я Бог, которому в Бейт-Эле помазал ты памятник и дал Мне там обет...» (Берешит 31:11-13). Находясь в опасной ситуации после убийства жителей Шхема, Яков снова получает пророчество: «И сказал Бог Якову: встань, взойди в Бейт-Эль и живи там; и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе...» («בַּיַּת אֱלֹהִים וְעָבַדְתָּ אֱלֹהִים» (Берешит 35:1). Эти же слова повторяет Яков своим домашним: «И встанем, взойдем в Бейт-Эль, и я устрою жертвенник Богу, который откликнулся мне в день бедствия моего и был со мною в пути, которым я ходил» (35:3); «И пришел Яков в Луз, что в земле Ханаанской, он же Бейт-Эль... И построил там жертвенник, и назвал место это Эль-Бейт-Эль, ибо там явился ему Бог...» (35:7).

Почему же именно Бог Бейт-Эля стал покровителем Якова?

6

Из других, соседних, мифологий известно, что один и тот же бог в разных святилищах мог "отвечать" за разные вещи и по-разному почитаться. Например, Афина почиталась в Пергаме как богиня-воительница, а в Афинах – как покровительница ремесел.

В Афинах в честь Зевса Мейлихия (Кроткого) устраивались веселые празднества, а в Аркадии Зевсу Ликей-скому (от названия Волчьей горы – Ликаона) приносили человеческие жертвы.

Может быть, выбор Якова можно объяснить функцией или одной из функций, которые приписывались Богу Бейт-Эля? Каким же образом можно узнать, какая это была функция?

Обратимся, например, к тексту, правда, гораздо более раннему (двадцатый век до нашей эры), который, тем не менее, может нам кое-что объяснить, – к египетскому "придворному роману" "Странствия Синухе". Героя романа зовут Синухе – "Сын сикоморы", священного дерева богини Хатхор. Это придворный, который после очередной смены власти опасается обвинения в участии в заговоре против нового фараона Сенусерта и бежит "в Азию", а если отбросить египетский снобизм, прямо скажем, в район Сирии/Палестины. Тамашный властитель женит его на своей дочери и выделяет ему пограничные земли, которые тот, естественно, должен охранять. Наконец до Синухе доходят слухи, что фараон ни в чем его не обвиняет, заботится о его доме и готов принять его снова.

Фараон даже отправляет ему письмо, в котором напоминает о варварских погребальных обычаях и призывает вернуться, чтобы быть похороненным по египетским законам: «Подумай о дне погребения!.. Не умрешь ты в чужой стране! Не похоронят тебя азиаты, не завернут тебя в баранью шкуру... Подумай о теле своем и возвращайся!» Синухе ставит своего старшего сына от "азиатской" принцессы во главе подвластного ему племени, передает ему имущество и возвращается в Египет, где его действительно принимают с почетом. Судя по тексту, он даже успевает пережить фараона. Но нас интересует не это.

В тот момент, когда Синухе решается покинуть Сирию, фараон посылает за ним: «Я остановился у Путей Хора. И повелел его Величество отправить в путь умелого начальника работников, царского дома и за ним суда, нагруженные дарами царя для азиатов, провожавших меня к Путям Хора». Что это за "Пути Хора"? Согласно комментарию, так называлось укрепление на северо-восточной границе Египта. Оказывается, Хор охранял дороги из Египта и уже в текстах Древнего Царства награждался эпитетом "Владыка чужеземных стран".

Чье же имя стоит в начале египетского псалма – там, где в еврейском упоминается "Бог Бейт-Эль"? Имя того же самого Хора, "владыки чужеземных стран". Разве не вероятно, что имя Хора, египетского защитника путешественников, стало заменой имени "Бога Бейт-Эля" – палестинского защитника путешественников? И не естественно ли было для Яакова, многолетнего скитальца, обратиться в своих странствиях именно к нему?

7

Итак, имена Всевышнего, которого автор еврейского псалма призывает стать защитником находящегося в пути царя Давида, подобно тому, как ранее Он защищал находившегося в пути Яакова, и египетского Хора, который был покровителем путешественников, заменяют имя Эль Бейт-Эля. В еврейском и египетском текстах совпадает не только функция призываемого божества (покровительство в дороге), но и глагол, с помощью которого это божество призывают:

«Ответит тебе Господь в день бедствия, укрепит тебя имя Бога Яакова»; Теилим 20:2);

«Ответит нам Хор в бедствии, ответит нам "господин"(?) в бедствии» (египетский псалом 11-12).

Каким же образом упоминает его Яаков?

ונקומה ונעלה בית-אל ואעשה שם מזבח לאל העונה אותי ביום צרתי והיה עמדי בדרך אשר הלכתי.

«И встанем, взойдем в Бейт-Эль, и устрою я жертвенник Богу, который ответил мне в день бедствия моего и был со мною в пути, которым я ходил»; Берешит 35:3.

Вырисовывается не только имя (Бейт-Эль), но и форма обращения к нему – "ענה", "נה". Ведь по отношению к другим

языческим божествам, упоминающимся в египетском псалме, употреблены другие глаголы: "חור יטענו" («Хор поможет нам»), "ינתן אלינו חור כלבבנו, ינתן אלינו מר כלבבינו, כל יעזתנו חור ימלא" «Даст нам Хор по желанию сердца нашего, даст нам Мар по желанию Сердца нашего, каждый замысел наш Хор исполнит»), "ימלא חור" («исполнит Хор...»), "בעל שמיין יברך" («Бааль Шамин Мар благословит»).

А дальше читаем: וַיַּעֲנוּ מַחֵר אֶל בֵּית-אֵל «Ответит нам завтра бог Бейт-Эль», – снова имя Эль Бейт-Эля рядом с корнем "ה-נ-ע", "отвечать".

Что же это был за Эль Бейт-Эль "הנע" ("отвечающий"), покровитель путешественников, и так далее? (Впрочем, как именно далее, неизвестно.) Известно, что с пережитками языческого мировоззрения на территории Эрец Исраэль яростно боролись еврейские пророки. Может быть, они что-то говорят про Эль Бейт-Эль?

Заглянем для начала в Книгу пророка Ошеа: «Эфраим окружил меня ложью, а дом Израилев – обманом; а Йегуда еще держался Бога и верен был Всесвятому ("עוֹד רָדָה עִם אֱלֹהִים קְדוֹשִׁים"). Эфраим ветер пасет и за ветром восточным гоняется; весь день множит он ложь и грабеж; и с Ашуром союз заключают они, и отвозится оливковое масло в Египет. Но спор у Господа с Йегудой, и взыщет он с Яакова за пути его ("וַיִּפְקֹד עַל יַעֲקֹב כִּי דָרְכָיו")» (Ошеа 12:1-3). А дальше – самое интересное. В переводе Йосифона читаем: «Во чреве обманул он брата своего, а силою своей боролся с (ангелом) Божьим ("וַיִּבְאֹנוּ שָׂרָא אֱלֹהִים"). Боролся он с ангелом ("וַיִּשָּׁר עַל מַלְאָךְ") и превозмог; плакал тот и умолял его; в Бейт-Эле найдет Он его и там будет говорить с ним. А Господь – Бог Цеваот, Господь – имя Его» (4-7). Перевод, очевидно, приблизительный, ведь в одном небольшом отрывке используется и дополнение оригинала (выражение "שָׂרָא אֱלֹהִים" переведено как "боролся с (ангелом) Божьим"), и большая буква, в оригинале, естественно, отсутствующая: "в Бейт-Эле найдет Он (подразумевается – Всевышний) его (очевидно, Яакова) и там будет говорить с ним". Однако попробуем предложить другое чтение.

8

Если оставить перевод Йосифона, как есть, он, как говорится по-английски, "doesn't make sense" – буквально "не делает смысла" (не знаю ни по-русски, ни на иврите столь точного выражения для данной ситуации). Почему обман брата Эйсав поставлен рядом с противостоянием ангелу в Бейт-Эле? Почему Всевышний "найдет его (Яакова) в Бейт-Эле"? И почему сразу после этого сказано: «А Господь – Бог Цеваот, Господь – имя Его»?

Чтобы разобраться в этом, вспомним историю. У пророка Ошеа речь идет о временах гораздо более поздних, чем эпоха праотцев, а именно о времени правления израильского царя Йеровама Второго, то есть о начале VIII века до н.э. Еще до этого, в X веке до н.э., Йеровам Первый поднял восстание против сына и наследника Шломо, Рехавама, которое привело к раздроблению единого еврейского царства на два, Израиль и Иудею. Чтобы ослабить зависимость своего царства от Иерусалима, Йеровам установил новые культовые центры: «Царь сделал двух золотых тельцов... И поставил одного в Бейт-Эле, а другого поместил в Дане» (I-я Книга Царств, 12:28-29). Очевидно, что в Северном царстве, то есть в Израиле начала складываться особая, отличавшаяся от иудейской идеология. Однако нам трудно о ней судить, потому что мы являемся наследниками тех, кто жили в Иудее. Об этой особой "северной" идеологии нам еще предстоит поговорить, а пока вернемся к пророку Ошеа.

Итак, снова мы видим упоминание о Бейт-Эле. Пророк критикует Иудею за связи с нееврейскими царствами, Ашуром и Египтом, поминая грехи отца Йегуды, Яакова, причем почему-то упомянуты "пути его" ("драхав") и его знаменитое приключение в Бейт-Эле. Уж не обращением ли к Эль Бейт-Элю попрекают его потомков? Ведь, очевидно, именно в этом обвиняет пророк Северное царство, столица которого, Шомрон, была осаждена ассирийским царем Сальманасаром Пятым и которому уже в конце IX века до н.э. предстояло быть захваченным ассирийцами во главе с Саргоном: «Вот что причинил вам Бейт-Эль из-за тяжкого зла вашего; на заре погиб царь Израиля» (10:15).

Если наше предположение верно, то все "неясности" текста проясняются: «Во чреве обманул он брата своего, а силою своей боролся с богом (*с Эль Бейт-Элем!*). Боролся он с ангелом (*он же Эль Бейт-Эль*) и превозмог; плакал тот и умолял его; в Бейт-Эле найдет он (*Яаков*) его (*Эль Бейт-Эля, кого же еще!*) и там будет говорить с ним.» Тогда становится ясной следующая фраза, иначе совершенно непонятная: «А Господь – Бог Цеваот (*Бог Воинств*), Господь – имя Его» (12:7), – очевидно, что здесь могущественный Всевышний противопоставляется слабому Эль Бейт-Элю (ведь он "плакал и умолял" смертного человека).

Упрекать за обращение к Бейт-Элю пророки не перестают и потом: во времена разрушения Первого Храма, то есть в VI веке до н.э., пророк Йермиягу, говоря о поражении Моава, тоже "поминает старое": «И посрамлен будет Моав Кемошем (моавское языческое божество), как был посрамлен дом Израилев Бейт-Элем, надеждою своею» (Йермиягу 48:13).

Итак, снова Бейт-Эль, а на самом деле – Эль Бейт-Эль. А про кого Ошеа говорит чуть выше: «За тельцов Бейт-Авена будут бояться жители Шомрона... И разрушены будут жертвенные возвышения Авена – грех Израиля» (10:5, 8)?

9

Культ Эль Бейт-Эля существовал в том районе, где позднее предстояло расцвести и погибнуть Израильскому царству, еще до прихода евреев в землю Кнаан. Йеровам Первый, желая ослабить зависимость своего царства от Иерусалимского Храма, установил «двух золотых тельцов... одного в Бейт-Эле, а другого поместил в Дане. И еще во времена пророка Ошеа, то есть в начале VIII века до н.э., когда Израильское царство уже давно было завоевано ассирийцами, этот культы или его следы продолжал оказывать пагубное влияние на евреев, на этот раз уже на жителей Иудеи, – иначе зачем пророк стал бы упрекать за него!

Очевидно, что культ Эль Бейт-Эля в какой-то мере восприняли и завоеватели Израильского царства – ассирийцы. Его имя упоминается в договоре ассирийского царя Асархаддона с царем Тира Баалем. Напомним, что Асархаддон был сыном Санхерива, того самого Санхерива, который в начале VII века до н.э. предпринял осаду Иерусалима.

Впрочем, усвоение победителями культа побежденных – явление достаточно распространенное. Взять хотя бы греческого Аполлона, относительно происхождения культа которого какие только догадки не выдвигались, пока не был расшифрован договор между хеттским царем Муватталли Вторым и царем Вилусы Александу (середина II тысячелетия до н.э.). В этом договоре среди богов-покровителей Вилусы упоминается некто, чье имя содержит элемент "Апольюна" (имя сохранилось не полностью – возможно, у него была какая-то приставка или начальный элемент). При чем тут греки, спросите вы? Греки пока действительно непричем, а вот Вилуса – это, между нами говоря, гомеровский Илион (то есть Троя!), а Александу – негреческий вариант написания имени Александра-Париса, злополучного похитителя Елены Прекрасной. Итак, Мистер X – Апольюна, он же Аполлон, был троянским божеством. Не случайно и у Гомера он описывается как покровитель троянцев. А греки (разумеется, не общегреческое ополчение, как то описывается у Гомера, а жители ахейского царства, столица которого была на Родосе), разрушив в XIII веке до н.э. Трою, не удовлетворились легендарными сокровищами Приама и унесли с собой еще и культ Аполлона. А римляне, те вообще заимствовали подряд культы почти всех стран, которые завоевывали, – начиная с египетской Изиды и иранского Митры и кончая... сами знаете кем, из наших краев. Культ которого впоследствии и победил в Римской империи.

Однако вернемся к упрекам пророка Ошеа. Про Эль Бейт-Эля мы уже как будто все поняли, а вот что имеет в виду пророк, когда говорит следующее: «За тельцов Бейт-Авена будут бояться жители Шомрона... И разрушены будут жертвенные

возвышения Авена – грех Израиля» (10:5, 8)? Неужели мы нигде еще не встречали этого Бейт-Авена (имя которого означает "Дом Зла")? Кто же это такой?

Встречали, причем уже в Книге Берешит. Помните приключение Якова в Лузе, который он называет Бейт-Элем? «И взял из камней того места, и положил себе изголовьем... И встал Яков рано утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником; и возлил елей на верх его» (Берешит 28:11, 18). Самое интересное предложение в этой истории нам придется привести на иврите: «וַיִּשָּׂא אֶת-הַכֶּהָן הַזֶּה לְבֵית-אֱלֹהִים» («А камень этот, который я поставил памятником, будет домом Бога...»; 28:22).

10

Мы "вычислили" того, кто фигурировал в протопсалме на месте "бога Якова" в еврейском варианте и Хора – в египетском. Им оказался Эль Бейт-Эль. Но сама "личность" как была загадочной, так и осталась, – мы узнали только, что его культ существовал в Бейт-Эле и что он, видимо, покровительствовал путешественникам.

Таинственные слова пророка Ошеа проливают на все это некоторый свет: «За тельцов Бейт-Авена будут бояться жители Шомрона... И разрушены будут жертвенные возвышения Авена – грех Израиля» (10:5, 8). Что это за "Бейт-Авен"? И что это у него за тельцы?

Слово "און" означает "зло", или "беда". Может быть, речь идет о персонификации Зла, – что-то вроде греческого бога смерти Таната ("танатос" по-гречески и значит "смерть") или богини зари Эос ("эос" по-гречески "заря"). Вряд ли, для семитской мифологии это нехарактерно. Значит, это прозвище, причем прозвище, данное "врагами" данного божества, своего рода какофемизм. Какофемизм (букв. "плохоговорение", греч.) – это замена неудобопроизносимого имени еще более гадким эпитетом, – например, когда, чтобышний раз не поминать Сталина, говорят просто "усатая сволочь" (в отличие от эвфемизма, "благоговорения", когда вместо табуированного слова – например, "черт", – произносится более "мягкое" слово "лукавый"). Что же это за господин Зло?

Попробуем за него взяться с фонетической стороны. Почему его называли именно "Авен"? Ведь в иврите существует множество слов для обозначения зла: и "רע", и "רָעָה" или "רָעָה", и

"לֹאֵךְ" ... Может быть, только на основании самого имени мы бы и не догадались, но контекст!

Вернемся к истории с Яаковом в Бейт-Эле: «И взял из камней того места, и положил себе изголовьем... И встал Яаков рано утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником; и возлил елей на верх его... А камень этот, который я поставил памятником, будет домом Бога...» (Берешит 28:11, 18, 22). Все "камень" да "камень"... А ведь слово "בֶּרֶךְ" в конце предложения в танахическом иврите звучит как "בֶּרֶךְ"! Вот вам и "Бейт-Авен"! Так что это выражение у пророка Ошеа означает не просто "Дом Зла" (то есть нехорошего языческого божества). Его "בֶּרֶךְ" намекает на "בֶּרֶךְ" как на еще одну примету культа... того же Эля Бейт-Эля.

То, что с камнем в Бейт-Эле все было непросто уже у Яакова, явствует из самого библейского рассказа. Слишком уж странная история с этим камнем или камнями. Начнем с простого вопроса: сколько камней Яаков положил себе в изголовье? Согласно агаде, когда Яаков хотел взять один "из камней того места" (28:11), все камни стали спорить за эту честь, и тогда Всевышний соединил их в один камень, который Яаков и "положил себе изголовьем" (28:18). Но это агада. Сам текст вызывает не меньше вопросов. Зачем это Яаков "возлил елей на верх его"? Да еще объявил "домом Бога"?

Тут необходимо добавить, что вплоть до эллинистической эпохи были известны так называемые "камни Бейт-Эля", которые использовались в качестве объектов поклонения.

Итак, (Эль) Бейт-Авен – это тот же Эль Бейт-Эль. Теперь понятно, о каких "тельцах Бейт-Авена" говорит Ошеа.

11

Первый, точнее, вступительный стих еврейского псалма не оставляет места для сомнений: "לְמַנְצֵחַ מְזֻמָּר לְדָוִד" ("Руководителю (хора или музыкантов). Псалом о Давиде"). Вначале – техническое указание к исполнению псалма, дальше – привязка абстрактной жалобы находящегося в затруднительных обстоятельствах человека к истории Давида и Авшалома. Естественно, в египетском псалме параллели этой строке нет.

О втором стихе мы говорили уже довольно много: там находится часто встречающаяся формула, включающая глагол "פָּנָה" ("отвечать"), там же, очевидно, находился исчезнувший Эль Бейт-Эль, которого мы "вычислили" благодаря присутствию "имени Бога Яакова" в еврейском псалме и отчасти благодаря присутствию Хора в египетском.

С третьей строкой все не так сложно, как со второй, однако стоит разобраться и с ней.

Вспомним третий стих египетского псалма:

שלך צירך מן אגר ארש ומן צפון חור יסעדנו

«Послал посланца твоего из святилища Эреша, и с севера Хор поможет нам».

А в Теилим 20:3 написано следующее:

ישלח עזרך מקודש ומציון יסעדך

«Он пошлет тебе помощь из святилища и с Сиона поддержит тебя».

Очевидно, что тексты поразительно похожи, однако очевидно и то, что они во многом отличаются.

Форму танахических стихов определяют как "библейский параллелизм". Ни размера, ни рифмы у них не было, зато были параллельные конструкции, например: «Польется, как дождь, учение мое, // закаплет, как роса, слово мое» (Дварим 32:2); конструкция тут "сказуемое – сравнение в роли обстоятельства – подлежащее". Иногда конструкция может появляться в форме хиазма, то есть, например, в первой части конструкция будет построена как "сказуемое – подлежащее", а во второй – "подлежащее – сказуемое": «Не притеснит его враг, // и злодей не будет мучить его» (Теилим 89:23). В нашем псалме присутствует как раз хиастическая конструкция: "действие – обстоятельство места // обстоятельство места – действие". У египтян обстоятельство места – это "святилище Эреша" и "с севера", у евреев – "святилище" и "Сион". Слово "אגר" происходит от аккадского "екурру" и означает "святилище", точно так же, как в данном случае – еврейское "קדש". Между прочим, храм евреев египетского Йева (Элефантины) в их собственных документах называется "Агура". Эреш – это не божество, а географическое название, – город, в котором находился храм Мара, также фигурирующего в псалме.

12

А откуда взялись непонятный "север" (да и "север" ли это?) и стоящий на его месте в еврейском псалме вполне понятный нам "Сион"?

О ком идет речь? Действующее лицо в еврейском стихе не упоминается вообще, а в египетском, в нарушение построения стиха, появляется в его второй половине ("с севера Хор поможет

нам"). В любом случае, действующее лицо остается тем же, что и в предыдущем стихе, Хор у египтян и Всевышний – у евреев.

Слово "אֱלֹהִים", как мы выяснили, и есть "עֲשֵׂה", то есть "святилище", только по-арамейски (из аккадского). А вот почему божество у египтян посылает из святилища некого "посланца" ("צִיר"), а у евреев – абстрактную "помощь" ("עֹז"), и какой из двух вариантов был в протопсалме?

Напомним, что "צִיר" ("посланец") – это то же самое, что "מַלְאָךְ" (первоначально также "посланец", впоследствии "ангел", то есть "посланец Всевышнего"). Рядом эти слова фигурируют в начале 18-й главы Книги пророка Йешаягу: «О земля шумнокрылая, что за реками Куша, Посылающая посланцев ("צִירִים") по морю и в судах папирусных – по водам! Идите, легкие посланцы ("מַלְאָכִים"), к народу рослому и безбородому...» (18:1-3). Итак, речь идет об ангеле. В наших приключениях с Элем Бейт-Элем мы неоднократно сталкивались с ангелом. На ассоциирующегося с ним ангела намекает пророк Хошеа: «Боролся он с ангелом ("וְיִשָּׁר עַל מַלְאָךְ") и превозмог; плакал тот и умолял его; в Бейт-Эле найдет Он его и там будет говорить с ним. А Господь – Бог Цеваот, Господь – имя Его» (5-7). Очевидно, что Ошеа противопоставляет Всевышнего "ангелу". Такая "антиангельская" тенденция прослеживается уже в Книге Дварим. Например, если в Шемот сказано: «И Я пошлю пред тобою ангела ("וְאֶנְשֵׁי מַלְאָךְ"), и прогоню хананейцев...» (Шемот 33:2), то в Дварим подчеркивается: «Не бойтесь их, ибо Господь, Бог ваш, Сам сражается за вас» (Дварим 7:18). Другой пример. Пророчество евреев в Египте в Книге Бемидбар говорится так: «И воззвали мы к Господу, и услышал Он голос наш, и послал посланца ("וְאֶנְשֵׁי מַלְאָךְ"), и вывел нас из Египта» (Бемидбар 20:16). А в Книге Дварим – так: «И возопили мы к Господу... и услышал Господь голос наш... И вывел нас Господь из Египта рукою сильною и мышцею простертою, и страхом великим, и знамениями, и чудесами» (Дварим 26:7-8).

Что же было в первоначальном варианте? Появление "помощи" вместо "посланца" в еврейском псалме выглядит настолько "идеологически выдержанным", что не даже не оставляет сомнений, – в протопсалме был как раз "посланец" ("צִיר").

13

Прежде, чем продолжить, приведем интересный пример того, как знание "идеологии персонажей" с одной стороны и сравнение с Септуагинтой с другой дали исследователям

возможность истолковать трудное место и даже поправить по каким-то причинам искаженный текст.

В еврейском псалме божество-покровитель посылает герою "помощь", в отличие от египетского, где к нему посылается "посланец" ("ангел" и есть по-гречески "посланец"). Моше Вайнфельд в своей книге "Deuteronomy and the Deuteronomistic School" ("Книга Дварим и деутерономическая школа", Оксфорд, 1972) показывает, что "антиангельская" тенденция оформилась в Иерусалиме в период реформ царей Хизкиягу и Йешаягу.

В Книге пророка Йешаягу при описании мести Всевышнего за народ Израиля читаем следующее: «И смотрел Я – и не было помощника, и удивился Я – и не было поддерживающего, и помогла Мне мышца Моя, и ярость Моя укрепила Меня... И сказал Он: но они народ Мой, сыновья, которые не изменят, и был Он для них спасителем. В каждой беде их Он сострадал (*им*), и ангел лица Его спасал их, в любви Своей и милосердии Своем Он избавлял их, и носил их, и возвышал во все былые времена» (Йешаягу 63:5-6, 8-9). Все вроде бы соответствует общей идее, кроме непонятно откуда появляющегося "ангела лица Его". Ведь на протяжении всего отрывка Всевышний (устами пророка) подчеркивает, что Он Сам спасал еврейский народ и Сам мстил его врагам, – «и не было помощника, ...и не было поддерживающего»! Да и что это за "ангел лица"?

Чтобы ответить на этот вопрос, прочтем текст на иврите:
 בכל צרתם לא צר ומלאך פניו הושיעם באהבתו ובחמלתו הוא גאלם וינטלם וישאם
 כל ימי עולם (9).

Эта фраза, очевидно, могла вызвать недоумение не только у нас или библейских критиков, но и у древнейших комментаторов. Что-то тут не так. Третье слово фразы – "לא" – написано через "алеф", то есть как "нет". А это явно "не делает смысла" – получается «в каждой беде их Он не сострадал». Древнейшие комментаторы-масореты, видимо, меньше нас ломавшие голову над идеологическими трудностями, справились с проблемой, поставив над "алефом" в слове "לא" кружок, означающий аннулирование. Таким образом, вместо "לא" ("нет") получилось "לו" ("ему"), а выражение "בכל צרתם לו" стало пониматься как "в каждой беде их Он сострадал". И все равно получается как-то неуклюже. Можно понять сочетание "לו צר" в значении возвратного глагола, что-то вроде "לך לך" ("иди (себе)") или "אלך" ("я пойду себе"). Но тогда скорее было бы сказано "צר לו", а не "לו צר"...

Пророка Йешаягу трудно заподозрить в стилистической небрежности, так что текст явно испорчен. Как узнать, что было на самом деле? Ведь все тексты, находящиеся в нашем

распоряжении, сделаны согласно рукописной традиции – "масоре", а масореты, судя по кружку над буквой "алеф", уже располагали испорченным вариантом. Таким же вариантом располагал автор арамейского перевода Онкелос, который, не "отменяя" букву "алеф", толкует текст таким образом: «Во всякое время, когда они заслуживали, Всевышний не угнетал их...» На этом же основано изящное толкование Раши: בכל צרתם – «В каждой беде их, которую Он привел на них, "לא צר עליהם" – "не притеснял их" так, как они заслуживали». Толкование действительно остроумное и, на первый взгляд, снимает проблему текста. Но что же с "ангелом лица"? Раши объясняет, что это Михаэль, "שר הפנים" (то есть буквально "министр внутренних дел") Всевышнего, всегда находящийся "לפניו" (перед Ним) и выполняющий Его поручения. Но почему пророк Йешаягу вдруг заговорил про этого "министра", более нигде не упоминающегося?

14

В подобных случаях обычно обращаются к текстам, на которых более древний вариант нашего мог оставить след. Это или цитаты (таковые неизвестны), или... перевод самого текста, сделанный раньше, чем оформилась "масора". В нашем случае такой перевод существует. Это Септуагинта, перевод Семидесяти толковников, сделанный еще в 3 веке до н.э.

Внимательно прочитав соответствующий отрывок из Септуагинты, мы понимаем, что проблема всего-навсего в том, что вместо "צר" (будь то "страдал" или, наоборот, "притеснял") нужно читать "ציר" ("посланец", "ангел"). Потому что именно это слово встречается в греческом тексте.

Тогда что же означает "מלאך פניו"? А ничего не означает. Нет такого словосочетания в тексте. Потому что между этими словами... нужно поставить какой-то знак препинания, чтобы было видно, что слово "מלאך" сочетается с предыдущим словом, а слово "פניו" – со следующим. А что это такое?

В Танахе слово "פנים" (букв. "лицо") несколько раз употребляется в значении "сам", например, в качестве персонификации Всевышнего: «И сказал Он: Сам Я ("פני") пойду, дабы успокоить тебя. И сказал тот (*Моше*) Ему: если не пойдешь Сам ("אם אין פניך הולכים")», то и не выводи нас отсюда» (Шемот 33:14-15); или по отношению к человеку: «Советовал бы я... самому тебе идти в сражение ("ופניך הולכים בקרב")» (Шмуэль, Книга II, 17:11). Любопытно, что это же слово употребляется в одной из деклараций "антиангельской" идеологии: «И так как Он возлюбил отцов твоих и избрал Он потомство их после них, то и вывел тебя Сам ("בפני") великою Своею силою из Египта» (Дварим 4:37). И здесь, и в разбиравшемся нами стихе Йешаягу Септуагинта переводит слово "פניו" как "аутос" – "Сам".

Окончательно понять "вычисленный" через Септуагинту текст нам поможет, как и следовало ожидать (во всяком случае, от автора этих строк), ни что иное, как анализ поэтической структуры фразы. Потому что, подставив "правильное" слово "צִיר" вместо "неправильного" "צַר", мы получаем фразу, содержащую уже упоминавшийся поэтический прием, – библейский параллелизм, разве что чуть более усложненный. Итак, давайте расставим условные знаки препинания:

בְּכָל צָרָתָם לֹא צִיר וּמֹלָךְ, בְּנֵי הַשָּׁמַיִם, בְּאַהֲבָתוֹ וּבְחַמְלָתוֹ הוּא גָאֹל, וַיִּנָּטֵל וַיִּשָּׂאֵם כָּל יְמֵי עוֹלָם

«В каждой беде их не ангел и не посланец – Он Сам спасал их, в любви Своей и милосердии Своем Он избавлял их, и носил их, и возвышал во все былые времена». Наконец-то соблюдены и стиль, и идеология.

15

Чтобы более полно идентифицировать составителей протопсалма, нам придется до конца разобраться с его пресловутой третьей строкой. Мы уже выяснили, что еврейский редактор текста изменил "посланца из святилища Эрэша" на "помощь из святилища". Почему вместо "посланца" у евреев появляется "помощь", мы тоже выяснили, – танахическая литература чем позже, тем меньше обращается к образам ангелов и других "помощников" Всевышнего, в чем нетрудно усмотреть результат развития философии монотеизма, а также усиления борьбы с соседними, немонотеистическими, идеологиями. Почему "святилище Эрэша" превращается просто в святилище, тоже понятно, – в святилище Эрэша поклонялись семитскому богу Мару (который упоминается в египетском псалме).

Далее у египтян говорится: "וּמִן צָפוֹן חֹר יִסְעֲדֵנוּ" ("и с севера Хор поможет нам"), а у евреев: "וּמִצִּיּוֹן יִסְתַּדֵּךְ" ("и с Сиона поддержит тебя"). С точки зрения построения стиха более правильной выглядит еврейская версия, так как в египетской имя

Хора появляется в нарушение так называемого "танахического параллелизма". К тому же Хор – египетское божество, и его имя, скорее всего, попало в псалом уже в Египте. Зато присутствие в протопсалме Сиона в качестве места ниспослания божественной помощи маловероятно, – в качестве главной святыни Сион фигурирует, насколько мне известно, только у евреев. Значит, вероятно, что в протопсалме было слово "צָפוֹן".

До этого момента мы переводили это слово как "север": «с севера Хор поможет нам». Но "север" ли это? Буквально, конечно, "север". Если писать это на название со строчной буквы. Но ведь в семитском письме нет заглавных и строчных букв. Зато в русском они есть. И именно с заглавной буквы следует писать по-русски слово "Цафон". А ожидаемую помощь Хора "וּמִן צָפוֹן" (букв. "с Севера") следует понимать скорее как "помощь с Цафона" (поскольку географические названия обычно

оставляют без перевода). Имеется в виду гора Цафон, располагавшаяся в 30 км. от ханаанского города в северной Финикии Угарита). В позднейших классических источниках эта гора стала называться "Монс Касиус" – "гора Касий". В святость этой горы верили язычники Сирии и будущей Эрец Исраэль. Более того, точно известно, что "лица, причастные" если не к обработке, то к распространению египетского псалма, тоже помнили об этом древнем святилище. Кто мог нам об этом рассказать? Да сам папирус Амхерст 63, который содержит 23 колонки различных религиозных текстов. Так вот, в одном из них встречается следующая фраза: «Да благословит тебя Бааль с Цафона (*то есть с горы Цафон*)». Следы почитания горы Цафон можно найти даже в Танахе.

16

Угарит (современная Рас-Шамра в Сирии) был одним из главных городов Финикии (самоназвание – Ханаан, или Кнаан; кстати, и самоназвание страны, и ее греческое название означают "страна пурпура"). Считается, что наибольшего расцвета Угарит достиг во второй половине третьего тысячелетия до н.э., а был разрушен в конце 12 века до н.э. (примерно в тот же период, что гомеровская, так называемая "седьмая" Троя).

Соотношение названия "Цафон" и имени "Бааль Цафон" далеко не так однозначно, как кажется на первый взгляд. С одной стороны, сама гора иногда называется "Бааль Цафон" (в форме "Балисапуна") – правда, только в документах ассирийских царей Тиглат-Паласара Третьего и Саргона Второго. А с другой стороны, в некоторых угаритских текстах Бааль, Бааль Цафон и божок по имени Ц-ф-н (то есть тот же Цафон) фигурируют одновременно, как если бы речь шла о разных богах. Впрочем, в первом случае можно сделать скидку на неточность сведений у чужеземцев, в роли которых в данном случае выступают ассирийцы, а во втором – на своеобразную "перестраховку" не очень сведущего в теологии составителя текста, который, возможно, на всякий случай упоминает всех своих богов и даже все варианты написания их имен, "чтобы никого не обидеть".

Угаритский миф, связывающий Бааля с горой Цафон, вкратце таков: верховное божество Бааль обитал на Цафоне и всегда возвращался туда после "инспекционных поездок" в другие места, построил там дворец из золотых кирпичей, а когда бог смерти и опустошения Мот (корень "л-л-м", то есть "лм") временно победил его, богиня Анат должна была похоронить тело Бааля именно на горе Цафон и таким образом обеспечить возможность его воскресения.

В святость горы Цафон верили не только ханаанцы. Под именем "Хази" эта гора упоминается в хеттской мифологии. От хеттского же названия произошло греческое – Касион, а от него латинское – Касиус. В рамках синкретического культа

эллинизированные жители Сирии продолжали почитать своего Бааля под именем Зевса Касия.

В общем, культ Бааля, или Бааль-Цафона имел широкое распространение, что не могло не отразиться в Танахе. Поэтому, хотя слово "цафон" чаще всего упоминается там в значении "север", иногда оно значит и "Цафон", причем переводчики это не всегда замечают. Возьмем, например, один стих из Теилим: *צפון וימין אלה בראם, צבור וחרמון בשמך ירנו* (Теилим 89:13). Давид Йосифон переводит это следующим образом: «Север и юг – Ты создал их, Тавор и Хермон радуются Имени Твоему». Верен ли этот перевод? Призовем на помощь уже не раз выручавший нас танахический параллелизм. Первый элемент первой половины предложения – "север и юг" – должен быть параллелен первому элементу второй половины – "Тавор и Хермон". Но разве они параллельны? "Север" и "юг" – абстрактные понятия, в то время как Тавор и Хермон – совершенно определенные географические названия. Смысловой параллели такая конструкция не образует. Однако, если предположить, что "Цафон" и "Йамин" следует не переводить, а только транслитерировать, то есть понять как географические названия, проблема снимается. Для полного понимания текста необходимо вспомнить, что на горах Цафон, Йамин, Тавор и Хермон существовали языческие культы, с которыми и полемизирует автор псалма, утверждая, что все они подчиняются Всевышнему: «Цафон и Йамин – Ты создал их, Тавор и Хермон радуются Имени Твоему».

Итак, Цафон в Танахе. Если в 89-ом псалме в исправленном нами переводе содержится скрытая полемика с представлением о самостоятельном величии этой горы, то в другом, наоборот, это представление отражается, хотя и косвенно, с положительной стороны:

יפה נוף, משוש כל הארץ הר ציון, ירכתי צפון קרית מלך רב.

В переводе Йосифона мы читаем: «Прекрасна высота, радость всей земли, гора Цион, на краю северной (стороны) – город Царя Великого». Привычный глаз без труда узнает в этом предложении танахический параллелизм в форме хиазма: «Прекрасна высота, радость всей земли» параллельно выражению "город царя Великого", а "гора Цион" – "краю северной (стороны)". Что за "край северной (стороны)"? Над этим выражением даже голову ломать не нужно – нет такого в тексте. Зато есть "ירכתי צפון" – "склоны горы Цафон". Правда, в данном случае автор псалма не имеет в виду настоящую гору Цафон, а использует ее название метафорически, в качестве обозначения святилища вообще, – так же как мы с вами, говоря о всем известном месте паломничества, сказали бы, наверное, "Мекка". Например, в репортаже об отпуске семейства Нетаниягу: «Прекрасны источники твои, радость всей земли, Хамат Гадер, Мекка они даже для премьер-министра.»

Мы уже говорили, что, согласно угаритскому мифу, Бааль построил себе на горе Цафон дворец из золотых кирпичей. И где, как вы думаете, можно обнаружить отблеск этих кирпичей? Где угодно, только не в Книге Йова, не правда ли? А вот и нет: «תָּרַם זֶה אֵלֶיךָ, עַל אֱלֹהֵי נֹרָא הָיָה» («С горы Цафон придет золотое сияние, грозно великолепие Бога»). Здесь, как и в разобранный выше стихе Теилим 89:13, название горы Цафон использовано метафорически. Более того, можно заметить, что и автор псалма, и составитель Книги Йова обращаются к сопоставлению живописной метафоры "языческого" происхождения и более отвлеченного, но зато и более "идеологически сильного" еврейского монотеистического утверждения: в одном случае "гора Цафон" как место пребывания божества называется "городом Царя Великого" и сопоставляется с более абстрактной "прекрасной высотой, радостью всей земли" горой Цион, а во втором – сияние мифического "золота" Бааль-Цафона подчеркивает доступное только внутреннему постижению "грозное великолепие Бога".

Кстати, о связи золота с Севером говорит почему-то и Геродот (История 3:116). У него речь идет, правда, о севере Европы, но, поскольку в качестве обитателей "золотоносных" мест он называет "грифов и одноглазых людей аримаспов", трудно сказать, где это находится на самом деле.

18

В 37-ой главе Книги Йова мы видели Цафон в качестве метафорического обозначения места пребывания Бога: «С горы Цафон придет золотое сияние, грозно великолепие Бога» (Йов 37:22). В 26-ой – составитель употребляет это название в качестве метафоры... самого неба:

נוֹטָה צֶפֶן עַל תּוֹחַ, תּוֹלָה אֶרֶץ עַל בְּלִימָה («Он простер Цафон над пустотой, землю подвесил ни на чем.»; Йов 26:7). Откуда мы знаем, что слово "Цафон" здесь означает именно небо? Этому можно привести целых два доказательства, лексическое и поэтическое. Лексическое: глагол "נוֹטָה" неоднократно употребляется в Танахе в качестве обозначения "простираания" небес, – например, в Книге Йешаягу: «כֹּה אָמַר הָאֱלֹהִים ה' בֹּרָא הַשָּׁמַיִם» («Так сказал Бог Господь, сотворивший небеса и распростерший их...»; Йешаягу 42:5). А вот и поэтическое: в соответствии со структурой стиха, "Цафон" параллелен "земле". А это может быть или сопоставление, или противопоставление. В данном случае скорее противопоставление, так как только тогда смысл стиха расширяется до нужных автору границ: могущество Всевышнего столь велико, что Он и небо "простирает над пустотой", и землю "подвешивает ни на чем". Появлению такой метафоры удивляться не приходится – употребляли же древние греки название горы Олимп в качестве обозначения небес, то есть места обитания богов... Нужно ли говорить, что в обычном

переводе вместо "Цафон" сказано "север", отчего смысл метафоры совершенно теряется...

В более поздних текстах, например, у пророков, начиная с Йермиягу, слово "цафон" уже обозначает просто "север". Ну, честно говоря, все-таки не совсем просто. Дело в том, что с северной стороной ассоциировалась угроза. Это было связано как с географическим положением Израиля и Иудеи (которым с севера угрожала Ассирия, а то и скифы!), так и с первоначальными языческими представлениями о северной стороне как о месте обитания демонов (это потом там появился Бааль!). Второе, кстати, отражается у пророка Йермиягу: «И Он простер очертание руки, и взял меня за пряди (волос) головы моей, и поднял меня дух между небом и землей, и принес меня в видениях Божьих в Иерусалим, ко входу внутренних ворот, обращенных к северу, где место идола ревности, возбуждающего ревность... И сказал мне: «Сын человеческий! Подними глаза твои к северу. И я поднял глаза мои к северу, и вот, к северу от ворот жертвенника – идол ревности этот при входе... И привел меня ко входу во врата дома Господня, которые к северу, и вот там сидят женщины, оплакивающие Таммуза...» (Йермиягу 8:3, 5, 14).

Итак, физическая угроза с севера имела оттенок страха перед "северной чертовщиной", а с другой – характер наказания со стороны Всевышнего за различные грехи, и в первую очередь за идолопоклонство. Однако раз наказание приходит с севера, избавление тоже связано с севером: «В те дни пойдут в дом Йегуды с домом Израиля, и придут вместе из земли северной в землю, которую Я дал в наследие отцам вашим» (Йермиягу 3:18, и др.); «Скажу северу: "Отдай!" и югу: "Не удерживай!"» (Йермиягу 43:6); «Ой, ой, бегите из страны северной, – слово Господа, – ибо, как четыре стороны неба, рассеял Я вас, – слово Господа» (Захария 2:10).

Вы, наверное, удивились, услышав про скифскую угрозу нашим Палестинам. Не удивляйтесь. Вот что по этому поводу пишет Геродот: «Скифы вытеснили киммерийцев из Европы и преследовали их в Азии... Затем скифы пошли на Египет. На пути туда в Сирии Палестинской (!) скифов встретил Псамметих, египетский царь, с дарами и просьбами склонил не идти дальше. Возвращаясь назад, скифы прибыли в сирийский город Аскалон (он же Ашкелон). Большая часть скифского войска прошла мимо, не причинив городу вреда, и только несколько отсталых воинов разграбили святилище Афродиты Урании (то есть Астарты)... 28 лет владычествовали скифы в Азии, и своей наглостью и бесчинством привели там все в полное расстройство.» (Геродот кн. 1, 103-105).

19

Где и кем был создан общий источник еврейского псалма и его египетской параллели? Как один из вариантов псалма попал в Иерусалим, а другой – в Египет? Когда это произошло? Эта тройная задача является своего рода уравниванием, в котором главное неизвестное – место создания первоначального текста. Попробуем его "вычислить".

Но сначала выясним вопрос об авторстве протопсалма. Что остается, если убрать из еврейского псалма чисто иудейские элементы ("иудейские" от слова "Иудея", а не от слова "иудаизм"), а из египетского – египетские? Останутся: прежде всего, Эль Бейт-Эль (восстановленный нами Теилим 20:2 и последний стих египетского псалма), святилище Эреша и Цафон (египетский псалом: «Послал посланца твоего из святилища Эреша, и с севера Хор поможет нам», в еврейском варианте Цафон, естественно, заменен на "Цион", однако уже не трудно догадаться, что было в первоначальном варианте), Бааль-Шамин, Мар. Все это "реалии", если так можно выразиться по отношению к языческим божкам, кнаанейские (в традиционной русской транслитерации "ханаанские"). Итак, источником и еврейского, и египетского псалмов почти без сомнения является кнаанейский текст.

Но где же он был создан? Ведь кнаанейцы, они же финикийцы, жили на достаточно обширной территории.

Итак, уравнивание. В период создания еврейских псалмов в Иудее оказывается один из вариантов кнаанейского протопсалма, который здесь и обрабатывается в соответствии с так называемой "деуторономической" тенденцией. А в Египте, неизвестно когда, но, возможно, гораздо позже (папирус датируется 2-м веком до н.э., хотя находящиеся в нем тексты, разумеется, старше), оказывается тот же протопсалом или его вариант, впрочем, достаточно близкий к еврейскому, который приобретает некоторые "туземные" черты (например, упоминания египетского Хора). Чтобы не переусложнять задачу, предположим, что еврейский вариант псалма "импортировали" евреи, а языческий – язычники. Итак, в некоем месте, каким-то образом связанным с кнаанейцами, жили-были евреи, которые позднее оказались в Иудее, и язычники, которые позднее оказались в Египте. Причем там, где они сначала жили, между ними, очевидно, были культурные контакты – иначе как бы у них оказались "общие песни"? Известно ли такое место?

Да, прекрасно известно. Это – северный Израиль. По-другому эта территория называется Шомрон (Самария), хотя первоначально Шомроном называлась только ее столица, основанная израильским царем Омри (первая половина 9-го века до н.э.). До Шомрона столицами Израиля были Шхем и Тирца, но Шомрон – единственная столица, рассказ об основании

которой сохранился в Танахе. Отдельные моменты этого рассказа понадобятся нам в дальнейшем, поэтому приведем его полностью: «В тридцать первый год царствования Асы, царя Иудейского, стал царем над Израилем Омри и царствовал двенадцать лет. В Тирце он царствовал шесть лет. И купил он у Шемера гору Шомрон за два таланта серебра, и застроил эту гору, и назвал город, который он построил, Шомроном, по имени Шемера, владельца горы. И делал Омри злое в очах Господа, и поступал хуже всех, кто был до него: он во всем следовал пути Йеровама, сына Невата, и греху его, которым тот ввел в грех Израиль, гневя Господа, Бога Израилева, своими суетными идолами. А остальные дела Омри, которые он совершил, и мужество его, которое он проявил, описаны в Книге летописи царей Израилевых. И почил Омри с отцами своими, и погребен был в Шомроне.» (1-ая Книга Царств 16:23-28).

20

Что же "злого" сделал Омри, и почему в иудейской летописи, несмотря на это, говорится про его "мужество"? И зачем он перенес столицу Северного царства из обустроенной Тирцы (современный Тель аль-Фара) на пустое место на горе Шомрон?

Ну, во-первых, это место не было таким уж пустым. Несомненные археологические данные показывают, что на месте столицы Шомрона уже в десятом веке существовало еврейское поселение. Кроме того, один из крупнейших ученых, занимавшихся в первой половине 20-го века историей Израиля, А.Альт считал, что на месте Шомрона была древняя столица одного из маленьких ханаанских государств, и что Омри именно поэтому решил перенести туда свою столицу, чтобы как бы воспользоваться "авторитетом" предыдущей. Правда, мнение Альта подвергается сомнению со стороны других ученых, но, прав он или нет, ясно одно: основание новой столицы представляет выгодное мероприятие для нового правителя, получающего таким образом в свое распоряжение город, свободный от завязавшихся на старом месте "узлов", в данном случае, противоречий между десятью коленами Израиля. Кроме того, население и администрация новой столицы, будучи оторваны от своих корней, в гораздо большей степени зависят от правителя. Не одна столица была основана с этой целью – в том числе Иерусалим и Санкт-Петербург. Кстати, вы заметили, что землю для Шомрона Омри покупает за деньги, как и Давид – место для Храма (2-я Книга Шмуэля 24:21-24). То, что царь покупает у своего подданного землю, а не просто "просит освободить" подходящий участок, свидетельствует не только о "соблюдении прав человека" на территории древних еврейских царств, но и, возможно, о каком-то древнем ближневосточном обычае: сохранились сведения, что и могущественный и отнюдь

не "демократичный" ассирийский царь Саргон Второй землю для своей столицы Дур-Шарукен именно купил. Население новой столицы составили в основном жители предыдущей, то есть Тирцы: судя по археологическим данным, ее население именно в начале 9-го века значительно уменьшилось. Это не удивительно: наверняка, немало жителей столицы так или иначе были связаны с царским двором и поэтому должны были перебраться на новое место вместе с ним. Остались, очевидно, только те, кто жил обработкой земли вокруг города.

Вторая причина переноса столицы в Шомрон заключается в том, что этот город располагался на торговых путях к финикийскому побережью, особенно к Тиру (на иврите Цур), дипломатической близости с которым добивался Омри. Дополнительным аргументом, возможно, была большая удаленность Шомрона от арамейской угрозы с востока.

Итак, почему, несмотря на "мужество его, которое он проявил", иудейский летописец так осуждает царя Омри? Именно за то, что он открыл свое государство для "разлагающего влияния западной культуры" – сказали бы мы в наше время, а тогда, конечно, нужно было сказать "северной культуры" (то есть канаанской). А почему все-таки упоминается его "мужество"? К сожалению, неизвестно. Кроме подавления заговора заведующего колесницами предыдущего израильского царя Элы, Зимри, никаких хороших дел Омри в Книге Царств не упоминается. Это и не удивительно: ведь Книга Царств – это иудейская хроника, а иудейские хронисты всегда рассматривали израильских царей очень критически, особенно тех царей, которые подверглись влиянию идолопоклонства. Так что Омри, очевидно, что-то хорошее сделал, так что совсем этого не упомянуть хронист не мог, но и рассказывать подробности не считал нужным.

Кстати, позднейшие комментаторы, также заметившие противоречие в тексте хроники, говорят, что Омри "помянут добрым словом" только за то, что построил "עיר בשרלל" – "город в Израиле".

21

Итак, мы находимся на "родине" источника двадцатого псалма – в Шомроне. Время расцвета Шомрона приходится на царствование сына его основателя Омри, – печально известного Ахава. «И почил Омри с отцами своими, и погребен был в Шомроне. И стал царем вместо него Ахав, сын его... И делал Ахав, сын Омри, злое в очах Господа более всех, кто был до него. Мало было ему следовать грехам Йеровама, сына Невата: он взял себе в жены Изевель, дочь Этбаала, царя сидонян, и пошел (в Сидон) и стал служить Баалу и поклоняться ему. И поставил он жертвенник Баалу в капище Баала, которое построил в Шомроне. И сделал Ахав Ашеру (идол), и Ахав делал то, что

гневило Господа, больше, чем все цари Израилевы, которые были до него» (1-я Книга Царств, 16:28-33), – все это говорит об еще большем "увлечении" языческой северной культурой, чем то, которым отличался Омри.

Во времена Ахава культ Баала был настолько распространен, что Всевышний обещал пророку Элише: «Оставляю Я среди израильтян семь тысяч (всего!): всех тех, чьи колени не преклонялись перед Баалом, и всех тех, чьи уста не целовали его» (1-я Книга Царств 19:18).

Зато именно в царствование Ахава в Шомроне строились великолепные здания. Остатки некоторых из них находят археологи, других – исследователи Танаха: «Прочие дела Ахава, и все, что он сделал, и дом из слоновой кости ("יֶשֶׁתְּ לָזָה"), который он построил, и все города, которые он строил, описаны в Книге летописи царей Израильских» (1-я Книга Царств 22:39). Обратите внимание, что о "доме из слоновой кости" говорится в том предложении, которое в иудейской летописи подытоживает всю деятельность Ахава, – очевидно, строительство столь необычного по своей роскоши сооружения в глазах не слишком доброжелательных соседей-иудеев было одним из самых ярких событий, связанных с Ахавом. Сразу возникает ассоциация с "мужеством" Омри, которое хронист не мог не упомянуть, но и описывать не хотел.

Шомрон несколько раз осаждали арамейцы (см. 1-ю Книгу Царств, гл. 20 и далее), но взять город им не удалось. Им мешали, как мощные укрепления города, следы которых были найдены археологами, так и давление со стороны Ашура (Ассирии), которой через некоторое время предстояло завоевать и Вавилон, и Израиль. Как и предупреждал пророк Йешаягу: «Потому что прежде чем этот мальчик сумеет выговорить "отец мой" и "мать моя", богатство Дамаска и добычу Шомрона понесут перед царем Ашурским» (Йешаягу 8:4).

В записи о переговорах между Ахавом и Бен-Ададом, потерпевшим поражение под Афеком, сохранилось свидетельство о своеобразных торговых отношениях того времени: «И сказал ему (*Ахаву*) он (*Бен-Адад*): города, которые взял отец мой у твоего отца, я возвращу, и сделаешь себе рыночные площади ("מִשְׁכָּנִים") в Дамаске, как отец мой сделал в Шомроне» (1-я Книга Царств 20:34). Поскольку при отцах героев Шомрон находился в союзно-подчиненном положении по отношению к гораздо более могущественному Вавилону, речь идет, по всей видимости, о каких-то специальных льготных рынках для купцов государства-"сюзерена", некой ближневосточной "зоне свободного экономического развития".

В результате упомянутых переговоров, с точки зрения экономической, Ахав, может быть, и выиграл, но по большому проиграл, о чем и сообщил ему один из учеников пророков: «Так сказал Господь: за то, что ты выпустил из рук твоих человека,

которого Я осудил на смерть, твоя жизнь будет вместо его жизни, и народ твой вместо его народа» (1-я Книга Царств 20:42). Впрочем, получив это известие, Ахав раскаялся, и в награду за это предстоящее наказание было перенесено на время царствования его сына.

22

После изнурительных арамейских осад при израильских царях Йехоахазе и Йехоаше Шомрон вновь расцвел во время длительного царства сына Йехоаша, Йеровама Второго. (Напомним, кто был Йеровам Первый: это был Йеровам бен Неват, чье восстание привело в конце 10-го века до н.э. к расколу единого еврейского царства на Иудею и Израиль и кто, желая устранить зависимость подвластных ему колен Израиля от религиозного центра в Иерусалиме, построил в Бейт-Эле и Дане полуязыческие святилища, о которых мы уже говорили в связи с Элем Бейт-Элем.) Иудейские хронисты, конечно, называют их язычниками, но это, очевидно, преувеличение, – не могли же монотеисты-израильтяне вдруг, только по приказу нового царя, вернуться к язычеству! Скорее всего, эти святилища носили компромиссный характер. Дело в том, что среди евреев на протяжении всей древней истории существовали верования, не совсем отвечавшие монотеистическому идеалу, только "праведные" вожди народа и "настоящие" пророки ("неви́й-эмет") с ними боролись, а "неправедные" вожди и "ложные" пророки ("неви́й-шекер") их допускали или даже поощряли. О соотношении этих тенденций сейчас судить трудно, потому что, основные сведения мы получаем от иудейских хронистов, а в Иудее явно преобладала первая тенденция, так что "объективного освещения" второй от этих хронистов ожидать трудно.

Однако вернемся к нашим Йеровамам. Итак, израильский царь Йеровам Второй был сыном царя Йехоаша и жил в конце 8-го века до н.э. Как мы уже сказали, его царствование было одним из самых длительных в истории еврейских царей: «И царствовал он сорок один год» (2-я Книга Царств 14:23). И о грехах, и о славных делах Йеровама Второго хронист рассказывает достаточно лаконично: «И делал он то, что было злом в очах Господних: не отступал он от всех грехов Йеровама, сына Невата, которыми тот ввел в грех Израиль. Он восстановил пределы Израиля от входа в Хамат до Пустынного моря, по слову Господа, Бога Израиля, которое Он изрек через раба Своего Йону, сына Амитая, пророка из Гат ха-Хефера. Так как Господь видел бедствие Израиля... То не говорил Господь о том, чтобы стереть имя Израиля из поднебесной, и спас Он их рукой Йеровама, сына Йоаша. А прочие деяния Йеровама и все, что он совершил, и подвиги его, и то, как он воевал и как возвратил Израилю Дамаск и Хамат, принадлежавшие Йегуде,

описано в Книге летописи царей Израильских» (2-я Книга Царств 14:24-29). Это действительно очень лаконичная запись: известно, что Йеровам Второй успешно воевал против арамейцев, аммонитян и моавитян и сумел распространить границы царства за Иордан.

Любопытно посмотреть, как пророк Амос, косвенно упоминая о победах, одержанных израильскими царями, ими же этих царей попрекает: «Так сказал Господь: как вырывает пастух из пасти льва две ножки или кусок уха, так (лишь) спасутся сыны Израилевы, живущие в Шомроне, (развалившиеся) на краю постели и на ложе Дамаска» (3:12); «Горе тем, что беззаботны на Сионе, и тем, что беспечны на горе Шомрон... Пройдите... в Хамат Раббу и спуститесь в Гат Пелиштимский: лучше ли они, чем эти царства? Обширнее ли пределы их, чем ваши пределы?.. Горе тем, что лежат на ложах из слоновой кости и развалились на постелях своих...» (6:1-4); «Вот Я подниму народ на вас, дом Израилев... и будут они угнетать вас от входа в Хамат до реки Арава» (6:14). Заметьте, что пророк перечисляет почти все завоевания Йеровама Второго, но с отрицательным знаком!

Пророк упоминает также о дворцах, выстроенных в Шомроне в этот второй период его процветания: «Не умеют они поступать справедливо, – сказал Господь, – насилие и грабеж хранят они в дворцах своих» (Амос 3:10); «Гнушаюсь Я высокомерия Яакова и ненавижу дворцы его...» (6:8). Имя Яакова, как нетрудно догадаться, служит своеобразным эвфемизмом второго имени этого персонажа Торы, – имени "Израиль", ведь пророк имеет в виду царство Израиль.

23

Столица Израиля Шомрон, несмотря на все свое величие, никогда не была культовым центром. Йеровам Первый, как уже говорилось, построил святилища не в Шомроне, а в Бейт-Эле и Дане. Правда, царь Ахаз, по желанию своей жены Йезевели, построил святилище Баала "в Шомроне" (1-я Книга Царств 16:32). Однако в рассказе о царе Йеху (вторая половина 9-го века до н.э.), который искоренил культ Баала в Израиле, говорится о "городе дома Баала" (2-я Книга Царств, 10:25). Знаменитый израильский археолог Игаль Ядин считал, что это был отдельный город, или, возможно, пригород Шомрона, а не сам Шомрон.

В качестве возражения другие ученые приводили следующий довод: во Второй Книге Шмуэля в связи с городом Рабат Амон упоминается "город воды", который, что очевидно по контексту, представляет собой городской район, – возможно, район городских колодцев или источника: «И воевал Йоав против Раббы сынов Амона, и (стал) захватывать царскую столицу; и послал Йоав посланцев к Давиду сказать: воевал я

против Раббы и взял уже город воды ("עיר המים")» (2-я Книга Шмуэля 12:26-27). Из этого следует, что слово "עיר" может обозначать и весь город, и часть города.

Впрочем, с "городом Баала" в рассказе про царя Йеху и так разобраться трудно, судите сами: «И послал Йеху по всему Израилю, и пришли все поклоняющиеся Баалу... И пришли они в дом Баала, и наполнился дом Баала от края до края... И было, когда закончено было всесожжение, сказал Йеху скороходам и начальникам: Войдите, перебейте их, пусть ни один не уйдет. И перебили их острием меча, и бросили (их) скороходы и начальники, и пошли к городу дома Баала ("עיר בית ה'")». Судя по этому отрывку, "дом Баала" (очевидно, святилище) находился в одном месте, а "город дома Баала" – в другом, так что от одного к другому можно было пойти; или же текст, находящийся перед нами, испорчен.

Закат Шомрона и всего Израильского царства совпал с крахом династии Йеху: «Таково было слово Господне, которое Он изрек Йеху, сказав: сыновья твои до четвертого поколения будут сидеть на престоле Израилевом. И сбылось так.» (2-я Книга Царств 15:12). Правнук Йеху Зхарья был убит заговорщиками, а за этим заговором последовала полоса дворцовых переворотов, чем не преминули воспользоваться могущественные соседи: «В дни Пекаха, царя Израильского, пришел Тиглат-Пилесер, царь Ашурский, и взял... всю землю колена Нафтали, и изгнал их (*жителей*) в Ашур» (2-я Книга Царств 15:29). Так началось изгнание десяти колен, а было это в 734-732 гг. до н.э. Впрочем, эти завоевания Тиглат-Паласар сделал между прочим, по дороге в землю Плиштим, с которыми воевал. А вот когда его наследник Шальмансар узнал, что тогдашний израильский царь Хошеа сын Элы не принес ему ежегодный дани и послал послов к египетскому царю, Ассирия рассердилась по-настоящему. Кстати, про этого Хошеа сказана интересная фраза: «И делал он то, что было злом в очах Господних, но не так, как цари Израильские, которые были до него» (2-я Книга Царств 17:2). Можно только предположить, что речь идет об обращении к Египту, и, возможно, к египетским верованиям, вместо местных и северных, которыми грешили предыдущие израильские цари.

Итак, при Хошеа Шомрон был осажден, его велико-лепные укрепления, существование которых подтверждают археологические данные, целых три года выдерживали осаду, но в конце концов в 722 г. до н.э. город был взят, а вскоре, при наследнике Шальмансара Саргоне Втором, его жители были отправлены в изгнание.

Но не все.

24

Итак, десять колен, жившие в Израильском царстве, отправились в изгнание: «И было, за то, что стали грешить сыны Израилевы перед Господом,.. и стали чтить чужих богов; И поступали по уставам народов, которых изгнал Господь от сынов Израилевых, и царей Израильских, которые они установили. И тайно говорили сыны Израилевы слова неверные о Господе, Боге своем, и построили себе возвышения ("מזבז") во всех городах своих... И ставили себе столбы ("עמדות") и истуканы ("אשרים")...» (2-я Книга Царств 17:7-10). Хронист говорит о двух видах "ереси": "по уставам народов" и "по уставам царей Израильских". Первый вид жители Израильского царства восприняли от окружающих народов и прежних жителей своей страны сами, а второй насаждали "сверху" – чаще всего по политическим соображениям. «И оставили они все заповеди Господа... и сделали себе двух литых тельцов (*помните, в Бейт-Эле и Дане?*), и сделали они Ашеру, и поклонялись всему воинству небесному, и служили Баалу...» (там же, 16). Об одном из этих тельцов, по-видимому, говорит пророк Хошеа: «Заброшен телец твой, Шомрон!.. Ибо от Израиля и он: мастер сделал его, а он не Бог; обломками станет телец Шомрона... Поглощен Израиль; стали они теперь среди народов, как ненужная посудина.» Ведь они поднялись к Ашуру... Дарами Эфраим приобрел любовь! (Хошеа 8:5-9).

«Сильно разгневался Господь на израильтян и отверг их от лица Своего. Не осталось никого, кроме одного колена Йегуды. Да и Йегуда не соблюдал заповедей Господа, Бога своего, и следовал уставам израильтян...» (там же, 18-19). Даже пристрастный иудейский хронист отмечает, что иноземному влиянию подвергался не только Израиль. Вот что, например, происходило в Иерусалиме в ту же эпоху: «В семнадцатый год царствования Пекаха (*царя израильского*)... стал царем (*над Иудеей*) Ахаз... и не делал он того, что было праведным в очах Господа... Но следовал он пути царей Израильских, и даже сына своего провел через огонь, по мерзостным обычаям народов, которых прогнал Господь от сынов Израиля...» Больше того, когда Тиглат Паласар помог Ахазу отразить нападение арамейцев и израильтян, Ахаз провел в своем царстве религиозную реформу, в результате которой, в частности, был перестроен Храмовый жертвенник (!): «И пошел царь Ахаз в Дамаск встречать Тиглат Пилесера... и увидел жертвенник, который в Дамаске, и послал царь Ахаз Урии, священнику, изображение жертвенника и чертеж всего устройства его. И Урия, священник, построил жертвенник. В соответствии с тем, что прислал царь Ахаз и Дамаска, так и сделал Урия, священник, до прибытия царя Ахаза из Дамаска. И пришел царь из Дамаска, и увидел жертвенник, и подошел царь к жертвеннику, и вознес на нем (всесожжение)... А медный жертвенник, который

перед Господом, он передвинул... (Эти и другие изменения в Храме описываются во 2-ой Книге Царств 16:10-18). Обратите внимание, что на новом жертвеннике жертву приносит сам царь, а не первосвященник!

Однако вернемся в Шомрон. Итак, еврейские жители Шомрона были изгнаны: «И изгнал он (*царь ашурский*) израильтян в Ашур, и поселил их в Халахе, и в Хаворе, при реке Гозан, и в городах мидийских» (2-я Книга Царств 17:6). Но не всех и далеко не сразу! Согласно официальным надписям, относящимся ко времени правления Саргона, из Шомрона было изгнано в Ашур 27290 жителей. «И ушел Израиль в изгнание из земли своей в Ашур до сего дня. И привел царь Ашурский людей из Вавилона, и из Куты, и из Аввы, и из Хамата, и из Сефараима, и поселил их в городах Шомрона вместо сынов Израилевых» (там же, 23-24). Ассирийские цари действовали по тому же принципу, которым впоследствии руководствовался Сталин: "переселяй и властвуй". Покоренным народам было гораздо труднее восстать, когда они были оторваны от родных мест и ослаблены тяжелым переселением: тогда ведь даже телячьих вагонов, в которых к новому месту жительства доставляли советских граждан, еще не было.

Так или иначе, кто-то из этих "перемещенных лиц" принес в Шомрон протопсалом.

25

Еврейские жители Израильского царства были переселены в Ассирию и попали "в Халах, и в Хавор, при реке Гозан, и в города мидийские" (2-я Книга Царств 17:6). А на их место, в свою очередь, попали люди "из Бавеля, и из Куты, и из Аввы, и из Хамата, и из Сефарваима..." (там же, 24). Кстати, именно благодаря большому количеству переселенцев из Куты (священный город в Месопотамии), шомроним (самаритян) в позднейшей еврейской традиции чаще всего называют "кутим".

А в Шомроне между тем начала складываться совершенно особая культурная общность: «И было, когда стали они (*переселенцы*) жить там, то не чтили Господа; и Господь насылал на них львов, и те убивали их. И доложили царю Ашурскому, сказав: народы, которые ты изгнал и поселил в городах шомронских, не знают закона Бога той страны. И повелел царь Ашурский, сказав: отправьте туда одного из священников, которых вы изгнали оттуда; пусть идут и живут там, а он научит их закону Бога той земли. И пришел один из священников, которых выселили из Шомрона, и поселился в Бейт-Эле, и учил их тому, как бояться Господа. И делал каждый народ своих богов, и поставил в капищах... Но боялись они Господа и сделали некоторых из среды своей жрецами жертвенных возвышений... Они боялись Господа и служили своим богам по обычаям тех народов, из среды которых их увели; До сего дня

поступают они по прежним обычаям. Они не боятся Господа и не поступают по уставам их, и по законам их, и по Торе, и по заповеди, которые заповедал Господь сынам Яакова, которому дал Он имя Израиля... Народы эти чтили Господа, но служили идолам своим. Да и сыновья их и сыновья сыновей их до сего дня поступают так же, как поступали их отцы.» (там же, 25-41).

Не правда ли, странный текст? Так боятся "они" Господа или не боятся? И кто это "они"? Идет ли речь об одних и тех же людях?

Если присмотреться внимательнее – нет. Речь идет о двух группах людей. Одни "боятся Господа и служат своим богам", а другие – "не боятся Господа и не поступают по уставам их, которые заповедал Господь сынам Яакова, которому дал Он имя Израиля". Одни – это иноземные переселенцы, язычники, которые после переселения дополнительно приняли местный культ. А другие – это оставшиеся в Шомроне (или вернувшиеся туда, как тот священник, о котором шла речь в приказе ассирийского царя) "сыны Израиля". Ведь пришлых язычников хронист не стал бы упрекать в несоблюдении заповедей, данных "сынам Яакова"! Наоборот, он видит их заслугу в том, что они "боятся Господа".

Переселенцы из завоеванных Ассирией земель прибывали в Шомрон не одновременно, а волнами. Каждая такая волна по-разному "абсорбировалась" и "ассимилировалась" среди оставшихся местных жителей и предыдущих переселенцев. Археологические данные показывают, что при ассирийцах Шомрон был важным административным и культурным центром. Именно в этот период там формировалась уникальная в культурном отношении общность, в которой сочетались элементы язычества и монотеизма, причем, мы никогда точно не узнаем, в какой пропорции.

Аrameйский вариант протопсалма привезли с собой переселенцы из Вавилона (о чем свидетельствуют упоминания в египетском варианте псалма семитских божеств), в него были принесены местные элементы (Эль Бейт-Эль, намек на которого есть, как мы увидели, даже в еврейском варианте), и в таком виде его восприняли оставшиеся в Шомроне евреи. И кто-то из них, попавший в Иерусалим после смерти Ашурбанипала (627 г. до н.э.) и крушения Ассирийской империи, когда царь Йошиягу вернул Иудее часть земель Северного царства (по некоторым сведениями, до Гевы, по другим – только до Бейт-Эля), принес псалом в Иерусалим. Время Йошиягу было временем религиозных реформ, а также расширения круга текстов, которым позднее предстояло войти в еврейский канон. Тогда-то переработанный протопсалом и стал одним из еврейских "Теилим". Развязка истории с египетским вариантом псалма – впереди.

26

Что же происходило со смешанным населением Шомрона после того, как ассирийцы изгнали часть еврейского населения и поселили на их месте жителей разных городов Месопотамии?

Пришлые язычники частично переняли еврейскую религию. Евреи, остававшиеся на месте, в той или иной степени придерживались отеческих законов. Часть из них, очевидно, переселилась в Иерусалим, как только это стало возможно после смерти Ашурбанипала (627 г. до н.э.) и крушения Ассирийской империи, когда царь Йошиягу вернул Иудее часть земель Северного царства. Часть осталась на месте, и они также в какой-то степени придерживались еврейских обычаев. Во всяком случае, это можно заключить из рассказа о событиях, сопровождавших убийство Гедалии, которого вавилонский царь Навуходанецер поставил во главе оставшихся в Иудее после начала Вавилонского изгнания (586 г. до н.э.): «И было на другой день, после того как убили Гедалягу, когда никто не знал (*об этом*), Пришли люди из Шхема, из Шило и из Шомрона, восемьдесят человек с обритыми бородами и в разодранной одежде и исцарапанные, а в руках у них – дары и левона, чтобы принести их в дом Господень... И было, когда вошли они внутрь города, Ишмаэль, сын Нетанья (*убийца Гедалы*), зарезал их (*и бросил*) в яму...» (Йермиягу 41:4-7).

Из этого отрывка, к сожалению, невозможно заключить, в какой именно степени последние остатки еврейских жителей Шомрона были верны отеческим обычаям. Во всяком случае, составитель 2-й Книги Царств уже не считает праведными: «Они не боятся Господа и не поступают по уставам их, и по законам их, и по Торе, и по заповеди, которые заповедал Господь сынам Якова, которому дал Он имя Израиля...» (2-я Книга Царств 17:34). И все же семьдесят лет спустя, когда персидский царь Кир разрешил евреям вернуться из Вавилона и заново отстроить Храм, жители Шомрона с радостью встретили изгнанников и хотели принять участие в строительстве. Однако предводители вернувшихся в резкой форме отвергли их помощь. Сообщение об этом в Книге Эзры составлено достаточно тенденциозно, однако больше нам цитировать нечего: «И услышали враги Йегуды и Биньямина, что (*бывшие*) изгнанники строят Храм Господу Богу Израилеву, И подошли они к Зерубавелу и главам семейств, и сказали им: "Мы будем строить с вами, ибо, как и вы, мы обращаемся к Богу вашему и Ему приносим жертвоприношения со времен Эйсар-Хаддона, царя Ашурского, который привел нас сюда". И сказал им Зерубавель и Йешуа, и другие главы семейств израилевых: "Не вам строить с нами дом Богу нашему, только мы все вместе будем строить Господу Богу Израилеву, как повелел нам Кореш (*Кир*), царь Параса (*Персии*)"» (Эзра 4:1-3). Заметьте, что даже слова обращавшихся к Зерубавелу посланцев

хронист приводит или не точно, или не полностью. Из косвенных источников известно, что к этому времени собственно самаритянская (то есть однозначно определяемая как нееврейская) общность еще не образовалась. Среди жителей Шомрона были переселенцы, исповедовавшие язычество с элементами иудаизма, и были евреи, исповедовавшие иудаизм, возможно, несколько отличавшийся от того, который исповедовали иудеи к началу вавилонского изгнания. А самое главное, в религию остававшихся в Шомроне, естественно, не вошли те изменения, которые были приняты в Вавилоне!

Посланцы из Шомрона, даже если среди них были потомки переселенцев-язычников, не могли не сказать в своем обращении к Зерубавелу, что среди них есть и те, кто исповедует иудаизм издавна. А иудейский хронист об этом даже не упоминает! Причину этого нетрудно разглядеть в словах того же хрониста: «И услышали враги Йегуды и Биньямина...» Дело в том, что между "репатриантами" и "старожилами", как это нередко бывает, возникла напряженность. Только на этот раз в "отходе от традиции", ассимиляции и обилии смешанных браков обвиняли репатрианты, а не наоборот.

27

Однако окончательного разделения между иудеями и израильтянами все еще не произошло. Откуда мы же знаем, что евреи, остававшиеся в Шомроне во время Вавилонского изгнания, и евреи, ушедшие в Вавилон, к моменту "יָרַד לְבָבֶשׁ" ("возвращения в Сион") все еще считали себя одним народом, несмотря на трения, неизбежные между репатриантами и старожилами?

Дело в том, что после возвращения в Сион выяснилось, что многие евреи успели вступить в смешанные браки: «Народ Израиля, и священники, и левиты не отделились от народов других стран: (следуют) мерзостям Кнаанеев, Хитийцев, Призеев, Йевусеев, Аммонитян, Моавитян, Египтян и Эморийцев. Так как брали они дочерей их в жены для себя и для сынов своих, и смешали семя священное с народами других земель; и рука главных и старших была первой в этом беззаконии» (Эзра 9:1-2).

То, что всего за семьдесят лет у евреев Вавилона начались сложности с родословными, мы видим уже из перечисления "шавей Цион" (репатриантов): «А вот те, что поднялись из Тель-Мелаха, Тель-Харши, Крува, Адана, Имера, те, что не смогли назвать рода своего и семени своего, из Израиля ли они... И из потомков священников... Эти (священники) искали запись свою о происхождении, но она не была найдена, и были отлучены они от священства. И сказал им Тиршата (персидское имя Нехемьи), чтобы не ели они от святого святых, пока не встанет священник с Урим и Тумим (вид гадания,

существовавший только во времена Первого Храма)» (Нехемья 2:59-63).

В девятой и десятой главах Книги Эзры рассказывается о жестких мерах, принятых против смешанных браков: иноземные жены и родившиеся от них дети были отосланы на родину. В рассказе об этих событиях речь идет о вавилонских изгнанниках: «И встал Эзра... хлеба не ел и воды не пил, ибо горевал о преступлениях изгнанников. И огласили в Иудее и в Иерусалиме, что всем сынам изгнания (*надлежит*) собраться в Иерусалиме. А у того, кто не придет через три дня... отобрано будет все его имущество и будет он отлучен от общины изгнанников» (10:6-8). Однако из предыдущих слов хрониста этого не следует однозначно. Ведь упоминающиеся народы (кроме египтян) – местные, представители которых тоже могли быть в ассирийском, а потом в вавилонском плену и там смешаться с евреями, но могли и оставаться на территории Израиля! Так что речь могла идти не только об изгнанниках, но и о тех, кто оставался на месте.

Почему же хронист о них не упоминает? Дело в том, что решительное размежевание между оставшимися в Шомроне "самаритянами" и "иудеями" (то есть потомками изгнанников) произошло не во время реформ Эзры и Нехемьи, а чуть позже, а хроника была написана еще позже, поэтому и отразила не совсем подлинный ход событий, а взгляд на него постфактум.

Откуда мы об этом знаем? В Книге Эзры не раз упоминаются "враги Иудеи и Биньямина", – например, "Санвалат из Хорона" и "Товия, раб-аммонитянин" (2:19), которые как будто представляются чужеземцами. А между тем: «Но и в те дни знатные люди Иудеи писали много писем, которые шли к Товии, а (письма) Товии шли к ним, Потому что многие в Иудее были связаны с ним клятвой, так как был он зятем Шеханьи бен Араха, а сын его, Йоханан, взял в жены дочь Мешулама, сына Берехьи» (6:17-18). И тесть, и сват этого "раба-аммонитянина" Товии – знатные еврейские изгнанники! Разве можно представить такую ситуацию после жесткой реформы Эзры? Неужели, с такой болью отослав привезенных из Вавилона чужеземных жен и рожденных от них детей, иудейская знать немедленно принялась родниться неизвестно с кем на вновь обретенной родине? И откуда у этих "чужаков" такие имена – Товия, Йоханан? Не принадлежали ли они к тем, чье имя тщательно стерто из иудейской хроники: – "бней Исраэль", то есть евреям, оставшимся в Израиле во время Вавилонского пленения? Такой ответ весьма вероятен. Ведь тогда и Товия, и его сын Йоханан вполне могли жениться на еврейках из Вавилона даже после реформы Эзры!

28

История Товии имеет своеобразное продолжение: «...Священник Эльяшив, родственник Товии, находившийся в комнате Храма Бога нашего, приготовил для него (Товии) большую комнату... А в то время не было меня в Иерусалиме... И пришел я в Иерусалим, и понял я, какое зло совершил Эльяшив ради Товии, приготовив ему комнату во дворах дома Божьего. И мне это очень не понравилось, и выбросил я вон из комнаты все домашние вещи Товии. И приказал я, и очистили эти комнаты, и вернул я туда утварь дома Божьего, дары и ладан» (Нехемья 13:4-9).

Во времена "иудейского ренессанса" Эзры и Нехемьи было проведено несколько реформ, "возвращавших" еврейские обычаи, записанные в Торе. Часть этих обычаев была забыта в изгнании, а часть вышла из употребления еще раньше. Вот что говорится, например, про возрожденный обычай строить суккот: «И вся община возвратившихся из изгнания сделала кущи, и поселились они в кушах, как не делали сыны Израилевы со времен Йешуа бин Нуна до того дня» (Нехемья 8:17). Но об изгнании Товии из Храма, наверное, неслучайно рассказывается именно после описания одной из таких реформ, – изгнания присоединившихся к народу Израиля аммонитян и моавитян: «В тот день читали Книгу Моше вслух народу, и нашли написанным в ней, что никогда не войдет аммонитянин и моавитянин в общину Божью... И было, когда слышали они Тору, то выделили они всех смешанных из Израиля» (13:1-3). Почему не случайно? Да ведь в начале Книги Товия называется "рабом-аммонитянином" (2:19)! Очевидно, Товия принадлежал к какой-то группе "бней Исразль" (то есть остававшихся в Шомроне), "кошерность" которых была под сомнением, и это сомнение на определенном этапе решили в отрицательную сторону – на основании его предполагаемого родства с "аммонитянами".

Однако история с Товией к окончательному разрыву не привела. Зато в конце Книги Нехемьи всего в одном предложении рассказывается о настоящем разрыве, который в конечном итоге и привел к появлению "шомроним", или, по талмудической терминологии, "кутим", вместо "бней Исразль": «И один из сыновей Йойады, сына Эльяшива, первосвященника, стал зятем Санвалата из Хорона; и прогнал я его от себя» (Нехемья 13:28). Более подробно эту историю пересказывает Иосиф Флавий: «У Иадудя был брат по имени Манассия (Менаше). Ему-то посланный последним Дарием в Самарию в качестве сатрапа хуфеец ("кути") родом, то есть того же племени, из которого происходят и самаритяне, Санаваллет (Санвалат), охотно отдал в жены дочь свою Никасо... Тем временем старейшины иерусалимские, раздраженные тем, что к первосвященству имеет отношение женатый на иностранке брат Иадудя, восстали против него (Манассии)... Они предложили

Манассии либо развестись с женой, либо не прикасаться к жертвеннику вовсе. Когда же и первосвященник сочувственно отнесся к требованию народа и запретил своему брату доступ к алтарю, Манассия отправился к своему тестю Санаваллету и заявил ему, что хотя он и любит его дочь Никасо, но он... не желает лишаться священнического сана... Однако Санаваллет... заявил зятю, что построит для него на высочайшей из всех самарянских гор, а именно на возвышенности Гаризим (*Гризим*), такой же храм, какой имеется в Иерусалиме, и обещал сделать это с особого разрешения царя Дария. Уповая на эти обещания... Манассия остался при Санаваллете... А так как подобные браки были заключены у значительного числа священников и израильтян, то этот случай вверг иерусалимцев в немалое смущение, потому что все эти лица перешли к Манассии, тем более, что Санаваллет предоставил им денег и земли для обработки...» (Иудейские древности, книга 11, гл. 8).

29

Судя по рассказу Иосифа Флавия, во времена Нехемии (ок. 440 года до н.э.) произошел окончательный разрыв между самаритянами и жителями Иудеи. Однако современные исследователи отодвигают дату этого события еще на сто лет. Дело в том, что литературный материал, относящийся к 4-ому веку до н.э., еще содержит информацию о сотрудничестве между иудеями и самаритянами. Вот что сказано, например, в четвертой главе апокрифической Книги Юдифи о неудавшемся ассирийском походе на Иудею: «Сыны Израиля, жившие в Иудее, услышав обо всем, что сделал с народами Олоферн, военачальник ассирийского царя Навуходоносора,... очень испугались его и трепетали за Иерусалим и храм Господа Бога своего, потому что недавно возвратились они из плена... Они послали во все пределы Самарии и Конии, и Ветерона, и Вельмена, и Йерихона...» Заметим, что "пределы Самарии" упоминаются рядом с иудейскими городами! Все еще существовавшую в 4 веке близость между самаритянами подтверждают и папирологические данные из еврейской "колонии" в Египте, Йева, на которых мы пока останавливаться не будем, потому что история Йева заслуживает отдельного разговора. Более того, исследования самаритянской галахи показывают, что она включает те новшества, которые были приняты в этот период и в иудейской галахе.

А вот ко времени завоевания Иудеи Александром Македонским (332 г. до н.э.) разрыв произошел уже несомненно. Различные источники говорят о взаимных нападениях иудеев и самаритян, о попытках добиться расположения Александра, и так далее... Напомним известный рассказ Иосифа Флавия в 8 главе 11 книги "Иудейских древностей", который в большей своей части является апокрифическим, однако явно опирается на

определенные подлинные события: когда иерусалимский первосвященник в ответ на приказ, переданный через посланцев, отказался присягать Александру (не желая нарушать присягу, данную Дарию), Александр решил лично пойти на Иудею и наказать первосвященника. Самаритяне, к тому времени уже сотрудничавшие с ним, также отправились в этот поход, чтобы отомстить своим врагам-иудеям. Первосвященник испугался, но во сне ему явился Всевышний и велел встретить царя в полном облачении и ничего не бояться. Священники вышли на встречу Александру у горы Скопус, а когда Александр увидел первосвященника в облачении, он первый выступил навстречу и поклонился имени Всевышнего, выгравированному на золотой дощечке у него на груди. Оказалось, что образ этого старца он видел во сне перед своим великим азиатским походом, и именно старец велел ему не медлить, а смело переправляться через Геллеспонт. После этого Александр приносит жертвы в Храме, обещает "свободу вероисповедания" всем евреям, в том числе мидийским и вавилонским, и освобождения от налогов в субботний год. Кроме того, он обещает предоставить желающим возможность служить в его армии, не нарушая религиозных предписаний.

Александр, конечно, в Иерусалиме не был, однако эти привелегии, похоже, действительно иудеям предоставил. И тогда самаритяне... сделали попытку снова представиться иудеями.

30

Вот что рассказывает Флавий: «Тогда самаряне, главный город которых был в то время Шхем, лежащий у подножия горы Гризим и построенный отщепенцами иудейского народа (!), видя, как Александр отличает иудеев, решили также и себя выдать за иудеев. Как мы уже имели случай показать, самаряне имеют такую привычку: когда иудеев постигает бедствие, тогда они отказываются от родства с ними и говорят в таком случае правду; когда же иудеев постигает удача, они тотчас готовы примкнуть к ним, опираясь якобы на свое право и выводя свое происхождение от потомков Иосифа, Эфраима и Менаше» ("Иудейские древности", кн. 11, гл. 7). Самаритяне попросили у Александра освобождения от налога, но «царь спросил, кто они такие, что обращаются к нему с подобными просьбами. Когда же те ответили, что они евреи и что жители Шхема известны также под именем сидонян, царь еще раз спросил их, иудеи ли они. Получив отрицательный ответ, он сказал: "Однако эту привилегию я даровал иудеям..."»

После смерти Александра образовавшийся разрыв между иудеями и самаритянами все больше и больше углублялся. Но вот что еще говорит Флавий: «По смерти Александра... храм на горе Гризим оставался там по-прежнему. И всякий, кто среди иерусалимцев обвинялся в нарушении предписаний относительно

пищи, или в осквернении субботы, или в каком-либо другом нарушении этого рода, бежал к шхемцам и уверял, что его без вины изгнали.» Эта история свидетельствует о том, что иудеи все еще воспринимали самаритян как более близкую к иудаизму общность, нежели другие народы. Иначе нарушители религиозных норм, уверявшие, что невиновны, не бежали бы именно к ним.

Обратили ли вы внимание на то, что место действия незаметно перенеслось из Шомрона в Шхем? Даже в наше время главным городом самаритян является Шхем. Что же произошло с Шомроном-Самарией?

Самаритяне, как мы уже говорили, сотрудничали с Александром Македонским и даже начали служить в его армии раньше, чем иудеи. Однако, когда Александр был в Египте, произошел неприятный инцидент: жители Шомрона по какой-то причине были недовольны присланным к ним македонским наместником и осмелились убить его. После этого Александр разрушил город и изгнал его жителей, а на его месте основал македонское поселение, со временем превратившееся в город Себастию. Возвращаясь в Египет, Александр взял с собой набранные в Самарии вспомогательные войска, которые положили основу самаритянской общины в Египте.

Восстановленный Шомрон был еще раз разрушен царем из династии Хасмонеев Йохананом Горкеносом в 127/8 году до н.э. Об отношении иудеев к самаритянам в это время говорится в книге Йошуа Бен-Сиры (апокриф эллинистического времени, не вошедший в иудейский канон, в русской традиции – "Книга премудрости Иисуса сына Сирахова"): «Двумя народами гнушается душа моя, а третий не есть народ: это сидящие на горе Сеир (то есть идумеи), филистимляне и глупый народ, живущий в Шхеме» (50:27-28).

О дальнейшей судьбе самаритян мы говорить не будем. Ведь и с самого начала они нас заинтересовали не сами по себе, а только как потомки того смешанного населения Шомрона, в среде которого был обработан арамейский протопсалом. Если те, кто "иудаизировал" псалом, попали в Иерусалим примерно во второй половине 7 века до н.э., во время "реконкисты" иудейского царя Йошиягу, вновь занявшего часть земель Северного царства, то те, кто принес языческий вариант псалма в Египет, могли туда попасть и позже, во время всех тех перепетий, о которых мы говорили в связи с историей Шомрона. Так или иначе, это произошло до 2-го века до н.э., к которому относится наш псалом.

УЛИЦА БЕЦАЛЕЛЬ

Михаил Мельцер

ХУДОЖНИК ВЕНИАМИН КЛЕЦЕЛЬ

...и медленно пойти к центру города по улице Яффо. На этой улице всегда много людей, углом выходит рынок, и открыты бесчисленные двери магазинов. Шум, толкотня, парикмахерские, полицейский участок, ограда министерства – стоп: на старательно огороженном от машин пятачке стоит пушечка, напоминающая о войне за независимость. Пушка с ласковым названием “Давидка”.

Вот от неё чуть влево, потом резко направо во двор автостоянки, и там ты видишь двухэтажный дом.

На втором этаже его, если подняться, мастерская и даже через закрытую дверь доносится запах краски.

...и слышен голос:

– Работать надо, понимаешь – работать. А что ещё? Признание тебе нужно? Деньги? Может, будет, а может, и нет... Тебе что, обещано? Ты своё дело делай, а люди, они умные, они разберутся... Не сейчас, так в другом поколении.

– А, заходи, заходи... Это мой друг. Тоже пишет. А это – имярек, поэт. Ну не смущайся, не смущайся, если я говорю “поэт”, значит, поэт.

Художник Вениамин Клецель – огромный, серьёзный, в старом грубошёрстном свитере, линялых джинсах и фартуке. На мольберте полотно – в насыщенном голубом фоне человек, глаза смотрят вверх, в руке кисти, шагает с крыши. Упадёт? Не упадёт?

Поэту некогда, он извиняется и уходит. Художник смотрит вслед:

– Хороший парень... И книжку хорошую выпустил. Вот только дёрганный очень – своё место в мире ищет. И правильно – на потом это не оставишь, – вздыхает, – слабость у меня к поэтам.

...окно открыто. На подоконнике банка. В ней кисти. Много. На фоне темнеющего неба.

Мольберт – могучий, весь в краске, как вылит из цельного куска – не сломать, не разобрать.

На стенах картины, картины... От пола до потолка: кряжистый, недоверчивый старик с рыбой; знаменитые усы прославленного классика, да и не усы вовсе, а длинные ниточки, наперекор природе задорно торчащие вверх; а это собака над городом – воет, чует кровь; два смеющихся человека через города и страны, через весь этот глобус, протягивают друг к другу наполненные стаканы; сам художник в клоунском колпаке; ещё один автопортрет; успокаивающий портрет жены – большие, тёмные глаза, лёгкие руки; а вот петух вырвался из Судного дня и летит, летит над головами евреев...

Вениамин Клецель. Живая легенда Иерусалима. Большой, шумный, красивый человек с душой ребёнка. В любую жару, и в дождь, и даже в снег, очень уж здесь нечастый, он едет автобусом из окраинного Писгат-Зеева на улицу Яффо в свою мастерскую. Надевает старый свитер, повязывает фартук и начинает создавать мир.







Менюс нэгэр
8Kneuf-



BKuang
2.12.98.
May 4 2 9 AM





B. Kletzel 93.

V. P. Kletzel







Худож. В.К. 91

ПОДЗОРНАЯ ГОРА

Арнольд Каштанов

УСТЕХ КАК ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН

Критики и почтальон. Вильям Шекспир. Дина Рубина. Шлягер и клип. Литература: стереотип или архетип?

*Вот уже тридцать лет, как люди
перестали читать серьезные книги.*

Лабрюйер.

1

В известном анекдоте новенький в палате сумасшедших наблюдает такую сцену: больные лежат в кроватях, кто-то произносит: "Пятнадцать!" и все хохочут. "Восемьдесят шесть!" – кричит второй, и снова все хохочут. "Девяносто два!" – кричит третий. Все вскакивают и начинают его бить. "В чем дело?" – интересуется новенький. Оказывается, людям в палате надоело рассказывать друг другу одни и те же анекдоты. Тогда их просто пронумеровали и стали называть лишь порядковые номера. А под номером девяносто два шел анекдот, который в палате считали неприличным.

Сегодня содержание нового литературного произведения для большинства литературных критиков – повторение известного и надоевшего. Правда, вместо номеров у них свои особые знаки: "постмодернизм!.. экзистенциализм!.. квиетизм!.. номинализм!.. андерграундный постэкзистенциальный концептуализм!.." Как с помощью этих знаков ведется разговор о художественной литературе, нетрудно узнать, открыв любой пятничной номер газеты "Вести", самой высокотиражной в Израиле.

Это даже нельзя назвать снобизмом. Снобы, наконец, оставили в покое литературу и ушли в интернет. Так что если кто и остался, то, выражаясь по-научному, "единичные в поле зрения".

Станислав Рассадин, один из самых авторитетных российских литературных критиков, ненавидящий снобов, находится на другом полюсе литературы. И вот в 1998 году он печатно при-

знался, что ничего от литературы не ждет и ему стоит большого труда заставить себя открыть книгу неизвестного автора.

Но, скажем мы, а если сегодня появятся такие писатели, как Толстой и Достоевский, такие драматурги, как Шекспир...

Что ж, представьте, что сегодня кто-то вдруг случайно обнаружит неизвестный роман Толстого или Достоевского. Уверены ли мы, что чтение откроет нам что-то новое, чего мы еще не знали? Если уверены, то купим ли эту книгу в магазине? Если купим, то много ли нас таких, оправдаются ли типографские расходы? Если оправдаются, то возможно ли это без дорогостоящей рекламы? Кто в таком случае будет делать рекламу? Если найдется такой предприниматель, то почему он издаст Достоевского, а не очередной "женский роман"? Кто сегодня более читаем, Федор Достоевский или современник его Всеволод Крестовский, при том, заметьте, что Достоевского "рекламируют" школьные учебники вот уже сотню лет, такой рекламы у Крестовского нет и не будет.

Все эти вопросы чрезвычайно стары для Запада, где давно справили поминки по "эре Гутенберга", но Россия долго держалась "литературным заповедником" (выражение А. Битова), не прошло и десятка лет после многомиллионных тиражей, еще никто не доказал, что русская литература повторит судьбу западных, а мы родом из России.

Так что пока отметим лишь ситуацию: автор художественного произведения не может сегодня адресовать свои книги интеллектуалам. Его просто не найдут на книжной полке. Разве что случайно через много лет.

В прежние времена писателей иногда выручал скандал, к примеру, судебное обвинение в порнографии или убийстве. С тех пор уже написаны воспоминания убийц, исповеди проституток, поэтессы описали свои оргазмы, называя имена и фамилии участников события, и особого интереса к себе этим не вызвали – время скандалов в литературе кончилось, поезд ушел.

В Израиле автор может продавать свои книги на встречах с читателями, но это уже не чистая литература, а немного эстрада или что-нибудь еще.

Однако, у писателя остается шанс.

Примерно в те дни, когда высказался, как всегда, честно, Станислав Рассадин, в той же Москве в телепередаче "Добрый вечер" немолодая женщина, почтальон по специальности, рассказывала, как, возвращаясь с работы, она упала и сломала ногу. Скрытый перелом обнаружился позднее на рентгеновском снимке. Сразу же после падения женщина почувствовала сильную боль и попыталась добраться до дома. В эти минуты ее волновало только одно: она может опоздать на очередную серию мексиканского телесериала. Почти теряя сознание, она, все

же, не опоздала. Это показывает силу потребности, которая ею владела.

Можно рассуждать – и это делают бесконечно – о том, что кино и телевидение убили книгу, как Ирод Великий (или кто-то другой из великих?) убил свою мать. Однако можно увидеть и другое: налицо колоссальнейшей силы потребность, удовлетворить которую может только массовое искусство, и, стало быть, потеряв монополию, потесненная конкурентами, книга все же, может существовать. И в самом деле такие книги благополучно существуют. Она написаны не для Станислава Рассадина и не для снобов, а для уважаемой женщины из телепередачи.

Есть люди, которые говорят, что эти книги – не искусство, не литература.

Но почему же?

Да потому, говорят строгие поклонники искусства и литературы, что эти книги написаны в угоду массовому читателю, толпе, а поэт должен идти своей нетореной тропой, презирая суд толпы.

Так нас учили в школе.

В свое время это было прекрасно.

В наше время автор поставлен в такие условия, что если он намеревается жить литературным трудом или, хотя бы, быть прочитанным, то преуспеть он может лишь в двух случаях: или сам он немного "почтальон", или же он **сознательно** учитывает потребности массового читателя.

Первый случай пикантен тем, что авторы усиленно открещиваются от "массового искусства", предают его анафеме и считают себя тем самым Поэтом, который не внемлет молве толпы.

Второй случай требует от автора ума, таланта, мужества, тяжелого труда, риска, и чреват читательской неблагодарностью, поскольку читатель, в отличие от телезрителя, к сожалению, уважает непонятное и скучное и не любит, когда ему слишком угождают.

Именно этот второй случай и является темой настоящих заметок. Я попытаюсь рассмотреть несколько произведений с этой точки зрения. Естественно, я выбрал те, которыми восхищаюсь.

2

Фразу, вынесенную мной в эпиграф, Лабрюйер написал триста лет назад.

Гутенберг изобрел печатный станок за двести пятьдесят лет до этого. Уже тогда некоторые утверждали, что дешевая книга сделает знание достоянием толпы и, следовательно, уничтожит его. Читатели рукописных книг полагали, что книга не может быть общедоступной, что чтение – это трудная духовная работа, на которую человек толпы неспособен.

Как мы видим, разговоры о серьезных книгах и массовой литературе не новы. Даже если забыть про древние Грецию и Рим, эти разговоры существуют столько же, сколько книгопечатание.

Вот что интересно: если книгочии, ужаснувшиеся изобретению Гутенберга, правы, то мы с вами, то есть те, кто пишет и читает статьи о художественной литературе, и есть та самая толпа, пугало просвещенных людей XV века. И то сказать: истории грешников нас интересуют больше, чем жития святых, и, скажем, тончайшие рассуждения схоластов нас не волнуют, хоть в них поставлены вопросы о боге, нравственной ответственности и свободе воли, – вопросы, на которые у нас нет ответа.

Конечно же, мы – толпа, и как всякая другая, едва возникнув, начинаем делиться на новых посвященных и новую толпу, которая, в свою очередь, возникнув... и так далее. Как ни разбивай магнит, у него всегда будут два полюса.

Тем не менее, времена отличаются друг от друга, и начало "Эры Гутенберга" не во всем совпадает с ее концом. Возьмем пример из начала. "Венецианский купец" Шекспира был издан в 1600 году, так что специалист сможет, наверно, перечислить все издания от Гутенберга до этой комедии.

Имя Шейлок стало нарицательным. Означает оно алчного безумца, в погоне за золотом готового рвать на куски живых людей. Пьесу сегодня прочитали немногие из огромного числа людей, слышавших о Шейлоке. Между тем в ней отчетливо прослеживается один интересующий нас процесс: *сотворение духовных ценностей вопреки замыслу их творца*.

Мы никогда уже не узнаем, что *хотел* сказать Шекспир своей комедией. О его замысле мы можем судить лишь косвенно, на основании нескольких фактов.

Первоначальное название комедии – "Превосходнейшая история о венецианском купце. С чрезвычайной жестокостью еврея Шейлока по отношению к сказанному купцу, у которого он хотел вырезать ровно фунт мяса; и с получением руки Порции посредством выбора из трех ларцов. Как она неоднократно исполнялась лорд-камергера слугами. Написана Уильямом Шекспиром".

Это тот анекдот, который Шекспир "продает". Товар приходится удивительно ко времени: Англия еще помнит громкий процесс еврея Родриго Лопеса, в 1593 году казненного по обвинению в попытке отравить королеву. В комедии есть намеки на этот процесс. Она поставлена через три года после казни, это не может быть случайностью, драматург явно эксплуатирует сенсацию.

Для этой цели годился любой злодей-еврей. Шекспиру удачно подвернулся под руку литературный сюжет, не новый уже в новелле Джованни Фьорентино, откуда взяты и место действия, и история сватовства молодого венецианца, воспитанника бла-

городного купца, и история векселя, который купец дал ростовщику-еврею на условиях расплаты куском собственного тела. От начала до конца комедия, в основном, вольно инсценирует чужую новеллу.

Из всех известных историй о евреях Шекспир выбрал самую антисемитскую, с самым страшным персонажем, и предложил ее публике, наэлектризованной ненавистью к еврею-убийце (подлинному или мнимому). Спектакль был, как теперь говорят, обречен на успех. Таков замысел.

А дальше произошло чудо. Шейлок оказался наделен загадочным обаянием, стал будоражить воображение и совесть, и когда он произносил монолог о несправедливости мира к своему народу – кажется, первый в мировой литературе и до сих пор непревзойденный по силе чувства крик страдающего еврея, – зал на протяжении трех веков откликался состраданием.

Почему же это произошло?

Обостренная совесть великого гуманиста заставила его вступить за гонимых? Значит, желание сказать о них доброе слово заставило его взять такой антисемитский сюжет? Что ж ему мешало взять другой сюжет и другого героя, не людоеда, а благородную жертву, как стали делать гуманисты в более поздние времена? Может быть, соблазнил интересный образ, замеченный в подсознании? Но Шейлок – не главный герой, занимает не так уж много места в пьесе, а образы, надо сказать, "автору всегда удаются". Или же Шекспир поставил себе другую задачу, пошел путем парадоксов, в свой кровавый век решил показать, что в омерзительной преступности еврея виноваты сами христиане, и тем обелил еврея? "Милость к падшим призывал"? Но если зритель комедии не возрадуется победе добра над злом в финале, комедии попросту не получится, и в самом деле, победа блистательных героев над раздавленным пауком-ростовщиком происходит ко всеобщей радости. Шекспир скорее призывает к бдительности, чем к благодушному снисхождению. Кроме того, если гуманист оправдывает людоеда, какой же он тогда гуманист?

Я позволю себе утверждать, что гуманистами не рождаются, а становятся по очень веским причинам. Вильям Шекспир стал великим гуманистом потому, что был великим драматургом, мастером, который вынужден следовать законам своего ремесла, законам искусства. Драматург *обязан* увлечь зрителя, заинтересовать его своей историей, заставить его волноваться, не дать ему скучать и быть равнодушным. Если для этого надо потакать зрителю, если иначе нельзя, – он обязан это сделать. Если надо менять убеждения, пристрастия, язык, – мастер изменит все. А вот законы искусства изменить он не может. Они первичны. Кровавый зритель и потакающий ему драматург – оба

зависят от этих законов, без соблюдения которых не происходит чуда *сопричастности*.

Держась рамок статьи, посвященной дню сегодняшнему, я не могу отвлечься для подробного разбора пьесы и постараюсь лишь кратко показать, как свершилось чудо в "Венецианском купце".

В новелле Фьорентино не мог возникнуть вопрос, для чего ростовщику человеческое мясо. Новелла рассказывала о любви и благородстве, ростовщик был персонажем вспомогательным и мотивы его поступков никого не интересовали. В пьесе такое невозможно: любой персонаж в ней должен иметь психологические мотивировки своих поступков, и чем неординарнее, чем важнее для сюжета поступок, тем понятнее должны быть его мотивы, иначе зритель перестанет верить происходящему на сцене и потеряет к нему интерес. "Выдумывать можно все, кроме психологии", скажет потом Лев Толстой. Написанные в V веке до н. э. трагедии Еврипида идут на сцене и сегодня, поскольку психологические мотивировки в них безупречны. Не имело значения, гуманист Шекспир или человеконенавистник, он обязан был убедительно объяснить, зачем Шейлок так страстно добивается куска человеческого мяса.

Алчность Шейлока не могла быть мотивом поведения: кусок человеческого мяса даже в пищу правоверного еврея не пригоден. Между тем Шейлок по сюжету должен был в залог за большую сумму денег потребовать именно кусок мяса, а потом настойчиво требовать выполнения договора, иначе пропал бы такой выигрышный сюжет. Шекспир находит единственно возможное в этой ситуации объяснение – месть. Если бы мы с вами, дорогой читатель, взялись писать пьесу с таким сюжетом, мы не нашли бы никакого правдоподобного мотива, кроме мести, а во времена Шекспира это был очень уважаемый, хоть и не совсем христианский мотив.

Сразу все становится на свои места.

Но это надо еще сделать. Вот как мастерски это сделано в комедии.

Промотавший состояние молодой человек просит у Шейлока в долг крупную сумму. За него поручается богатый благородный купец Антонио. Этот Антонио безразлично презирает ростовщиков, евреев и самого Шейлока, он постоянно оскорбляет его. Шейлок же, как на грех, наделен чувством чести. Именно оно заставляет его брать процент. Благородный Антонио может быть бескорыстным благодетелем, а в положении Шейлока бескорыстие выглядит подлостью: "Синьор, вы в среду на меня плевали, в такой-то день пинка мне дали, после называли псом; и вот за эти ласки я дам займы вам денег?"

Оскорбления заставили ростовщика жить отшельником вдвоем с единственным близким человеком – дочерью, которая никогда не выходит из дому, чтобы не соприкоснуться с враждебным грубым миром. И вот теперь враг обращается с просьбой. В эту минуту Шейлок готов объясниться, но Антонио продолжает оскорблять его, отказывается от дружбы: Шейлок должен дать ему деньги не как другу, а как врагу.

Ах, так! Шейлок упоен: ненавистный человек, обрекший на затворничество его молодую дочь, пришел с просьбой. Какая прекрасная минута! Нет, Шейлок не станет наживаться. Никаких процентов! Шейлоку угодно пошутить: он отказывается от вознаграждения, пусть только Антонио напишет бумагу, что в случае неустойки он заплатит собственным телом.

Неустойка представляется всем нереальной: Антонио слишком богат. Нужно дьявольское стечение обстоятельств, чтобы он стал банкротом, так не бывает. Шейлок и не рассчитывает на это. Он счастлив. Какая упоительная шутка: тело великолепного Антонио становится его, Шейлока, собственностью! Это записано на бумаге! *Мысленно* это уже случилось на глазах у всех! Это куда унизительнее для купца, чем такой же *мысленный* пинок под зад, которым тот наградил Шейлока. Обернись шутка реальностью – это уже ничего не добавит к свершившемуся триумфу.

Шекспир хочет быть внятным, он исключает всякие другие прочтения. Пока Антонио совещается с другом, подписать бумагу или нет, Шейлок с горечью наблюдает за ними:

"О отче Авраам! Вот каковы все эти христиане: их жестокость их учит и других подозревать. Судите сами: если он просрочит – что пользы мне от этой неустойки? Людского мяса фунт – от человека! – не столько стоит и не так полезен, как от быка, барана или козла..."

Он неимоверно горд и после подписания бумаг отказывается от приглашения на обед:

"Я буду покупать у вас, продавать вам, ходить с вами, говорить с вами и прочее, но не стану с вами ни есть, ни пить, ни молиться".

После этого мы видим его уже потерявшим разум от горя: дочь сбежала с христианином. Она предала, обокрала его и навсегда погубила сама себя. Гордец растерял всю гордость, мечется, сам не слышит, что говорит, жалуется на судьбу злорадствующим врагам, забыв, что они враги:

"Дочь моя! Моя собственная плоть и кровь!"

Чтобы быть убедительным и понятным, драматург использует все возможности драматургии: известия о бегстве дочери и разорении Антонио приходят почти одновременно, новые подробности о том и другом чередуются, путаются в сумеречном сознании,

слова "собственная плоть" и "фунт плоти" Антонио взаимопроникают, как у современных поэтов, они все время рядом.

"И никакого отмщения!" – кричит Шейлок.

В своих безумных выкриках он остается верен себе, стеная об убытках, о стоимости унесенного дочерью материнского кольца, – это остается верным себе гений Шекспира: в сознании людей иррациональное всегда принимает форму рационального, в минуту гибели у нас нет других слов, кроме тех, которые мы произносили всю жизнь, божью кару мы измеряем в дукатах.

Шейлок решает требовать фунт плоти Антонио. Когда его спрашивают, зачем она, ведь не насытишься же этим мясом, отвечает:

"Пусть никто не насытится им, оно насытит месть мою".

В этом состоянии он и произносит свой знаменитый монолог о праве евреев называться людьми.

"Вы нас учите гнусности, – я ее исполню. Уж поверьте, я превзойду своих учителей!"

Тут уж прямо-таки оторопь берет: нужно было Шекспиру брать антисемитский сюжет, чтобы написать такую проеврейскую фразу?..

С этой минуты Шейлок закрыт для всех. Ему предлагают деньги, сумму удваивают – он отказывается: нет, только фунт мяса. Можно лишь удивляться зрителю, который веками видел в этом алчность.

Его умоляют, он отвечает:

"Я не из тех глупцов, унылых, слабых, что, охая и головой качая, на просьбы христиан идут".

Его стыдят – в ответ он произносит монолог о безнравственности своих судей. Ему угрожают – он ничего не боится. Правда, потом под угрозой смерти он соглашается принять христианство, но эта скороговорка брошена мимоходом и забыта, мы так и не видим раскаявшегося христианина Шейлока – такого христианина не может быть, и Шекспир проявляет такт, оставив тему.

Шейлок был обречен с самого начала. Это замечательно выразил его слуга, веселый христианин Ланчелот, в разговоре с его дочерью: она обречена на вечные муки в аду за то, что родилась дочерью еврея, единственная ее надежда может быть в том, что мать согрешила и на самом деле отец не Шейлок, а какой-нибудь христианин, но и в этом случае она попадет в ад – не за грех отца, а за грех матери. "Но я спасусь через мужа, – отвечает в тон умная девушка, – он сделает меня христианкой". – "Правду говоря, – размышляет Ланчелот, – за это его похвалить нельзя; нас, христиан, было и без того довольно: как раз столько, чтобы всем можно было прокормиться. А если еще понаделать христиан, то, пожалуй, повысится цена на свиней".

Вопрос поставлен остро. Зрители поглубже наверняка смеялись над этой обреченностью евреев. Может быть, с гусиным пером в руках доведя кликальную мысль до человеконенавистнического абсурда, усмехнулся и сам Шекспир.

Тут можно в очередной раз повторить общеизвестное: Вильям Шекспир – великий гуманист. Нисколько этого не оспаривая, отметим другое: такого прочтения анекдота требовали от него законы драмы.

Они подсказали единственно возможную мотивировку поступка: месть. Возник следующий чисто драматургический вопрос: за что ростовщик будет мстить? Он мстит безупречным благородным героям, следовательно, поводом для его мести должно быть нечто, что не бросает на них тени. В качестве повода не годится, скажем, гибель его дочери, разорение или изгнание. Просто побег дочери с христианином? Зрителю трудно поверить, что это может довести отца до безумия. Это лишь последняя капля. Драматург должен был найти другую причину для мести, достойную своих положительных героев, и он ее нашел: это ненависть Антонию к евреям, к ростовщикам, которые дают деньги под процент. Это уже серьезно: отрицание права Шейлока на жизнь. Антонию не скрывал своей ненависти, потому и стал отчий дом адом для Джессики, потому и потерял ее Шейлок. Не так уж неправ еврей, чутьем распознав высококонрастного виновника своих бед. Но в таком случае драматургический узел завязывается на расовой ненависти, и Шекспир заостряет конфликт всюду, где может, и через шутки Ланчелота и через монологи ростовщика.

Законы драмы требуют, чтобы в борьбе двоих было, по меньшей мере, равенство сил. Можно преувеличить силу Шейлока, угрожающего благородному Антонию, но нельзя ее преуменьшить – тогда не будет драмы. Если герою ничто не противостоит, героя нет. Шейлок должен иметь *свою* правду, *свою* силу, *свое* обаяние. Этого требуют законы искусства.

Из этого не следует, что Шекспир не гуманист, но, может быть, из этого следует, что *законы искусства сами собой творят гуманность.*

3

Признаюсь, я не случайно выбрал примером "Венецианского купца": хотелось оставаться в рамках еврейской темы, это может нам в дальнейшем разговоре.

Потому что опять эта тема, только не начало эры Гутенберга, а ее конец, с чего мы и начали, а теперь продолжим, на еврейском языке это звучит "Анахну мамшихим", и так называется один из рассказов Дины Рубиной.

Это добротная реалистическая проза, которая конструируется из реалистических образов, возможно – не сочиненных. Все, как в жизни. Жизнь такова, что вполне это возможно: женщина, московский инженер-электрик, в Израиле убирает виллы, работает натурщицей в студии, и когда вырубается свет, она с подиума летит голышом к электрощиту. Живет вдвоем с сыном, называет его Сержантом...

Реалистическая проза сегодня не востребована. Рассказ, написанный мастером изнутри самой жизни, займет свое место среди другой добротной прозы (чуть лучше, чуть хуже – кому это важно), которую, в принципе, не читают.

Сегодня читают другого автора, похожего на автора "Анахну мамшихим", но все же иного. Даже российские журналы, издавая, растеряв тиражи, дрались за новый его роман. В то время, когда читатель перестал покупать журналы и книги, его повести переснимали на ксероксах и передавали из рук в руки. В Америке и Германии на встречу с писателем собирались полные залы. Успех продолжает развиваться. Лучший его признак – имя (Дина Рубина) стало известно многим, не прочитавшим ни одной ее строчки.

Своим успехом Рубина обязана не спонсорам, устраивающим рекламу, не меценатам, не фондам, призванным подкармливать служителей идеологии, в нашем случае – сионистской, сумевших пробиться к кормушке. То, что она сделала, называется, кажется, кич, – конкурентоспособный рыночный товар. Был спрос, Рубина его удовлетворила.

Произошло это естественным путем. Писатель остался верен себе. Читатель, который у Рубиной был всегда, узнает своего любимого автора в каждой его новой вещи. Да что там – вещи, в каждой его странице. То, что изменилось в авторе, изменилось органично по всеобщим законам приспособления, по которым эволюционируют виды животных и растений, конструкции автомобилей и кофемолок, американские кинофильмы и антибиотики.

Жизнь быстро менялась, а Рубина успевала выпускать повести и романы, так что задним числом нетрудно проследить (мы не будем этого делать), как менялась ее проза от лирической повести к кичу. В середине этого ряда стоят повести "У врат твоих" и "Камера наезжает", они воспринимаются как вполне реалистические, описывающие обезумевшую жизнь. То есть, недавно она казалась обезумевшей, а теперь – нормальной.

Заметим, что в то же время и точно так же менялся читательский вкус. В конце 80-х читатель глотал романы в стилистике "Войны и мира" (Гроссмана, к примеру), потом Довлатова, и уже в начале 90-х востребовал острое восточное блюдо.

Совсем рядом, в американском кино, спрос уважительно изучали и в наше время, говорят, делают это по научным методикам, с моделированием элементов будущего фильма и с испытаниями зрительских эмоций на контрольных группах. Эмпирически выясняют, как реагирует психофизиология зрителя на конкретного актера в конкретной роли, на удлинение или уменьшение носа нарисованного персонажа. Автор мультфильма может сказочно разбогатеть, если его рисованное существо полюбят. Изображение замелькает на маечках и обложках школьных тетрадей, на пластиковых пакетах и в календарях... Но как знать, кого полюбят? Изучают биотоки контрольной группы, опутывают датчиками, следят по приборам и добиваются точного результата: сегодняшний человек полюбит именно такого лягушонка.

Некоторым это не по нутру. "А где духовные ценности?!" – схватится за голову "известный писатель Каганович" из романа Рубиной.

Слово-то какое, извините, рыночное – ценности. Давайте же будем серьезными. Эмпирические исследования приводят ко все большему и большему участию зрителя в создании художественного произведения. Вместе с художником он становится творцом фильма.

Собственно, именно в этом философский смысл успеха.

Переоценить это невозможно. Если в начале цивилизации у пещерного костра религия, философия и искусство неразрывно сливались в ритуальном танце перед тотемом, если это обеспечивало абсолютную психическую связь племени и внутреннюю гармонию каждого, то теперь с помощью науки, проникшей в зрелище, мы снова возвращаемся к былой магии и гармонии. Пусть не перед тотемом, пусть перед телеэкраном или чем-нибудь другим внутренний взор каждого из нас начинает видеть одни и те же образы. Создатели фильмов извлекли их со дна нашей души и теперь возвращают нам же самим. Начинаются поиски сюжетов. На стереотипы восприятия накладываются стереотипы самосознания: с героем должно происходить то-то и то-то. В фильме Сталлоне, Шварцнегера или Сигала сначала героя должны хорошенько избить, унижить, предать, только потом он должен начинать крушить врагов... Мы на новом уровне обретаем, как сказал бы Карл Юнг, коллективное бессознательное, коллективную душу.

Знать бы это коллективное бессознательное...

Не имея под рукой американской научной базы, мы поступим наоборот, по успеху книги постараемся определить, что запрашивалось читателем.

Стало быть, роман "Вот идет Машиах...". Что мы все заладили – кич, кич. Давайте же посмотрим, что в нем есть.

Еврей, требующий фунт мяса, сегодня не интересует драматургов, зато, как нам указывают антисемиты, большая часть драматургов в театре и кино сами стали евреями. Особенно в России. И вот эта удивительная нация, говорящая и читающая по-русски, в том числе драматурги, киносценаристы, журналисты, режиссеры, актеры на общем фоне инженеров и врачей, хлынула в крошечную восточную страну, основное население которой вовсе и не слышало о Шекспире и Шейлоке.

Они все – есть. Есть цитаты из их творений, причем это напоминает первоапрельскую игру юмористов, которые печатают перечень десяти невероятно несуразных новостей, предлагая угадать, какая из них подлинная. У Рубиной никогда не знаешь, цитирует она или пародирует, нам предлагается забавная игра.

Что еще есть? Животрепещущая злободневность: в нескольких героях легко угадываются известные всем прототипы, есть намеки на реальные организации и реальных людей, обыгрываются аббревиатуры и подлинные фамилии. Читатель включает-ся и в эту забавную игру.

При этом роман символичен. В его начале молодая женщина садится в автобус, и с этого мгновения все – нищий Мустафа, солдатик на сидении рядом с героиней, русский славянин в форме израильского солдата, шнурки на кроссовках водителя, вернее, их отсутствие, теперь уже знаменитое среди читающей русскоязычной публики, – все *символично* до самого конца, до пьяного дебоша в Йом Кипур, до самого Йом Кипура, до арабки с ножом, до последнего движения Зямы заслонить арабку, до смерти Зямы от руки израильского солдата, сына известной писательницы N., до радиокomentarия, покрывшего собой все, неистребимого, безобразного, какого-то кишиневско-бакинско-одесско-бердичевского голоса, не поперхнувшегося ни русской, ни еврейской, ни какой-нибудь другой культурой. Мы так настроены автором на символическое восприятие, что без труда переводим символы в формулы: ага, убила не арабка, убил наш, причем – сын той самой, породившей... Разгадывание символов мы любим почти так же, как разгадывание кроссвордов.

Злободневный символический роман требует злободневных символических персонажей.

Есть бизнесмен. "Сейчас он процветает. Живет там – здесь – там. Часто наезжает прикупить какой-нибудь автомобиль, еще квартирку, или ломтик промзоны где-нибудь на территориях..." Он невероятно удачлив, бизнес идет прекрасно, но у него депрессия, он пытается покончить жизнь самоубийством, и вот это нехитрое, по нашему мнению, дело – единственное, что ему не удастся. Выпрыгивает в окно – ломает ногу, вешается – вынимают из петли, открывает газовую конфорку – кончается газ.

"Похоже, на небесах не горят желанием встретиться с этим идиотом".

Это, пожалуй, все о герое, и это можно написать, ни разу не побывав в Израиле.

Есть врач. "Ведущий специалист по излечению депрессивных синдромов, Доктор, говорят, составил некую анкетку, вопросов сорок, не больше, – короткие такие вопросы по части "не желаете ли повеситься?", и подсовывает ее для чистосердечных признаний близживущему люду. Потом систематизирует ответы и пишет докторат на тему "Большая алия и суицидальный синдром". Или как-нибудь по-другому".

Старик Кугель, неопрятный, нищий, с какой-то физиологической неспособностью к правдивому слову, отирается по убогим редакциям, пишет обо всем на свете и выпрашивает стакан с чаем. В пятнадцать лет в Дахау он приобрел специальность укладчика трупов в газовой печи. Этот опыт мало кого интересует, и он – бесплатно, что ли? – под псевдонимом "Князь Серебряный" пишет безграмотные эротические романы:

"...огромная белая грудь вывалилась из ее прозрачного пеньюара, я в жизни не видал такой груди!"

"Он не видал. В Дахау он такой груди не видал", – раздражается героиня Дины Рубиной, редактируя этот текст для своей газеты.

А дед этой героини, Зяма, в гражданскую войну был мужем атамана. Банда, как ей и положено, устраивала кровавые еврейские погромы. Атаман Маруська укладывала свои пшеничные косы вокруг лба. Деда повесили, но в другой раз и другие люди. А потом он однажды открыл крышку сундука, в котором пряталась от погромщиков молодая красавица... А потом умер, помыв перед сном ноги, как цадик.

Есть Ангел-Рая, Саша Рабинович, Юра Баранов и Боря Коган, несколько других персонажей, и все они созданы тем же способом: "Из одной-двух внешних черточек лепится фигура (тут главное стекой тщательно отскрести лишнее), и одной-двумя характерными фразочками в нее вдыхается жизнь".

Рубина утверждает, что это делается потому, что "невозможно перенести живого человека на бумагу, он на ней и останется бумажным, застывшим". "Оставим дурному натуралисту это недостойное занятие", – дурачит нас она. Но если перед нами не рисунок с натуры, если художник предъявляет нам конструкции, то мы вправе задать вопрос, почему он выбрал именно эти конструкции из бесчисленного множества возможных. Если Рубина сама декларирует нам свои принципы письма, она не имеет права ссылаться на спонтанность своего творчества.

Вот в какую игру вовлекла нас Дина Рубина. Как правило, мы всегда понимаем, какую символическую нагрузку несет тот или иной персонаж.

Все эти игры происходят на фоне подлинных человеческих чувств, знакомых каждому из нас. Это все наши собственные чувства:

"...Она поняла – что натворила со своей жизнью, уже на пересадке, в Будапеште. Как это бывает – вдруг, просто, обыденно-беспощадно: мгновенное озарение правдой, свободной от "точек зрения".

...Она опустилась на скамью и зарыдала молча, страшно, содрогаясь в невыносимых конвульсиях, защитив лицо руками, безуспешно пытаясь совладать с этим, неожиданным для нее самой, припадком смертельного отчаяния. Рядом ее муж держал на руках младшего ребенка и растерянно смотрел на нее".

Отметим здесь особенность голоса Рубиной: рядом с расхожим штампом "содрогаясь в невыносимых конвульсиях" стоит пронзительно-зоркое "защитив (а не закрыв! – А.К.) лицо руками". Закрыть лицо руками – это тоже штамп, знак чувства вместо самого чувства. Рубина берет стереотипный образ приближительной изобразительности и неожиданно емким словом делает его движением души.

Нашей души.

"Кормили всех тоже в каком-то спортивном зале, партиями... все смутно, никчемные лица перед глазами, обрывки фраз, мусорная дорожная мелочишка, бред, сон дурной... И горечь, страшная первородная горечь, чечевичная отрыжка Эсава: вот так мы бежали из Испании, вот так мы бежали из Германии, вот так мы бежали из Польши, вот так мы бежали из... вот так мы бежали... Вот так Я избрал тебя из всех народов, как стадо свое, и стану перегонять тебя, как стадо, с места на место, чтоб не забывал и не успокаивался, и не смешивался с языками другими...

Наутро погрузили всех в автобусы и отвезли в аэропорт".

И это есть: мы, странная нация, привыкли искать ответ на жизненные вопросы в книгах, и одна, как в известном анекдоте ("Что ему подарить? Книгу?" – "Но у него уже есть одна") у нас уже была. Какое-то время нам даже казалось, что ее достаточно. Возможно, и Рубина первоначально ощущала то же, соотносила все с той единственной книгой, видела жизнь через нее. Это называется аллюзией. В самой первой повести "У врат твоих" это еще заметнее. Отсылка к Торе в ней больше. Саддам Хусейн воспринимается через библейские аллюзии. В комнате, закупоренной на случай газовой атаки, героиня не может выйти в туалет, садится по малой нужде на горшок, рядом – плачущие в противогазах дети, муж, и когда кончится эта трагикомедия, ска-

зано в Торе: известно, когда – когда начнется праздник Пурим. Что и происходит на самом деле.

Разве мы с вами, кто с юмором, а кто всерьез, не отмечали это? А чей это взгляд:

"...это были старые евреи, советская ветошь, выброшенная из страны безнравственной властью без пенсий и сбережений (их жалких пенсий и жалких сбережений). И сейчас он собирался вломить им как следует за все: за то, что не знают своей истории и своей великой религии, отстегнувшей от себя всем сестрам по серьгам. За их Великую Отечественную, в которой они участвовали, за все войны Израиля, в которых они НЕ участвовали, за то, что не приехали сюда ни в сорок восьмом, ни в шестидесятых, ни в семьдесят третьем. За то, что приперлись сюда сейчас – амбициозная рухлядь, – на пенсии, квартирные и бесплатные экскурсии. За то, что не покупают бриллианты в лавках. За то, что весело жрут благотворительные комплексные обеды. За то, что у половины из них – детишки свалили в Канаду".

Наш, конечно, чей же еще. Мы достаточно "широки", чтобы совместить это с "чечевичной отрыжкой". Еще, чтоб "пошире" было, и добавим: "Понаехало жидов..."

Приведу еще лишь один, последний, самый прозрачный пример: писательница Н. "выслушала миллион восемьсот тысяч двести пятьдесят третью историю о расстрелянной гитлеровцами сестре Фирочке, упавшей в яму и засыпанной землей. На рассвете ее – по шевелящейся глине – откопал какой-то белорусский крестьянин и укрывал в хлеву со свиньями до конца оккупации..." Рассказано это в очень забавной сцене, когда мы еще не погасили улыбок оттого, что рассказчица похвастала: ее внук – один из самых знаменитых сутенеров Голливуда, "профессия, сами понимаете, не для слабонервных". Оказалось, на самом деле внук – каскадер, старушка просто спутала два иностранных слова. И вот на этом фоне – про пятилетнюю Фирочку. И – "все мы тут – каскадеры. И государство это – вечный каскадер..."

"Между прочим", – сообщает Рубина именно так, между прочим, – писательница-то Н., слушая о Фирочке, плачет, и тут же язвительно называет свои слезы творческой эрекцией, и на месте Фирочки со всей мощью своего незаурядного воображения представляет собственного сына, и сердита на себя за свои слезы, оправдывается, и... "Нет, не буду я писать о Фирочке", решает она. Дальше идет прекрасный абзац, но я прервусь здесь: вот так про расстрелянную пятилетнюю девочку и белорусского крестьянина Дина Рубина, несмотря ни на что, в том числе, несмотря на собственные декларации, все-таки, *черным по белому написала!* Не могла не написать и – написала, пусть она меня простит, чувствуя себя, как рыба на сковороде.

Да как же не чувствовать себя так, когда все эти события называются в Израиле Катастрофой, на иврите это слово – "шоа", и кто-то остроумно припечатал словом "Шоа-бизнес" легионы пошляков, зарабатывающих пером на национальной трагедии. Лучше этого совсем не касаться. Но ты не можешь об этом не думать и не писать. Нельзя писать и нельзя не писать. Также непонятно, как быть с компенсацией из Германии. Нельзя брать эти деньги, помня, за что они, но нельзя и не взять, и не только потому, что очень нужны, но и из брезгливого отношения к дешевым красивым жестам... Ничего нам нельзя, куда ни кинь. Отдать Голаны сирийцам? Нельзя. Не отдать? Нельзя... "Оттуда никто не спасся, ни я, ни вы", – флегматично замечает Рудольф Кугель, бывший укладчик трупов, помешивая ложечкой чай.

Задним числом, идя вслед за читательским успехом Дины Рубиной, мы можем предположить: так вот, оказывается, о чем хотел прочесть читатель – обо всем этом. О нас, конечно, о нас, таких неинтересных и мелких в нашей суете, о "мусорной мелочишке", о нас, сегодняшних, узнаваемых, но обязывающе соотносенных с Катастрофой, с российской гражданской войной и погромами, с великой "нашей" книгой, с арабами и территориями.

Читателю нужна самая малость: чтобы кто-то связал то, что перестало связываться само собой.

Перестали связываться стереотипы, которыми он жил.

Дина Рубина берет все стереотипы, которыми жив читатель, и выворачивает их наизнанку. Таким образом религиозный иудей оказывается русским Юрой Барановым, антисемит – евреем Борей Коганом, узник Дахау пишет эротические романы, религиозные евреи пьют, не просыхая, водку, комиссар гражданской войны был мужем атамана Маруськи, русские бородатые патриоты похожи внешне на бней-бракских раввинов, верующий иудей носит фамилию Христианский ("У врат твоих"), преуспевающий бизнесмен одержим идеей свести счеты с жизнью и ему никак не удастся это сделать.

Вывернув стереотипы, Рубина изобразила нас грешниками и бражниками, ленивыми и глуповатыми чудаками, непоследовательными самоедами, неприспособленными к жизни мечтателями. На работу являемся пьяными, как сапож... как Сапожников, а уж коль праздник, Пурим, Пасха, даже Йом Кипур – пропадай, моя телега, гуляй, рванина, от рубля и выше.

Мы пришли в восторг. Такими мы согласны быть. Берите нас в русскую мафию. Тем не менее, от выворачивания стереотипы не становятся чем-то иным. Так что отвечая на собственный ранее заданный вопрос, почему вместо того, чтобы рисовать с натуры, автор вовлек нас в игру с изготовлением персонажей из двух-трех черточек и зачем ему понадобилось декларировать это, я берусь утверждать, что таким образом он, решая какие-то

свои собственные проблемы художника, сумел возбудить и ярко выпятить все наши стереотипы самоидентификации.

Если теперь мы сведем все вместе, то заметим, что роман "Вот идет Машиах..." имеет все черты шлагера. Это шлагер в прозе – символические стереотипы в свободной композиции, образующие в целом тоже символ. Наше собственное существование в своем символическом измерении всегда выглядит привлекательнее, чем в реальности, наши собственные чувства в шлягере почему-то (далее мы поговорим, почему) предстают значительными, мы делаемся не похожими на себя и в то же время себя узнаем. У этого шлагера горькая ироническая интонация и нет любовной темы. Так тоже бывает.

У романа "Последний кабан из лесов Понтеведра" и подзаголовков музыкальный: испанская сюита. Устроившись на работу в *матнас*, героиня оказывается невольной свидетельницей любовного романа. Испанский любовный роман – самый любовный из всех. Даже современные любовные телесериалы все – на испанском.

В выборе темы Рубина опять попадает в десятку, пишет о самом интересном. Пять лет назад нас мало интересовала любовь, больше – устройство на работу, овладение языком, исторические корни... Сейчас Израиль интересует нас больше нас самих, без испанских корней современный Израиль не понять, испанские корни не понять без любовной истории.

Как и прежде у Рубиной – исторические аллюзии. В первом романе они ветхозаветные, во втором – испанские. Карлик – талантливейший шут по профессии и призванию. У него красавица жена. У нее любовник – сам король (король здесь – директор *матнаса*).

А дальше, как и в прежних вещах, Рубина, дав нам заглотнуть наживку, пишет совсем о другом. Да, любовный роман, тайна, коварные интриги, записочки, попытка натравить мужа на любовника, смертельная ревность, романтическая предыстория, грех, нагнетание знамений, рок (не музыка, нет, у этого слова был когда-то еще один смысл), мечи и кинжалы, кольчуги и доспехи, пропасть в горах, дуэль, гибель!

Да, формально все это наличествует, так что вексель оплачен. Но в этом романе нет ни слова о любви. Мы понятия не имеем, любят ли любовники друг друга. Жена, правда, изменяет мужу с любовником, но это ведь не доказательство любви. Очень может быть, что обманутый муж тоскует скорее от полнейшей несурзности всего происходящего, чем от ревности. Хуже того, героиня любовного треугольника так и не появляется в романе. Рассказчик строит свой рассказ на собственных впечатлениях, а он настолько в стороне от любовной этой истории, что с героиней просто не пересекается, на наше счастье дважды

видит промелькнувшую красную "Субару" начальника *матнаса*, в которой сидит роковая эта незнакомка. Не случись этого, мы вообще бы ничего не узнали.

Мы читали романы о любви и читали романы о ее отсутствии. Нет любви, не состоялась она – и об этом пишут серьезный роман.

Но такого в литературе, сколько я знаю, не было: Рубина написала любовный роман, в котором ничего нет ни о любви, ни о ее отсутствии, ни о ее иллюзии.

Зачем писать о любви? Разве вы, читатель, не все про нее знаете? Ведь столько уже написано. Вот и Шекспир много писал. В том же "Венецианском купце" влюбленные очень много говорят о любви. Что ж еще раз писать, если вы, читатель, все равно можете узнать о любви лишь то, что вам предопределено от роду, а это вы уже знаете.

Но что же мы тогда читаем? Автор называет это *скиутой*...

Я попытаюсь предложить иное определение жанра.

На мой взгляд, этот жанр – открытие в литературе, и в то же время он закономерно вырастает из всей прежней прозы Дины Рубиной по ходу ее развития от доизраильских ее вещей, через две повести, через "Вот идет Машиах...".

Не решаясь сразу произнести слово, я постепенно подготовлю к нему читателя.

Вот вместе с Диной мы впервые вступаем на эту территорию любви и видим вторую героиню, бравую Таисью. Ей уготована важная функция: вьедливый глаз и бескомпромиссность, которые позволяют говорить все, чего не может позволить себе героиня. Сначала слышим два голоса: визгливый хулиганский и второй, мурлыкающий и журчащий. В языке первого – хулиганский беспредел, второй учит ребенка, как надо исполнять музыкальное произведение. Оказывается, Таисья одновременно говорит по двум телефонам, оба голоса принадлежат ей. Для сюжета не имеет никакого значения, что и почему говорит Таисья. Идет какая-то разборка с отцом по поводу квартиры, но это так и не имеет продолжения в романе.

Помните, как в аэропорту Будапешта известная писательница N. закрыла лицо руками и зарыдала? Мы отметили тогда: это *знак* чувства, а не само чувство.

Да, знак, образ, символ.

Зрительные образы впечатываются в нас сами собой – женщина, спрятавшая лицо в ладони, женщина, с ошеломляющей наглостью орудующая сразу по двум телефонам.

А вот нечто эпическое, гомерическое: Бенедикт Белоконь. Он приехал со своими сподвижниками давать концерт, и из своего минибуса увидел, как рабочие сколачивают сцену.

"Выскочив, он набросился на рабочих, стал давать советы, кричать на них и заставлять что-то там переделывать. При этом поднял какую-то тяжелую балку и, багровея, из последних сил удерживая ее, тряся лысой шишковатой головой, кричал:

- Все ко мне! Ко мне-е!

Из микроавтобуса посыпалась его бригада – несколько человек обоего пола с лицами немолодых энтузиастов. Они схватились за балку с другого конца; почему-то и я подбежала, и даже мои пенсионеры заспешили к багровому Белоконю и совместными усилиями все мы зачем-то оттащили балку в противоположный конец площади. (Позже я слышала, как страшно ругались рабочие, водворяя балку на место.)"

Дина Рубина дала нам визуальный образ, вместивший в себя все, что следовало об этом человеке знать.

Мы имеем дело, все-таки, не с сюитой, а с видеорядом.

Дина Рубина создала – наконец, я решаюсь это сказать, – видеоклип.

Как в каждом хорошем клипе, изображения нескольких видеорядов чередуются, а к концу взаимопроникают, связывая то, что по законам логики и прозы, вроде бы, связать нельзя. Связываются символы, образуется предчувствие. В романе это сделано ошеломительно. Темп убыстряется, нетерпение нагнетается, абсурд Белоконя как видеоряд всей нашей прошлой советской жизни, музыкально-драматическая композиция наряженных детей, как тема Пурима и Торы, средневековые костюмы, доспехи, кольчуги и латы на героях как испанская тема, к этому присоединяется еще один видеоряд – эпитафий из средневековой поэзии, монахи, трубадуры, пророки, святые, все покрывается ослепительным извержением салюта над иудейской пустыней, на его фоне – силуэты двоих, дуэль, рок, смерть, финал, Дина Рубина снова нас победила, она устало снимает маску – представление окончено.

Разумеется, слово *видеоклип* тут условно, с поправкой на разницу между магнитной пленкой и текстом на бумаге. В образительность входят и непотребщина Таисьи, и тексты песен, и ироничность авторской фразы, и сама фигура автора, потому что в каждой ее фразе мы видим жест.

Видеоклип сменил шлягер.

Когда на телевидении стали записывать изображение исполнителей шлягеров, возможно, никто не предполагал, что создает новое, ни на что не похожее искусство. Снимали певца и музыкантов, монтировали разные их планы... Прошло несколько лет, и возникли специальные телеканалы видеоклипов. Это случилось совсем недавно, на наших глазах. Никто не знает, к чему придет новое искусство, какие глубины человеческой психики откроет.

Выйдя из шлягера, клип живет теперь самостоятельной жизнью. Мы знаем только, что рациональность построения его убивает.

Дина Рубина пришла к нему, органично развивая свою прозу, после того, как создала шлягер. При этом она сохранила свое уникальное чувство слова, свою блистательную фразу, свою интонацию и, как мы убедимся, все тот же свой *последний секрет*.

Впрочем, "при этом" или "благодаря ему"?

4

Видеоклип создали, чтобы донести свою песню.

Повести и романы Дины Рубиной повествуют об одном единственном духовном событии, рассказывают одну историю. Недаром замечено, что каждый писатель всю жизнь пишет одну книгу. Она может строиться как сюита, шлягер или видеоклип, автор может менять жанр в соответствии с требованиями дня, но он не может написать чужую книгу.

Рубина рассказывает о молодой женщине, возраст которой, жизненная позиция, почти все жизненные обстоятельства и опыт соответствуют авторским. В повести "Камера наезжает" молодая героиня, автор свежей лирической прозы, получает предложение экранизировать свою повесть. Размер гонора за нее ошеломляет: она, наконец, сможет купить квартиру, выбраться из нужды. При этом от нее требуется сделать низкопробную халтуру, опуститься до уровня агрессивных малограмотных дикарей, угождать им и жить бок о бок с ними. Героиня оказывается одной против целого мира, она пытается бежать с киностудии, иногда затевает бунт, при этом понимая, что ее сопротивление – СМЕШНО. Это праведник, который понимает, как смешно в этом мире быть праведником.

Если не праведница, то кто она? Нет и слова в нашем языке для обозначения, но у Рубиной, как всегда, есть образ: одна в пустой гостинице, ночью, беззащитная и беспомощная, героиня прячется от веселых негров, которые ищут ее по всем этажам, чтобы изнасиловать. Загнанная в тупик, героиня вылезает в окно, за что-то уцепившись, висит в темноте над бездной. Не видя ее, негры мочатся на нее из окна, а она из последних сил держится, захлебывается и не обнаруживает себя ни звуком.

Повзрослев на несколько лет, героиня оказывается в Израиле (повесть "У врат твоих"). Она остается писателем. По-прежнему, но с еще большей остротой выбивается из нужды, ищет работу, снова приспосабливается к дикарям, хоть те уже владеют несколькими иностранными языками и работают на компьютерах. Почему-то все время хозяевами жизни оказываются дикари, почему-то все время умная, образованная, красивая молодая женщина – аутсайдер. Уже не мочой ее поливают,

а "Скадами", хоть и в этой сцене в заклеенной комнате, в хедер *атум*, струя мочи – в ночной горшок – тоже есть. Героиня сидит на горшке, успокаивает детей, в промежутках между воздушными тревогами мечется в поисках денег и еды, редактирует бесконечный роман, благоухающий, как парикмахерская в Бердичеве или Кишиневе. Автор его, кажется, влиятельная сионистская деятельница, слегка забуксовала на собственной фантазии, будто антисемиты спят и видят, как бы изнасиловать евреек. Она пишет роман быстрее, чем героиня редактирует.

Настоящий хедер *атум* – не дома с детьми и мужем, а комната трех российских молодых женщин, иронией и юмором отгораживающихся от окружения монстров. И как ночью в пустой среднеазиатской гостинице, никто им не поможет, ни мужья, такие же беспомощные и неприспособленные к этому миру, ни пообтершиеся здесь интеллигентные друзья, которые могут дать дельный совет, но, к сожалению, всегда пьяны.

Как ни странно, героиня не похожа на жертву. Она притворяется своей, преданными глазами смотрит на торжествующих носорогов, и при этом сама, подобно герою Ионеско, не становится носорогом, безошибочное нравственное чувство никогда не изменяет ей, дезориентировать ее, купить лестью, добрыми намерениями или несчастным видом никому не удастся.

И вот что удивительно (или самоочевидно?): когда Рубина мастерски "лепит из двух-трех черточек" свои образы, она хорошо знает, что делает; когда же она рассказывает о своей героине, ни мы, ни, беру на себя смелость сказать, сама Дина Рубина не знаем, что дает духовную силу этой женщине – семья, дети, необходимость добывать им кусок хлеба или же интеллигентная профессия, образование, привычка мыслить, способность существовать в измерении общечеловеческой культуры. В *незримом* художественном образе нельзя ничего вычленить – культуру, материнский инстинкт, женский инстинкт и мужественный юмор. Они органично образуют одно целое. Хочется красиво выразиться: вот где подлинный хедер *атум*, – но метафора слишком груба, она для видеоклипа, а мы вслед за Рубиной уже преодолели его, проникли глубже.

Литература издавна занята поиском цельного существа, эдакого атланта современной земли. Достоевскому привиделся кауфельный мужик, Толстой нашел Платона Каратаева, Хемингуэй искал его среди рыбаков, русские почвенники – среди русских крестьян, якобы неиспорченных цивилизацией, занятых простым трудом, создающих безусловную ценность – хлеб. А цельность явила себя миру не у них, а в прозе российских женщин.

Так случилось. "Простая баба" оказалась-то не так уж и проста, она приобретательница и хищница, ей всегда всего мало, глаза у нее завидующие, и только пока речь идет о разбитом ко-

рыте, она терпима, а дальше – читайте "Сказку о золотой рыбке". Именно смятенная, преодолевающая слабость и страх интеллигентная российская женщина с высшим образованием и тяжелыми сумками в руках, брошенная в жизнь без отцовского наследства и семейных бойцовских традиций, выросшая среди интеллигентских споров об искусстве и смысле жизни, именно она, ни на что не претендуя, оказалась тем цельным существом, которое все искали. Дина Рубина "забыла" про образы из двух-трех черточек, и оказалось, что можно "живого человека перенести на бумагу".

Я поставил кавычки в слове "забыла", потому что в искусстве ничто не делается само собой, ничто не возникает случайно без мучительного труда. В "Вот идет Машиах..." Рубина в духе современных театральных спектаклей разъяла героиню на два воплощения: Зяму и писательницу N., которая пишет роман о женщине по имени Зяма. Писательница и ее создание находятся в сложных динамических отношениях, в итоге Зяму случайным выстрелом убивает сын писательницы N. – символ в духе избранного жанра. (Законы шлягера соблюдены, и тут мы обнаруживаем, что роман не пострадал от этого, что не пострадала и та правда, которую он несет).

Прием двух воплощений одного лица как будто говорит нам, что цельность уступила место раздвоенности. Писательница N. ненавидит "свой народ", а Зяма радуется приобретенному чувству сопричастности с ним. Эта разница декларируется, мне же она представляется не очень важной: очутившись на новом месте, увидев вокруг себя новых людей, полюбить их или возненавидеть? Несерьезно это. Все тот же "пропахший мочой" мир окружает героиню, дело ведь не в национальных отличиях, и так будет всегда, даже когда придет Машиах и скажет:

"Я послан к сынам Исраэля."

Он и пришел однажды.

"- Что вам, собственно, угодно? – необычайно деликатно спросил Витя.

– Мне? Посцать, – сказал Машиах вежливо".

"Меня поражает не это, а неизменная сила и свежесть твоего потрясения", – замечает муж писательницы N..

Возможно, это потрясение с амплитудой от любви до ненависти и есть *последний секрет* Дины Рубиной, оно и делает ее большим писателем независимо от того, какой прием или жанр она выбирает.

Жизнь героини продолжается и в новом романе "Последний кабан из лесов Понтеведра". Он начинается прямо с представления:

"Моя должность, в сущности, называлась "Дина из Матнаса". Я так и представлялась, когда телефонными звонками собирала

на концерты-лекции местных пенсионеров: здравствуйте, вас беспокоит Дина из Матнаса. (Вас беспокоит дурочка из переулочка, Саша с "Уралмаша", дунька с водокачки, халда с помойки)".

Вас беспокоит Иванушка-дурачок, Микки Маус, бравый солдат Швейк, шут Риголетто.

Мужчины и женщины, в общем-то, находятся в равных условиях. Мы все достаточно беспомощны, бессильны в этом мире, безнадежны. Мужчины, как правило, не могут в этом признаться даже самим себе. Женщины – признаются. Может быть, поэтому в нашем веке все в большей и большей степени поэзия и проза становятся женским делом. Женщины взяли на себя трудную обязанность самовыражения. У них, которые лучше нас и потому более нас унижены и оскорблены, есть привилегия нас *беспокоить*:

"Стоял прозрачный горный день, и тень от арки темно-фиолетовым сегментом легла на залитый солнцем, ослепительно желтый торец соседнего здания. В этом месте Иерусалим особенно напоминал ей один из европейских городов, какую-то помесь Праги с Парижем. Ступить, и оступиться, и покатиться с этих теплых каменных ступеней вниз, и лететь бесконечно, ниже, ниже уровня мостовой и ниже уровня моря, ниже уровня жизни, взрезать острым ножом свою дряблую усталую душу и выпотрошить ее, и пустить труху по ветру... Раствориться, не быть...

Впрочем, кажется, это Шекспир..."

5

В новелле Фьорентино, откуда Шекспир взял сюжет, героиня, молодая богатая вдова, ставит искателем ее руки условие: они должны пройти пикантный и рискованный тест – она назначает каждому свидание, искатель руки должен овладеть ею. Если же он не сумеет, то проигрывает свое состояние.

Шекспир, заимствовав из новеллы даже все места действия, тест вдовы заменяет другим, заимствованным из новеллы другого автора: мужем Порции станет тот, кто отгадает, в каком из трех ларцов, золотом, серебряном или свинцовом, лежит ее портрет.

Не нужно быть драматургом, чтобы видеть, насколько отвергнутая история интереснее и драматургичнее ее заменившей. Шекспир не воспользовался и другими возможностями драматизации, не стал приспособливать буйную итальянскую фантазию к пуританскому английскому зрителю, а написал большую сцену, где ничего не происходит, а претенденты на руку Порции произносят длинные монологи о золоте, серебре и свинце.

Наверно, для этого у него существовали веские причины. Тем не менее, какая бы ни была причина, Шекспир, сохраняя историю Шейлока, прежде всего должен был связать все ее

части единым смысловым узлом, и история ушлой вдовушки ему не подходила.

Миру зла должен был противостоять мир добра. Шекспир его создал. В нем царят милосердие, бескорыстие, любовь и верность. Как все эти прекрасные качества победят Шейлока?

В последующие времена нежные беспомощные существа бросались к ногам сильных мира сего, моля о пощаде или защите. Затем страсть стала самостоятельно побеждать корысть силой заключенной в ней энергии. Потом мир стала спасать красота, заключенная в человеческой душе, и в то время, когда Достоевский писал свои романы, Ницше написал, что жизнь имеет смысл только как эстетический феномен, то есть, в сущности, имел в виду то же самое.

Шекспир же написал свою комедию на рубеже 16-17 веков. У него Шейлока побеждает разум. Порция, переодевшись правоведем, является на суд и сражает ростовщика холодной изощренной логикой.

В комедии разум всемогущ. Венецианский дож мог бы в порошок стереть еврея еще до суда, но без колебаний отдает ему Антонио во имя закона республики. Закон превыше всего, это – воплощенный разум, конец феодального произвола, единственная надежда. Утопия? Может быть. Само слово "утопия" введено Томасом Мором в язык всего лет пятьдесят назад. Оно как раз и означает Царство разума.

Вот почему нужна история с ларцами: по законам Царства разума женщина достается в результате интеллектуального состязания самому мудрому, презиравшему золото и серебро. Кстати, победивший Бассанио влюблен в Порцию, а в начале комедии говорит друзьям, что должен жениться на богатой Порции потому, что разорен. Что ж, в Царстве разума расчет и любовь могут совпадать. Это через двести лет начнут противопоставлять сродство душ и меркантильность, а во времена Шекспира еще есть надежда, что любовь разумна, выгода ее питает, разум и природа не могут противостоять друг другу.

Это была молодость великой иллюзии. Вера в разумность мира начиналась как ересь в головах немногих гуманистов. В год создания комедии родился Рене Декарт, вскоре родился Спиноза, ни у кого не возникало сомнений, что понятия добра и зла можно вывести "геометрическим путем" из основных аксиом бытия.

Как известно, судьба всякой истины сначала быть ересью, потом предрассудком. Шекспир, будучи человеком своего века, должен был верить в пришествие века Разума. Как драматург, он пытался противопоставить миру зла этот мир разума и добра, победивший на отдельно взятой территории театральных подмостков.

Можно, конечно, утверждать, что "мир разума и добра" у него не получился. Можно с тем же успехом утверждать, что он не получился у самого господина бога. Давайте лучше взглянем на то, что же получилось.

Нас ждет неожиданность.

Начинается комедия с реплики разумного и доброго Антонио. Он жалуется:

Не знаю, отчего я так печален.

Мне это в тягость; вам, я слышу, тоже.

Но где я грусть поймал, нашел или добыл,

Что составляет, что родит ее, – хотел бы знать!

Друзья в поисках ответа перебирают все возможные рациональные причины для печали. Отвергая их, Антонио произносит фразу, которой суждено было бессмертие в качестве поговорки:

Мир – сцена, где у всякого есть роль;

Моя – грустна.

В другом переводе: мир – театр, и люди в нем – актеры.

Словно бы не довольствуясь тем, что написал бессмертную фразу, Шекспир убеждает нас в ее справедливости. В комедии *все без исключения* женщины надевают мужские наряды и выдают себя за мужчин. Они делают это по разным причинам, у каждой есть свой более-менее рациональный резон, а мир от этого делается двусмысленным. Еще более двусмысленным делает его повальная тяга к розыгрышам. Ланчелот, повстречав ослепшего отца, без всякой корысти и цели первые минуты разыгрывает его, скрывая, что он – сын. Порция по меньшей мере дважды разыгрывает любимого Бассанио. Что за странная страсть у нее мучить влюбленных мужчин, бескорыстно и коварно терзать мужа?

Двусмысленна мужская дружба. Сегодня говорят, что под дружбой Антонио и Бассанио скрывается гомосексуальность. Двусмысленна любовь Бассанио, который хочет поправить женитьбой свое материальное положение.

Но и этого Шекспиру мало, он растворяет действие в маскарade на улицах Венеции.

Все – в масках!

Знаменитый Венецианский карнавал!

"Держу до пят, которая мне досталась, я просто накинула поверх свитера. К ней прилагался плащ с большой серебряной застежкой, высокий островерхий колпак и нечто вроде лютни с пятью обвислыми струнами. На лицо я натянула тривиальную черную маску "домино" и осталась вполне довольна своим видом..."

Это уже из романа Дины Рубиной "Последний кабан...", праздник Пурим, к которому так долго готовились, и который, наконец, грянул, втягивая все действие в свой маскарad.

"Я зачарованно глядела на застылый рыцарский двор, на застолье придворных.

Именно таким оно представлялось мне все эти месяцы. Именно эти, горящие в канделябрах свечи, эти костюмы, эту глубокую тьму по углам зала представляла я каждый четверг под завывание ветра. Правда, сейчас все носило ярко выраженный бутафорский характер, но если уж разобраться, разве наше воображение – не есть бутафория в чистом виде?"

Воображение – бутафория, значит литература – бутафория, но что же за пьеса играется, кто ее написал? Что за странный сюжет выбрала Дина Рубина для своего последнего романа?

С одной стороны – все та же ее героиня, снова, как и раньше, новое место работы и угнездование с прежними проблемами, а с другой стороны – шут, страдающий от ревности, старая история, опера Верди... Да ведь и Верди взял сюжет из драмы Виктора Гюго, и он тоже перенес действие из одной страны в другую... А маскарад? Помнила ли Рубина об афоризме Шекспира? Ведь и в повести "У врат твоих" описан этот еврейский праздник Пурим, когда веселые маски заменили противогазы на детских лицах...

Я не знаю, суждено ли бессмертие словам Дины Рубиной о том, что наше воображение – бутафория. Склонен думать, не суждено, поскольку это сказано далеко не в первый раз. Карл Густав Юнг давно уже ввел в науку понятие *архетипа*, врожденных представлений, присущих человеку на протяжении всей его истории.

Мы отмечали, что Дина Рубина работает в жанрах, где читатель с благодарностью узнает свои собственные стереотипы, и разночтение, вызванное авторской иронией, выворачиванием стереотипов, его не смущает, поскольку ирония сама по себе – вполне расхожий стереотип. Пародия – последнее прибежище мифа.

Теперь же мы пришли совсем к другому. Есть *архетипы*, нечто вечное, в сравнении с чем все наши чувства и мысли, наше воображение, стереотипы – всего лишь бутафория, знак времени. Они, если верить Юнгу, принципиально непознаваемы, мы ничего не знаем о них, лишь смутно догадываемся, что они существуют. Собственно говоря, это уже тема другой статьи. Мы лишь отметим то, что необходимо для завершения нашей. Хотелось бы обойтись при этом без ссылок на науку.

Так вот, то, что мы называем своей совестью, не совпадает с нравственностью или моралью. Требования морали могут быть выражены в словах. Они и выражены в заповедях Торы. Требования совести к словам не сводимы. Эти *установки* существуют в нас в виде образов. Мы не создаем эти образы, но узнаем их, как узнаем знакомое лицо в толпе, не умея объяснить словами, почему мы отличили его от тысяч других.

Только через образ могут прийти в наше сознание бессознательные установки нашей совести.

Невнятно? Да, пожалуй, не совсем внятно, потому что по необходимости я попытался выразить иррациональное рационально, логической фразой.

Образ же не может быть невнятным. Писатель набредает на него иной раз совсем случайно, копаясь в "мусорной мелочишке", выискивая в ней то, что может развлечь читателя. Если при этом его ведут законы искусства, результат возникает "сам собой". Я приведу лишь один, но очень внятный пример из романа "Вот идет Машиах...".

"Сначала ему показалось, что на лестнице раздраженно беседуют несколько человек, но уже через секунду все выяснилось.

На площадке между первым и вторым этажами, лицом к окну стоял, покачиваясь и цепляясь за перила, сосед-алкаш. Он – сначала Вите показалось это невероятным – разыгрывал диалоги перед единственным зрителем: самим собой. В гулкой тишине подъезда он менял тембр голоса, интонацию, держал паузы и прислушивался к замирающим звукам.

- Значить, встретились однажды два человека, – объявил он распевным зачином, – и вот один другому говорит (он выпрямился, приосанился и проговорил презрительно): – "Динаху!"... а тот ему: "Сам динаху!"...

Долгая пауза, покачивание, глубокое размышление. Затем с новым воодушевлением, изменив голос на яростный тенорок:

- А я тебе сказал: "Динаху!"... (баритоном) А я в ответ тебе: "Сам динаху!" (Пауза) Советую: нехай будэ бэсэдэр!..

Витя бесшумно снял ящик с плеча и поставил его на пол. Он стоял на нижней площадке, и ему видна была в пролет только покачивающаяся спина в пиджаке, какие носили в советской провинции лет пятнадцать назад.

Минут пять еще алкаш, варьируя одну и ту же незамысловатую реплику, изображал две препирающихся стороны, меняя голоса, возбуждаясь. Он вошел в раж, взвинтил сам себя и, наконец, гаркнул генеральским басом:

- Ди-на-ху, я те сказал!!!

Последовала пауза, в течение которой спина в советском пиджаке распрямилась, и с пьяным достоинством алкаш раздельно произнес:

- Не-хо-чу!!!

Витя стоял рядом со своим ящиком, привалясь к прохладной стене подъезда, пытаясь понять, что все это ему столь мучительно напоминает?

Пока не понял, наконец: его бесконечный внутренний диалог с его собственной жизнью".

Наверняка есть читатель, который скажет: зачем мне про это читать, мало я такого в жизни наслушался? Думаю, этот читатель давно оставил и мои заметки. Но ведь и Витя, "привалаясь к прохладной стене", вводит нас в заблуждение. Что бы он ни понял про свою жизнь, это не вытекает из услышанного диалога, это "техническая привязка" зарисовки, авторское оправдание текста.

Предполагаю, что этого текста не могло бы существовать у другого автора. Его присутствие требует свободной композиции, не сцементированной жесткими требованиями сюжета, требует незаурядного изобразительного дара и, главное, требует настроенности читателя на анекдот, "треп ни о чем", предполагает вкус к неприятным пустякам – все это родовые признаки прозы Рубиной, позиция художника, установившего свой собственный контакт с читательской массой.

Интуиция говорит художнику, что текст ему нужен. Причин может быть много, нас это не должно интересовать. Это то самое требование законов искусства. Но... в бормотании на лестничной клетке, в пьяных выкриках, в неожиданном *лицедействе* алкаша в одиночестве что-то есть, не правда ли? Фрейд и все, кто шли за ним, познают бессознательное в сновидениях, в том, что до Фрейда представлялось не имеющим смысла, случайным, не заслуживающим внимания. Не пришло ли время так же, как на сновидения, взглянуть на своеобразный бред пьяных, на саму их потребность лицедействовать, на формы проявления их агрессивности, на их (а не Вити) "бесконечный внутренний диалог с собственной жизнью"? Не странно ли, что нам, трезвым и культурным (спасибо, что "динаху", а не как-нибудь иначе), очень родственно что-то в пьяном бреде? Рубина поторопилась с рациональным объяснением через Витю, но интуиция не подвела ее, и дар художника не подвел, позволил создать точный образ. Он, этот образ, работает сам по себе, а что он выражает – уже другая тема, и тут мы поставим точку.

Когда мы все, целый народ, говорящий по-русски, свалились на этот клочок земли, один мой знакомый литератор в России с сожалением предрек, что тиражи российских журналов рухнут – читатели уехали в Израиль. Здесь же один русско- и многопишущий эссеист предрек, что уникальное событие нашего переселения из одной культуры в другую станет материалом для значительного романа. Ему виделось нечто монументальное. Такой роман все не появлялся, и говорили, что проза – дело непростое, что прозаику нужно много времени, чтобы отстоялось...

А может быть, это нам, читателям и критикам, нужно много времени, чтобы понять: новое потому и ново, что не похоже на старое, и не в спорах оно рождается, не в библиотечной классификации старых "измов", а там, где профессионал экстракласса тяжелым трудом добывает свой кусок хлеба, стараясь, чтобы на сегодняшнем рынке его труд имел спрос.

ДВА ВЗГЛЯДА НА ПОЭТА

*Лев Аннинский**Из цикла "Русский человек на rendez-vous"**"Я ВЛЮБИЛСЯ В ХРИСТИАНКУ,
САМ НЕ ЗНАЯ, КТО ОНА"*

А я долго колебался прежде, чем включить автора этих строк в поэтический отряд русских людей, отправляющихся на любовное свидание. Потому что знаю, кто он. Он — эмигрант, объявивший, что, "слава богу, живет среди евреев", а не среди русских.

Решила прямая подсказка, вернее, подначка:

Закономерен наш развод —
И ты не та, и я не тот —
И ты всегда была такой,
За наш раздельный упокой
Молись, не слишком попрекая
Себя за наше randevu
Во сне, в бреде и наяву.

Правда, речь тут не о женщине, а о Москве, которую герой "не любит". И Россию — "не любит". И свое детство. Как был когда-то октябренок, как "в школьном хоре пел когда-то", и как, не помня себя от счастья, нес "знамя нашего отряда". Он так привязан к этой своей нелюбви, так распластан на ней, что все время на этот счет объясняется. Иногда он просто подставляет частицу "не" к какому-нибудь классическому признанию: "Я не любил ее когда-то (пусть лишь любовью, скажем, брата) а нынче не люблю сильнее".

В поэзии решает музыка, а не адрес. Русская алия, впадающая в русскую ностальгию при упоминании о русской березке, может начертать на знамени своего отряда нечто подобное: "Не забуду Русь Святую в Эрец Исраэль". Однако перед нами не рядовой эмигрант, перед нами — душа поэтическая. Перед нами, в конце концов, профессионал-филолог, кончивший в свое время Одесский университет. Уж как-нибудь он владеет обертонами стиха, когда пророчит, что, идя "на слом", откроет ради упокоя души том статей Брежнева, чтобы "вспомнить молодость".

А что, есть что вспомнить?

Вот тут-то и кроется главный секрет.

Нету. Пусто. “Дубль-пусто”, как говорят русские доминошники. “В стране, которой нет уже на карте, родился я”. Жизнь – изначальное зазеркалье, кич, абсурд, тупик, мороченье антиподов. Всё в ней – задом наперед! Это вовсе не отрицание какой-то конкретной страны или эпохи, это – мировидение человека, который рождается с ощущением бездны под ногами, живет – с ощущением, что “жизнь - подъем со дна колодца с паденьями опять на дно”, и кончится эта жизнь – при ощущении, что всё могло быть “наоборот”, или таки-было – “наоборот”.

Применительно к любовной теме это звучит так:

Когда бы всё наоборот
На этом свете было,
Я был бы мой бы антипод,
И ты б меня любила,
Но не любила бы она,
И, лстя своей особе,
Я так бы думал: “Есть жена,
На что мне эти обе?”

Оказывается, есть жена. Если тебя не взяли на работу в городе Тель-Авиве, есть с кем сесть рядом и сказать: “Родная, разве в городе Берлине немцу каждому везет?”

Я всегда говорил, что дело не в том, кто немец, а кто еврей. Дело в том, кто кем себя считает. Национальность – это принятое на себя обязательство вести себя определенным образом. И только.

В данном случае – ничего немецкого: город Берлин упомянут для контраста. А вот Москва, Тель-Авив и Одесса – то самое. Еврейский релятивизм плюс русская обманутая вседоверчивость. Плюс жгучая ревность к Москве, плюс прикрытая юмором гордость за родную Одессу, плюс прикрытая юмором готовность к тому, что на Земле Обетованной все так же, как и везде, окажется вверх ногами.

За наши выходки-повадки
Разбился ангел при посадке,
Нас разлюбило Божество,
И в довершение всего
Израиль сделался Китаем –
Иначе мы не понимаем!

Стало быть, всё одно к одному. Израиль подобен Китаю, Иуда – Христу, Христос – ослу, правда – вранью, Богочеловек – человеку, поэт - паяцу.

Любовь – нелюбви.

Собственно, так: “В этом вечере было много луны, и поэтому было страшно снять с тебя платье, с себя штаны”.

Собственно, вот почему: "Так пронзительно вечер на любовь был похож, что почти не хотелось заниматься любовью".

Собственно, вообще: "Любят не за это... и, что ужасно, именно за это".

А теперь — наш главный сюжет.

Как дела? Похоже, глухо —
Вся игра короче блица —
Если правда: смерть — старуха,
То, выходит, жизнь — девица...

С ней раскланиваюсь мило,
Говорю ей: "Жизнь моя,
Мне не важно, сколько было
У тебя таких, как я..."

Я тебя в Одессе встретил,
Помнишь, зимнею порой?"
Отвечает: "Здравствуй, Петя,
До свиданья, дорогой".

"Петя" — это Петр Межурицкий, русский поэт, автор книг, любезно присланных мне друзьями из Израиля. Одна книга называется "Места обитания (реквиемы и пасторали)". Другая — "Пчелы жалят задом наперед".

До нового свиданья, дорогой!

← * →

Борис Расковский

"И НЕ ГДЕ-НИБУДЬ, А ТУТ"

Для начала — цитата:

На пол упала зажигалка.
Ее, себя и пол мне жалко.
И, что я сам упал на пол,
Что пол свалился на меня —
Повсюду вечности прокол
Зияет душу леденя.

В Одессе это называлось: "то что делает Петя". "За стихи" это в Одессе не считалось. Как и на остальных просторах такой да-

Петр Межурицкий, однако, ни к какому прочему жанру-направлению себя и по сей день не причисляет, да и нового создавать не собирается.

Интересно, как в лесу
Находит лис себе лису?

— искренне беспокоится он. Подобными вопросами был усеян нелегкий путь поэта к сердцам благодарных читателей, которые и два десятилетия назад отказывались видеть во всем этом "натуральном безобразии" сионистскую пропаганду и антисоветчину.

В середине недели
От всего, что болит,
Умирал в самом деле
Инженер Ипполит.

Исчезая со света,
Он прилег на кровать.
И так странно все это,
Что и не передать.

Страдания по поводу утраченных иллюзий, несбывшихся надежд и неслучившихся предназначений мало занимают музу Межурицкого — его деятельная натура чужда меланхолии. Неиссякаемая витальность кому-то может показаться легковесной и даже кощунственной:

Говорит: "Пришла эпоха —
Вся страна пойдет под суд..."
Дело ясно: кончит плохо,
В лучшем случае распнут.

Я же вижу, что поэт каждой своей неловкой, как бы чаплинской улыбкой не дает нам полностью уткнуться в бесконечное меню наших фобий и комплексов. Да он просто взывает: "Бог — ласков, жизнь — праздник, люди — человеки." Кто-то, конечно, станет усматривать тайные смыслы за нарочитым примитивизмом, полагая, что речь и вправду может далеко поэта завести. Но сам-то он по этому поводу — ясное дело — будет только иронизировать:

Я, конечно, есть на свете.
И не где-нибудь, а тут.
Я на самом деле Петя,
Если так меня зовут.

Впрочем, все не так уж гладко.
Многим кажется, что я
Философии загадка
И феномен бытия.

Еще в те времена, когда Межурицкий, возможно, полагал себя одиноким путником в пустыне людского непонимания, не-исправимый фокусник и кудесник, он мог, не оборачиваясь сосчитать у вас пуговицы на рубашке и какую-нибудь военно-патриотическую вермишель упрямо выдавать за макароны по-флотски.

Т.е. все-таки до смерти,
Даже если чувства врут,
Я и в самом деле Петя,
И не где-нибудь, а тут.

Будьте любезны, принимайте его таким, каков он есть. Он может быть назойливым и лукавым, мудрым и пошловатым, невнятным и общедоступным. Он только никогда не бывает скучным.

НОВЫЕ ВОРОТА

Наталья Рубинштейн

КОММЕНТАРИИ К СНОВИДЕНИЯМ

С обложки прямо на читателя по обрывку рельсовой колеи съезжает трамвай, цепляясь за обрывок надземного провода. На последней странице мы видим его удаляющуюся квадратную спину. В книгу Сусанны Чернобровой, где стихи, написанные между 1992 и 1996 годами, поделены на два раздела, согласно двум иерусалимским адресам, – "Гива Царфатит" и "Гило", трамвай заехал из предизраильского рижского житья-бытья. Чудный старомодный транспорт, сыплющий звонами и искрами, приспособлен автором под перевозку снов и курсирует вдоль памяти, по течению времени и обратно, смыкая разомкнувшееся. Эти сны предлагаются нам в поэтической тетради "На правах рукописи".

"Силуэт", "контур", "свет", "звук", "лист", "блик", "луч", "небо", "поезд", "фонарь", "дерево" – герои и сюжеты этой лирики, их оркестровка и обстановка. Мимолетные впечатления прикалываются к бумаге. По этим следам прожитого дня, события, эпизода автор при случае восстановит и всю повесть. Она, как у большинства читателей, имеющих сходный с автором опыт жизни, будет начинаться с недоуменной оглядки по сторонам: "Что заставило в поезд тот сесть?", "Мне бы только опомниться, где я...", "Болезни, сомнений атаки, неясного сада штрихи...". Первоначальную растерянность Сусанна Черноброва надеется преодолеть с помощью родного инвентаря: "Деревья, совсем как у Сомова", "тот самый, мной узанный сразу, на край света сбежавший фонарь", "все те же фонари и улицы, аптеки", "а что слова, подачка иль звезда, та самая, чье повторяю имя...". Можно было бы добавить еще и перечень домашних интонаций, ободряюще окликающих родственника-читателя: "И назвать так обыденно прошлым", "В продувной этот год, полный радуг, как мыльный пузырь". Иногда отчетливо слышен знакомый гитарный перебор: "он дворами-колодцами с нами прощается, из окон коммунальных изнанкой своей". Эта храбрая попытка приспособить к себе новую жизнь вовсе не безнадежна.

Стихи Сусанны Чернобровой отличает хрупкость. Они фиксируют "невыразимое". Музыкальное определение жанра – "мимолетности" – подошло бы к ним. Автор – художница, об этом сказано на последней странице обложки. Звук у нее расцвечен, свет – озвучен: "Здесь льют названия неизвестный свет, перебирая звук лучами всеми", "распался на лучи растущей фуги голос, на капельки в траве рассыпался хорал". Похоже, что возможность использовать слово для преображения мелодии в краску, уточнить зрительное впечатление через слуховое возбуждает в этом авторе особый азарт.

Лист бумаги у нее в родстве с древесным листом, и так же бывает взметен и закручен ветром, и так же опадает в небытие: "Над парком шелестит стихотворенье и исчезает без черновигов, как листопад, меняя освещение и оставляя горсть истлевших слов". И раз, и другой, и третий она вслушивается в листопад и в конце концов вступает в соревнование с Шелли – четырехчастной сюитой "Листьям". Стихотворениям этим – которые и сами сродни листьям – присущи и блеск, и доблесть.

Сусанна Черноброва в пейзаже, как у себя дома. А как она у себя дома, из ее стихов узнать нельзя. Интерьер как таковой отсутствует. Он замещен общим знаменателем неуютя: "в комнате болезни освещают воздухом лекарственным окно", или "прости несносные стихи за сумрак комнаты проклятой, за лампы бред подслеповатый...". Кажется, обжить комнату труднее, чем страну и город. Самый любимый дом – вагон, поезд. Хороши уже тем, что не стоят на месте.

Самолет, вагон, поезд – как и дождь, лист и снег – все они сродни стихотворению, потому что летят и проходят. "По небосводу дней, по панораме светящий след стихов, как поезд, мимо...". И когда читаешь "Стихи о вагонах", то все кажется, что о стихах: "Над ним небытие и ночь, под ним агония перрона, прогнать, как наважденье, прочь, гремющую змею вагонов...".

Но всего роднее стиху – сны: "он проходит по сну, как лунатик по лунности...". Сон – безупречное средство передвижения во времени. Сон про поезд – возведение такого движения в степень: "Снова дождь бесконечный в разбитом окне, словно город в обычном запое, все мне снятся вагоны, вагоны в огне и идущий по времени поезд".

В сущности, сон происходит в настоящем, а наполнен прошлым, сон позволяет идеально совместить несовместимое. Стих тщится вступить со сном в соперничество: "Но тени несутся, как рваные кони по белой стене, и тают, как стансы".

Возможно, Сусанна Черноброва стала записывать свои сновидения стихами, чтобы совместить две свои разные жизни в

пределах одной. Не предаваться ностальгии и не преодолевать ее решительным сбрасыванием старой кожи – задача, над которой бились пришельцы предыдущей формации, – а дать сойтись в себе двум разным опытам. Поэтому, как выкрик из другой книги, звучит броская формула: "Какие мы бросали города за право умереть в Иерусалиме!". По звуку похоже, скорее, на юнкерские декларации молодого Михаила Генделева. Свою настоящую задачу Сусанна Черноброва уловила еще в первых стихах 1992 года: "Так расправить углы фотоснимка нескладного, чтоб сквозь контур просвечивал город другой...".

Стих ее крепнет и набирает силу от первой страницы к 77-й, последней, по мере выполнения этого автозадания. Вторая жизнь не замещает собою первую и не сливается с ней, но как будто бы в стихе, во сне и в памяти первая уже немыслима без соседства второй:

Она среди дождей косых
Лишь блик болезненный, усталый,
В блокноте выпал белый стих
На память о тебе. Светало.

Григорий Канович

ЗНАКОМЬТЕСЬ – "ВОЛЧОНОК ИТРО"

Выход книги русскоязычного автора в Израиле редкостью не назовешь. С каждым годом – да что там с годом – с каждым днём число их увеличивается чуть ли не в геометрической прогрессии. Такое впечатление, что за перо взялась вся алия и что уже трудно найти репатрианта, который не издал бы своего сборника стихов, своей повести, на худой конец мемуаров или который мог бы устоять перед таким сулящим некоторую щеко-чущую самолюбие известность и принимающим чуть ли не размеры эпидемии соблазном. Были бы денежки, а издаться всегда можно. Шутки шутками, но русскоязычный литературный рынок и впрямь перенасыщен новинками. Большинство из них, как правило, остаётся вне поля зрения профессиональной критики (если таковая вообще существует в наших палестинах). Отзывы на продукцию, выпускаемую пишущей братией, в основном носят откровенно дружеский характер. Причем, дружеский в самом что ни на есть прямом смысле слова, ибо чаще всего принадлежат перу друзей или знакомых автора, иногда прибегающих к замысловатым псевдонимам, чтобы придать своим писаниям видимость абсолютной объективности, но неуклонно придерживающихся беспроеигрышного, не имеющего ничего общего ни с этикой, ни с эстетикой принципа: сегодня ты пишешь обо мне, завтра – я о тебе.

Горько, когда такая участь постигает книги, выламывающиеся из ряда вон своей тематикой, манерой письма, актуальностью и своеобразием проблематики; книги, требующие широкого и достойного обсуждения.

Помню, какое сильное впечатление на меня лет десять тому назад произвел подаренный мне не завзятым книголюбом, а штатным работником обосновавшегося в первый год перестройки Сохнута в оправившейся от советского паралича Литве томик Эли Люксембурга – многогранный и многослойный роман "Десятый голод". Я прочёл его на одном дыхании, поражаясь не только и не столько недюжинному мастерству незнакомого писателя, сколько его удивительному знанию тех реалий, о которых я раньше и слыхом не слыхал. С тех пор имя Эли Люксембурга не покидало мою читательскую память, но, к великому сожалению, до моей репатриации в девяносто третьем в Изра-

иль мне больше ни одного из написанных им произведений в Вильнюсе найти не удалось.

Мое знакомство с творчеством Эли Люксембурга продолжилось уже на земле обетованной, которая не только является источником всех его художественных замыслов, но которая своим воздухом, своим светом придаёт каждой его вещи, если так можно выразиться, дополнительные достоинства, создает вокруг них неповторимую, непривычную для многих ауру святости, веры в наши высшие ценности, воплощенные в Книге книг – в дарованной нам Превечным на горе Синай Торе.

Оговорюсь сразу: чтение Люксембурга – нелегкое занятие для репатрианта, будь он писателем или инженером, учёным или врачом. Оно требует от каждого выросшего в бывшем СССР преодоления внедрённых в сознание стереотипов, отказа от воспитанной на чужбине у "строителей коммунизма" предвзятости к религии как к "опиуму для народа" и огульного осуждения всего, что с ней связано.

В "Записках ешиботника" и особенно в последней по времени книге "Волчонок Итро" Эли Люксембург весьма успешно пытается сплавить воедино и Сферы высшие, и Сферы низшие. Он одинаково свободно, я бы даже сказал, с завидной лёгкостью распоряжается самым разнородным материалом – реминисценциями из священных для евреев книг, повторами библейских сюжетов, с одной стороны, и каждодневными историями, метко подмеченными бытовыми подробностями и коллизиями, с другой. В лучших рассказах книги "Волчонок Итро" и на лучших страницах "Записок ешиботника" всё это скреплено фактами из собственной биографии, собственным нелёгким и поучительным опытом, о котором рассказано без всякого приукрашивания и утаивания. За героями Эли Люксембурга кроются не отвлеченные фигуры, а стоит конкретная личность – без труда угадываемый автор со всеми его болями и сомнениями.

О чём бы Эли Люксембург ни писал – о старом ли морском волке Фридрихе Сандлере (в прекрасном, на мой взгляд, рассказе "Новый помощник"); о своих ли коллегах-боксёрах Семёныче и Шурике (в не менее впечатляющей, правдиво и сурово написанной "Боксёрской поляне"); о зодчем ли Фудыме, "живущем сейчас на родине и строящем для народа Храм", но отказывающемся возводить "вольер для кроликов, загон для ослов" (из запоминающейся своими нетрафаретными, незатёртыми образами повести "Третий храм"); о великих ли мудрецах – знатоках Торы, то и дело возникающих почти во всех вещах писателя в качестве высших моральных авторитетов и безошибочных нравственных ориентиров, – он не только обнаруживает завидное, не начётническое знание предмета, но и несомненную способность разглядеть в нём, в этом предмете, что-то

чрезвычайно важное для понимания собственного, весьма извилистого жизненного пути, который прочерчен во всех произведениях Люксембурга без всякой идеализации, порой даже слишком жестко, и, конечно же, для понимания пути общего, того, который прошли евреи в далёком прошлом и проходят сегодня.

Я не припомню – возможно, из-за своей недостаточной осведомленности – ни одного другого русскоязычного писателя в Израиле, который бы в своём творчестве постоянно, без всяких отклонений уделял бы столько внимания так называемым религиозным мотивам, как Эли Люксембург. Обращение к ним, отнюдь, неслучайно. Они, эти мотивы, в его рассказах и повестях вовсе не являются ни "архитектурными излишествами", ни живописным орнаментом, ни данью экзотике, а служат как бы оселком, на котором проверяется духовность персонажей и устанавливается мера их бескорыстного служения добру и подлинность их патриотизма. Недаром его герои, перефразируя знаменитое выражение Маяковского, чистят себя не под каким-нибудь вождем, а под Богом, под Творцом, и сами стремятся стать творцами.

Спору нет, для атеиста, для неискушенного в вопросах веры читателя такое частое обращение к религии, к жизни верующих или возвращающихся к вере может показаться насильственной попыткой внедрить в сознание что-то чужеродное. Но Эли Люксембурга не пугает возможность подобной реакции. Он, как и всякий талантливый писатель, остаётся верен себе, своим творческим и мировоззренческим принципам – "сеять разумное, доброе, вечное", и такая верность не может не вызывать искреннего уважения. Это тем более ценно, что во всей русскоязычной литературе – не только Израиля, но и других стран – с таким безусловным феноменом, как творчество Люксембурга, долгие годы, по существу, преданного одной тематике – обретению веры в себе и себя в вере – лично мне встретиться ещё не довелось. Что с того, что у новаторов – а Эли Люксембург в определенной степени несомненно таковым является – круг читателей и почитателей никогда не отличался массовостью, как, скажем, у создателей расхожих детективов. Ведь истари известно, что широкая публика всегда тоскует по тому, что лежит на поверхности, а не в глубине; по тому, что увлекательно и понятно, а не по тому, что полезно, хотя для извлечения этой пользы и требуется немало усилий.

Справедливости ради надо отметить, что порой чувство меры требовательно к себе Эли Люксембургу изменяет, и тогда в его рассказах нет-нет да появляются ненужные переборы и перехлесты. Особенно они заметны там, где он пытается выразить свои идеи (которые сами по себе прекрасны) в не-

свойственной ему манере – механически, навязчиво, в лоб. В таких случаях показ подменяется пересказом, натуральность – искусственностью, естественная речь (а Эли Люксембург – большой мастер диалога) – цитированием притч, назиданиями, продиктованными скорей идейными, чем художественными соображениями.

Как бы там ни было, по-моему, достоинства прозы Эли Люксембурга, заряд заложенной в ней познавательной и эмоциональной энергии безоговорочно преобладают над сухим расчётом, над желанием – для удобства потребителя – кое-где "разжевать" смысл, над не совсем ещё изжитой склонностью к проповедническому морализаторству. Но печать своеобразного мышления и незаурядной, сильной личности лежит буквально на всём, что делает писатель.

Эли Люксембург, как и зодчий Фудым, не прельщается строительством "вольера для кроликов и загона для ослов", он хочет (и умеет!) воздвигать свой Храм – Храм на бумаге, Храм высокой духовности и постоянного внутреннего совершенствования, открытый для всех.

Над его письмом витает дух древних мидрашей; в его произведениях равноправно перемежаются и сопрягаются патетика и риторика, жёсткость и нежность, юмор и пристальное внимание к тончайшим движениям души. Всё это не может не привлекать и не вызывать благодарного отклика читателя.

Будучи литератором совершенно другой группы крови, я хотел бы не только искренне поздравить Эли Люксембурга с выходом в свет его "Волчонка Итро", но и настоятельно рекомендовать этот примечательный сборник замороченному политическими дрызгами русскоязычному читателю и сказать:

– Если где-то на земле и есть счастье, то оно начинается не с избирательных урн, а с книг.

7 февраля 1999 г., Бат-Ям

Борис Привин

СОН ДЛИННОЮ В ЖИЗНЬ

То еще занятие, скажете вы – переводить с древнежидовского на утро чухонское серое небо, эту вечнобледную сирень петербургского захолустья. И окажетесь, как всегда правы, дорогой наш читатель: он и занимается этим, "набежавший на финское море ивритом, проросший корнями в галут" православный поэт, цитирующий Раши (не зырянам ли?) талмудист и начетчик, виртуоз русского верлибра – Сергей Григорьянц.

Под иерусалимской золотой обложкой, щедро осыпанной магендовидами – никакого рахат-лукума: он – сама ветхозаветная строгость и лаконизм. Впрочем, это вполне левантийская тетрадь и Северной Пальмире – не много там места. Как и в сердце автора:

Пух тополей петербургских
На рассвете меня расстреляет.
Мне никогда не проснуться.

Иерусалим же его, наоборот, расцвечен фейерверком метафор и синестезий, удивительных в свете вышесказанного – никогда не сбивающихся на патетику. Иерусалим – первая любовь. Иерусалим – вариация на тему любви.

Иерусалим, почему не изменился номер
Твоего телефона?
Улицы твои по свету бредут.
Невозможно войти в Иерусалим.
- Его нет на земле.

Обратите внимание на безысходную горечь ответа, ведь Тот, Кто Отвечает автору – никогда не лжет. Этой сыновней печали по Небесному Иерусалиму не избыть было ему еще в доизгнаннических инкарнациях:

Из глазниц выпадали глаза
В тщетной погоне за перелетными снами
В которых стада наших улиц
Пасли пастухи.

* Сергей Григорьянц. Стихи. Перевод с иврита. - СПб., 1998.

И только благодаря тому, что "из Египта души исходят стихи о тебе", печаль эта не переходит в плач, плач в крик. И он не из плакальщиков на реках вавилонских, но как всякий палестиноцентрист вправе сказать о себе:

За Иорданом прошло мое детство.

Когда еврей Бродский писал "с берегов неизвестно каких", космополит по определению, Григорьянц лишь мечтал очутиться на "времени один глоток" в субботней стране своих грез. Человек, сказавший однажды: "По венам моим течет Иордан", не станет уже никогда скрывать праздника этой встречи Страны и ее поэта, случившейся книгой.

Его астролыбия нацелена только в Иудейское Небо, его горло перебирает, грассируя, ивритские морфемы, чутко пробуя их на вкус; для него это – метаязык, шаманские волхвования, подчиняясь которым покорные тени прошлого, точно ручное мандельштамовское море, подходят к изголовью его сновидений. На каком языке Адам разговаривал с богом – вопрос для автора несуществующий, ибо ответ на него очевиден.

Справа налево пишу.
Справа налево читаю.
Время вспять обратилось.

Его поэтическая кухня исповедует исключительно старобиблейскую кулинарию, лишенную новозаветных изысков и рецептур.

Чтобы Вс-вышний на ужин
Подал в хрустальной тарелке
Спелый шабат,

христианин, он возвращает себе все запахи еврейского стола, ибо пища наша духовная – давно порознь. Роскошными яствами уставлены столы и Мекки, и Рима. Повзрослев, навсегда забывают дети первую радость материнского молока и меда, но лучшие из них – помнят о ней всю жизнь.

Мы – лучшее цветка,
Сбежавшего с картины Леонардо
В набросок Галеви.

.....

Это пораженческая книга. Она исполнена высокого пессимизма. Антиевангелие от блудного сына, грезящего отчим домом, домашним теплом, но знающего наверное – никакого возвращения не будет. Никакого прощения не будет, его не у кого

просить. Машиах не придет. Третий Храм не будет построен. Остается извечный сон о Небесном Иерусалиме, нашей вечной прародине, куда все мы, отыгравши свои известные роли, где поражение под занавес – главное условие режиссера, когда-нибудь обязательно вернемся.

Для побежденных сигареты и кофе
На всем протяжении сна.

"Это есть наш последний и решительный сон", сон тех, у кого сердце из пепла всех Аушвицев, а не кусок говядины, речь крепкая и чистая, как иерусалимская ночь, глаза, исполненные осени и любви.

Там.
Только там.
В Эрец Исраэль.
Всю свою ночь
Я провел у окна
С сигаретой в руке.

.....
Последнее, что я видел,
Был Иерусалим.

Авраам Элинсон

НЕИССЯКАЮЩИЙ РОДНИК

Выдающийся талмудист Йоханан Бен-Заккай сравнил своего любимого ученика Эльазара Бен-Араха с родником, который не только не иссякает, но со временем становится "все более и более полноводным".

Я вспомнил об этом, прочтя новую книгу стихов на языке идиш иерусалимской поэтессы Рахили Баумволь "Трейст ун тройер" ("Утешение и печаль").

Уточню: образ чудесного родника всегда возникал у меня и при чтении других ее сборников – "Цугебундкайт" ("Привязанность"), "Алейн дос лебн" ("Сама жизнь"), "Драй хефтен" ("Три тетради"), "Ойсгебенкт" ("Выстраданное"). Называю лишь четыре книги из двенадцати, опубликованных поэтессой после репатриации.

В новой книге – глубокие раздумья о сущности жизни, о предназначении человека. О любви и надежде. О том, что печалит и утешает душу. Но преобладают трагические ноты:

Глаза уже не могут плакать,

.....

а я сижу по ночам, окаменевшая,

и прислушиваюсь к твоему дыханию...

Замечательному еврейскому поэту Зяме Телесину, мужу поэтессы, скончавшемуся три года назад, посвящен в новой книге большой раздел.

Мать поэтессы с раннего детства внушила дочке любовь к "маме-лошн".

Я бы спросила свою маму,
как звучит концовка песни,
но мать лежит на кладбище,
а песню я не запомнила.

.....

И мамина песня,
которую мне так хотелось услышать из ее уст,
так и останется навеки плывущей по небу.

Интеллект и чувство, зрелое понимание человеческой природы
и врожденная интуиция Рахили Баумволь....

Прежде, чем вымолвить слово,
прежде, чем тронуться с места,
я прислушиваюсь к себе
и чувствую: внутри происходит что-то важное...

Это – начало стихотворения "Когда я слышу..."

А вот краткий пересказ стихотворения "Может быть..."

Тонкую узорчатую паутину плетет отвратительный паук; нежную розу окружают злые колючки; корни стройного дерева кривы и волосаты; благоухает парное молоко, а из хлева доносится запах навоза... Мир противоречив. Мы вправе предположить, – на полном серьезе уверяет поэтесса, – что причина морозов упрятана... внутри солнца.

Такой парадоксальный ход мыслей характерен для Рахили Баумволь; афоризмы, эпиграммы, гиперболы, шутки – родная стихия поэтессы.

В стихотворении "Древний народ" Рахиль не без улыбки замечает, что многие еврейские имена – Дов (медведь), Арье (лев), Цвия (газель), – звучат настолько естественно, как будто люди, названные этими именами, недавно вышли из леса. Разве это, наряду с Библией, не свидетельствует, спрашивает автор, о древности нашего народа, отлично понимая, что в этом никто не сомневается.

– Ты тонешь? Я к твоим услугам, – говорит соломинка.
– Ухватись за меня, не ленись.

Я ухватилась, и мне повезло:
золотистая соломинка
держит меня на плаву по сей день.

Жизнь непредсказуема и полна чудес. Ничем нельзя пренебрегать. Помощь и спасение могут прийти оттуда, откуда никто их не ждет.

А вот стихотворение "Вальс". С кем танцует ветер?.. С оконной занавеской.

Она зевает от скуки,
он ее обнимает
и выводит наружу,
по ту сторону стены.
.....

Она немного стыдится,
дрожит и трепещет,
но отнюдь не спешит
вернуться в комнату.

Рахиль Баумволь пишет не только о близких друзьях и выдающихся деятелях еврейской культуры – таких как артист Биньямин Зускин, писатель Моше Кульбак, композитор Гирш Пайкин. С трогательным восхищением она описывает набожного ортодокса из Меа-Шеарим, который убирает подъезд дома, где Баумволь живет. Она сравнивает его с библейским Самсоном. Поэтесса счастлива, что Самсон говорит на ее любимом идише...

Очаровательны вошедшие в сборник четыре стихотворения для детей. Они сродни ее написанным на русском языке сказкам, которые выходили в Союзе огромными тиражами, в том числе и в переводе на другие языки. А в Израиле стихи Рахили Баумволь переводили на иврит такие выдающиеся поэты, как Авраам Шлионский, Хананья Райхман, Шломо Эвен-Шошан, Шимшон Мельцер, Аарон Бертини и другие. Некоторые переводы были сделаны ее израильскими коллегами еще до репатриации поэтессы.

На иврите был издан большой поэтический сборник Баумволь "Стихи разных лет". Под тем же названием опубликован сборник русских ее стихов, в который кроме избранных произведений, напечатанных в СССР, вошли и такие, о публикации которых в России не могло быть и речи, а также новые стихи, родившиеся в Израиле, – "Иерусалим", "Два белых здания", "Субботний вечер", "Друзьям в России... Шломо Эвен-Шошан, подготовивший к печати ивритскую книгу стихов поэтессы, перевел на иврит и сборник ее детских сказок.

20 апреля 1971 года, сразу после того, как семья Рахили Баумволь репатрировалась в Израиль, Главное управление по охране государственных тайн в печати издало циркуляр об изъятии из библиотек и книготорговой сети всех книг поэтессы. "Изъять" означало "уничтожить", "сжечь". В списке перечислены двадцать семь ее поэтических и прозаических сборников – сотни тысяч книг были обречены на гибель.

В Израиле Рахиль Баумволь перевела с идиша на русский роман Ицхака Башевиса-Зингера "Раб", издала на идише замечательную книгу об идиомах родного языка – "Вот вы говорите...". Этот увлекательный научно-популярный труд стал настольной книгой еврейских литераторов и любителей идиша во многих странах мира.

К своему 85-летию эта сильная духом женщина пришла в разгаре творческих сил.

В замечательном стихотворении "Сплошные чудеса" поэтесса пишет:

Я всю свою жизнь растратила на стихи –
и стала еще богаче.

Разве это не точная аналогия метафоре великого еврейского мыслителя Иоханана Бен-Заккая, жившего на нашей земле две тысячи лет тому назад?

Елена Косоновская

ТРИ СУДЬБЫ

Нет в Израиле издателя, который время от времени не мечтал бы уйти в дворники, — уж очень работа нервная. Тем не менее, никто добровольно не уходит. И всё по простой причине: нигде не встретишь так много интересных людей, как в издательстве.

Среди прекрасных людей (и прекрасных литераторов!), с которыми мне за время издательской деятельности довелось встретиться, трое стоят особняком. Три великих судьбы. Жизнь пыталась их всеми способами: морила голодом в блокадном Ленинграде, сажала в тюрьмы, кидала фашистские гранаты — но, слава Богу, тщетно. Все трое живы и здоровы по сей день (до ста двадцати им всем!).

Первый из этих писателей — Авраам Белов. Нет в Израиле литератора, который не произносил бы это имя с большим уважением. И нет среди моих ровесников, приобщавшихся к книгам в 50-е - 60-е годы, людей, не читавших книги о стране Большого Хапи, джунглях Амазонки, тайнах глиняных книг. На их обложках стояла подпись "А. Белов", и мы не знали, что "А." — это Авраам, а "Белов" — псевдоним писателя Элинсона. И каково же было мое изумление, когда я узнала, что писатель — до сих пор в строю, что живет в Иерусалиме и даже на одной улице со мной и что готова к изданию его новая книга — "Рыцари иврита в бывшем Советском Союзе".

Первое впечатление от знакомства с рукописью — ошеломление: рядом со мной (я уж не говорю, что в одно время со мной!) жили та-ки-е люди... Трагически погибший великий (да-да!) поэт Хаим Ленский, через тюрьмы и каторги пронесший верность языку наших предков, ивриту. Безвременно скончавшийся прекрасный переводчик Борис Гапонов, которого отпустили в Израиль, когда уже было ясно, что дни его сочтены... Гениальный комментатор ТАНАХа Меир Канторович, сумевший в казахской глуши, в отсутствие первоисточника, по памяти, создать непревзойденную книгу комментариев к Экклезиасту и Притчам Соломоновым... И десятки других людей, справедливо названных автором "рыцарями иврита".

Только об одном рыцаре ни слова не сказано в книге. О ее авторе.

Авраам-Иеошуа Белов-Элинсон. Необычайно скромный, никогда не требующий ничего для себя — и умеющий во весь голос

высказать свое мнение, когда надо помочь другим, всегда готовый к работе, несмотря на свои восемьдесят восемь, безупречно вежливый и изумительно эрудированный человек – и литератор, обладающий безукоризненным стилем, полный новых замыслов и планов реализации давних своих идей... Таков он, старейшина литературного цеха нашей страны, Авраам Белов.

Помню, как обрадовался Авраам, когда я принесла ему отрывок из другой книги, посвященный одному из его героев – Хьёгу-Плоткину!

...А написана была эта книга вовсе не профессиональным литератором. Ее автор – замечательная женщина, одна из тех, на ком держится Израиль: Шошана Фишер. И написала она только о том, что пережила сама, пережила до того, как приехала в страну. Называется книга символично: "Всюду жизнь". И рассказывает она о жизни именно в "местах не столь отдаленных", так что ассоциация с картиной Ярошенко, имеющей то же название, отнюдь не случайна.

...Молоденькая студенточка Роза (Шошана) в страшные годы войны выживает в тяжелейших условиях только благодаря тому, что надеется реализовать лелеемую с детства мечту: попасть в Палестину, на свою родину. И – увы! – именно эта мечта, неосторожно высказанная вслух, закрывает за ней на долгие годы дверь тюремной камеры. Тюрьма, суд "тройки", лагерь, известие о гибели почти всей семьи, ссылка в Туруханск, рождение в таких условиях ее единственного сына Натана, которого спустя несколько лет попытаются у матери отобрать – казалось бы, совсем не те события, о которых можно рассказывать с юмором, с доброй улыбкой. Как это удастся Шошане – загадка. Скажу честно: этот налет "шутливости" делает ее рассказ не только еще более достоверным, но и еще более страшным. И вызывает не только боль, но и огромное уважение к этой женщине, научившейся жить душа в душу с сотнями других ссыльных, не потерявшей в невероятно трудных условиях ни доброты, ни женственности, ни желания учиться и обучать других. Ничто не смогло лишить Шошану оптимизма, жизнелюбия, огромного желания видеть всех, кто в поле ее зрения, счастливыми и благополучными.

Уже после репатриации Шошана, как она сама говорит, "переняничала на своих руках три волны алии". Об этой женщине рассказывают легенды: что существует-де "фонд Шошаны" – она одолжила человеку деньги на покупку машины (своей у нее сразу не было!) и велела не отдавать долг, а передать эту сумму следующему нуждающемуся, и до сих пор эти деньги переходят от одного к другому; что Шошана пригрозила Леви Эшколю снять его с поста, если он немедленно не займется устройством репатриантов... Это все – уже за пределами книги, написанной сочным, вкусным языком, книги, пронизанной светом и верой в добро.

Верить в добро бывает легко тому, кто видел в жизни много добра. А как может верить в него человек, встретившийся лицом к лицу с собственной смертью? Последнее, что отчетливо видел в своей жизни двадцатилетний лейтенантик Рувим (Рувен) Евилевич, — это летящая в него фашистская граната с длинной деревянной ручкой. А дальше — тьма и никаких звуков, кроме контузионного свиста в ушах. В госпитале врачи, с великим трудом докричавшись до раненого, объяснили ему, что он никогда не будет четко видеть и хорошо слышать, что если удастся восстановить ему "микрорезрение", то есть возможность различать свет и контуры предметов, и капельку слуха в одном ухе, это будет чудом. Что должен делать человек, получивший такое известие? Казалось бы, предаваться отчаянию. А Рувен... начинает сочинять сатирические стихи про немецкого генерала фон Пушке, укушенного русской Жучкой. Многие годы испытаний не сломили его: он возглавляет юношеское патриотическое движение, занимается розыском погибших земляков. И — пишет книги. Последняя из книг — "Хохмография, или Кацманавт на орбите" — написана им уже в Израиле, куда автор репатриировался с женой, сыном и дочерью. Если бы я точно не знала, ни за что бы не поверила, что книга написана пожилым и очень больным человеком, — настолько она полна молодого оптимизма и здорового юмора. Евилевич подхватывает эстафету Л. Соловьева (все помнят его книгу "Веселый мудрец", созданную по анекдотам о Ходже Насреддине) и пишет историю жизни простого еврея, Мендл-Берла Кацмана, состоящую из ряда знакомых нам — и не знакомых ранее — анекдотов.

Со дня возвращения с фронта до дня прибытия в Израиль во главе целой команды евреев-оптимистов на корабле "Святая надежда" — жизнь Мендла-Берла перед нами. И ситуации, в которые он попадает (постановка фильма об очереди за козлом, забодавшим чью-то тещу, пикировки с живой и здоровой собственной тещей, написавшей письмо самому Сталину, желание сменить фамилию на "Кацманавт", поездка в Одессу за тамошними байками) — жизненны, узнаваемы, достаточно типичны. Не раз и не два возникает желание воскликнуть: "И со мной было то же самое!", рассказать свой анекдот — и вернуться к мендл-берловым "хохамм экстракласса". Сочный, ароматный, истинно еврейский дух, жизнелюбие и стремление к добру — основа этой отличной книги.

Спасибо тебе, еврейская судьба, швырявшая меня вместе с соплеменниками семибалльными штормами и выплеснувшая нас на светлый иерусалимский берег, за счастье познакомиться с замечательными творениями и их прекрасными авторами!

КНИГИ 1998 ГОДА

Книги, выпшедшие на русском языке в Израиле в 1998 году *

Аб Мише (Анатолий Кардаш). Посреди войны. Посвящения. Иерусалим: VERBA. - 216 с. А. Kardash, Pineles Str. 8 Apt 19, Jerusalem 93283

Альтман Вадим. Пусть Мекка далека. [Стихи]. Иерусалим: Скопус. - 72 с. Тел. 972-2-6432962.

Бальмина Рита. Стань Раком. [Стихи. Поэмы]. Тель-Авив: Библиотека Матвея Черного. 144 с.: ил. автора. Тел. 050-542966.

Белов Авраам. Рыцари иврита в бывшем Советском Союзе. , ил. - Иерусалим: ЛИРА. - 384 с. Р.О.В. 9681, Jerusalem 96750. Тел./факс 972-2-6433202.

Беркович Михаил. Деревня. Обл. Дмитрия Громана. - Иерусалим: ЛИРА. - 248 с.

Беседы о еврейской истории. [Эпоха Второго Храма]. Редактор-составитель Ицхак Гольденберг. Иерусалим: МИЛИ. - 288с. Тел. 972-2-5863230

Вейцман Марк. Репортаж из Эдема. [Стихи]. 126 с. Обл. Инги Пинус, Тель-Авив: Moria P. O. Box 3461, Kiriat Ben-Gurion, Holon. Тел. 972-3-5585826.

Векслер Ася. Под знаком Стрельца. Обл. автора. - Иерусалим: ЛИРА. - 80 с. Тел. 972-2-6420097

Венгер Хаим. Пророки в своем отечестве. Обл. Л. Юниверга. - Иерусалим: ЛИРА. - 352 с. Тел. 972-2-6766632

Викторова Елизавета. Я, Адриано Челентано. Иерусалим: Филобиблон. - 152 с.: ил.

Винер Юлия. О деньгах о старости о смерти и пр. [Стихи]. Обл. и рис. автора. Иерусалим: Алфавит. - 192 с. Тел. 972-2-6242949, 972-2-6231563

Войтовецкий Илья. Байки старого артиллериста. [Стихи]. Беэр-Шева: Издание автора - 56 с. Тел. 972-7-6432807.

Воловик Александр. Расскажите о своем народе. [Книга прозы]. Иерусалим: Издание автора. - 144 с. Тел. 972-2-5862333

Вольф Эфраим. Религиозный быт евреев. Иерусалим: Филобиблон. – 136 с.: ил Тел. 972-2-6769388.

Время искать. [Журнал литературы, истории, искусства, № 1]. Иерусалим: Альфабет. - 192 с. Тел. 972-2-6241372 (Амута «Тээна»).

Галесник Марк. Семь писем к Гуне. [Стихи]. Иерусалим: Бесэдер. - 8 с.: Тел. 972-2-570-13-13, факс 972-2-570-14-14

Галилея. [Литературно-художественный журнал №1]. Назарет-Илит: Марк Блюмин. - 254 с.

Гольдберг Юлия. Время милосердия. [Стихи.]. Тель-Авив: Библиотека Матвея Черного. Ил. Л. Максимов. - 192 с.

Гершзон Роман. Иерусалим: камни и люди. Иерусали: ЛИРА. - Ред. Е. Косоновская, дизайн - Л. Юниверг - 184 с.

Гладких Лев. Живые рукописи. [Пьесы] - Иерусалим: Скопус. - 200 с.

Гончарок Моше. Очерки по истории еврейского анархистского движения. [Идиш-анархизм]. Иерусалим: Проблемен. - 264 с.

Гринберг Семен. Разные вещи. [Стихи]. - Иерусалим: Скопус. - 96 с. Тел. 972-2-6567811

Губерман Игорь. Закатные Гарики. [Стихи последних лет]. - Иерусалим: Агасфер. 224 с.: Худ. Александр Окунь. Тел. 972-2-5833716, 424, Asher Gulak St. apt 19, Neve Yaakov, Jerusalem, E-mail: guberman@antho.net

Десять ступеней. Хасидские притчи. Сост. Мартин Бубер. Перевод с англ. М. Гринберга. Иерусалим - Москва: Гешарим. 2-е изд. - 152 с. Тел. 972-2-9931194

Дунаевский Д. Все, что связано с болью. [Стихи]. Перевод с иврита А. Воловика. Тел. 972-2-5862333

Завельская Евгения. Тысяча путников. [Стихи]. - Иерусалим: Скопус. - 112 с. Тел. 972-2-5850242

Зелигер Анатолий. Два Дон-Кихота. Обл. А. Кругляка. - Иерусалим: ЛИРА. - 96 с.

Камянов Борис. Параноев ковчег. [Стихи, пародии, эпиграммы]. - Иерусалим: Скопус. Обл: Александр Окунь. - 104 с. Тел. 972-2-6427147

Карив Аркан. Слово за слово. - Иерусалим: Бесэдер. Том 3., - 112 с.

Кедр. [Альманах поэзии и прозы, № 2]. Иерусалим: Мишмерет Шалом. 52 с.

Кнут Довид. Собр. соч. В 2-х томах / Вступит. ст. Д. Сегала; сост. и коммент. В. Хазана. - Иерусалим: Еврейский ун-т, 1997-1998. ; Т. 2. 719 с.: ил.

Левинзон Рина. Немного о многом. [Афоризмы].. Иерусалим - Екатеринбург: авторское издние. - 46 с. - Р. О. В.2162 Jerusalem 91021 тел 972-2-5862333

Любинский Александр. Фабула. Обл. Е. Любинской. - Иерусалим: ЛИРА. - 312 с. Тел. 972-2-6411966

Марговский Григорий. Сквозняк столетий. [Стихи]. Тель-Авив: Эвтерпа. 150 с. Рисунки Афанасия Мамедова. Тел. 972-3-6584362, E-mail: grisha_100@hotmail.com

Милецкий Авраам. Наплывы памяти: [Воспоминания]. Иерусалим: Филобиблон. - 228 с.: ил.

Михайличенко Елизавета, Несис Юрий. Иерусалимский дворянин. Иерусалим: Dixi.- 200с. Р.О.В. 33055 Jerusalem

Муха Рената. Гиппопоэма. [Стихи для бывших детей и будущих взрослых]. Пред. Эдуарда Успенского, посл. Игоря Губермана. Иерусалим: Бесэдер. Худ. Арсен Даниэль. - 32 с. Тел. 972-7-6433529

Поляков Лев. История антисемитизма. Совмест. изд. проект «Развитие иудаики на русском языке». Перевод с фр. под ред. проф. В. Порхоковского. В 2-х томах. Т II. Эпоха знаний. Москва - Иерусалим: Гешарим. - 446 с., ил.

Рожецкин Лев. Круги на воде. Иерусалим: Скопус. - 160 с.

"Роза ветров". [Альманах, №№ 6, 7]. Тель-Авив: Terra incognita. Тел.: 972-050-779623. Р.О.В. 1169, Tel-Aviv, 61010.

Рубина Дина. Последний кабан из лесов Понтеведре. [Испанская сюита]. (В книгу вошла также повесть "Камера наезжает"). Худ. Борис Карафелов. Иерусалим - Тель-Авив: Pilies Studio. - 288 с. Тел. 972-2-5352435@antho.net

Солнечное сплетение. [Журнал для молодёжи, №№ 1, 2, 3]. Иерусалим: Бесэдер. - 128 с., 96 с., 96 с.

Скомаровский Михаил. Черт. Иерусалим: ЛИРА - 176 с..

Супоницкий Юрий. Возвращаясь, всегда забываешь. [Стихи]. Назарет-Илит: авторское издание. 116 с. Тел. 972-52-812561

Ташлицкий Ефим. Стихи под гитару. Тель-Авив: авторское издание. - 96 с. Tashlitcky Efim, Gisot Hashirion Str., 8 Apt 2 Petakh Tikva 49405

Финкель Леонид. Эта еврейка Нефертити. Ашкелон: Илекниф. - 294 с.
Тел. 972-7-6724843, факс 6727504

Фишер Шошана. Всюду жизнь. Иерусалим ЛИРА. - 368 с., ил.

Хаенко Аркадий Комната смеха. [Детектив]. Тель-Авив: Иврус - 256 с.
Тел. 972-3-5440744

Халупович Вадим. Пристальное зрение.[Стихи]. Худ. Ася Векслер.
Иерусалим: ЛИРА. - 88 с.

Хесин Абрам. Наши следы. [Стихи]. Иерусалим: Ско-пус. - 240 с.

Ходасевич Владислав. Из еврейских поэтов. Москва - Иерусалим:
Гешарим. (Совместный издательский проект с Иерусалимским универ-
ситетом: «Развитие иудаики на русском языке»). Пред. Р. Тименчика.
Сост., вступит. статья и примеч. З.Копельман. - 408 с., ил.

Хромченко Яков. Берез весеннее вино. [Стихи]. Иерусалим: Скопус. - 96 с.

Цукерман Александр. Мир животных ТАНАХа. Рис. автора. Иерусалим:
Скопус. - 48 с. .

Шехтер Яков. Шахматные проделки бисквитных зайцев. [Повести.
Рассказы]. Тель-Авив: Библиотека Матвея Черного. - 220 с.: ил. Михаил
Стронгин. Тел. 972-8-9457588

Штурман Д., Тиктин С. Современники. Иерусалим: ЛИРА. - 480 с.

Шульц Бруно. Био-библиографический указатель. Иерусалим - Москва:
Гешарим. Совместно с ВГБИЛ. Сост. и вступит. статья
Н. Ф. Каменевой. - 136 с., ил.

Юдин Ефим. Я на них не похож. А ты? [Стихи для детей]. Рис. Ольга-
Авия Касьяненко, Николай Беззубов. Иерусалим: VERBA. - 48 с.
Тел/факс 972-9-7922201

*Публикация списка будет завершена во втором номере
"Иерусалимского журнала".

Заказать книги можно через редакцию журнала
или связавшись напрямую с авторами или издателями.

ИМЕНА

Бецалель, сын Ури, сына Хура из колена Иегуды. Резчик по металлу, камню и дереву во время скитаний израильтян в пустыне после исхода из Египта. Моше (Моисей) назначил его главой мастеров, соорудивших скинию, ковчег и священную утварь и изготавливавших одежды для священников. Именем Бецалеля названы в Иерусалиме Академия художеств и прикладного искусства и улица, на которой находится первое здание Академии, основанной в 1906 году.

Игорь Губерман родился в 1936 г. в Москве. Окончил столичный институт инженеров транспорта. Публикуется с 1962 г. Автор многочисленных научно-популярных статей и книг, а также сборников стихов и прозы. В 1979 – 1984 гг. продолжал писать, находясь в тюрьме, лагере, ссылке. В 1988 г. переехал в Израиль. Живет в Иерусалиме.

Давид, сын Ишая из Бейт-Лехема, второй царь Израиля. Царствовал 40 лет (1010 – 970 гг. до н. э.): семь с половиной лет был царём Иудеи (со столицей в Хевроне), затем 33 года – царем объединенного царства Иудеи и Израиля (со столицей в Иерусалиме). Плач Давида по Шаулю и Йонатану (книга Шмуэль, II, 1: 17 – 27) – один из лучших образцов древней ивритской поэзии. Еврейская и христианская традиции приписывают Давиду также авторство многих Псалмов. Имя Давида носят в Иерусалиме одна из центральных улиц, а также район (Ир Давид – "город Давида"), на месте которого была 3 тысячи лет назад основана столица еврейского государства.

Ави Дан родился в 1970 году в Москве. Жил в Магадане. Там же в 1992 году выпустил первый сборник стихов "Место происшествия". Репатриировался в 1992 г. В 1997 году выпустил сборник стихов "Fin de Siecle". Живёт недалеко от Иерусалима в поселении Эфрат.

Владимир Друк родился в 1957 году в Москве.

Там же в 1980 году завершил верхнее образование по специальности "Психология педагогики". Один из основателей Московского Поэтического клуба.

С 1994 года живет в Нью-Йорке. В 1987 году посетил с дружественным визитом Иерусалим.

Стихи Владимира Друка печатались по блату в те ещё времена в ташкентской газете "Пионер Востока", а также в многочисленных советских, российских, английских, немецких, французских, финских, румынских, бельгийских, польских, итальянских и американских литературных журналах, альманахах и сборниках, вошли в 3 антологии современной русской поэзии:

20th Century of Russian Poetry, Anthology, New York, Anchor Book, 1994;

Third Wave, Anthology, Michigan, The University Of Michigan Press, 1992;

The Poetry of Perestroika, Anthology, Manchester, UK, Iron-Press, 1991.

В Москве в 1991 году вышла книга стихов В. Друка "Нарисованное яблоко", а в 1992 – поэтический сборник "Коммутатор".

Владимир (Зезв) Жаботинский родился в 1880 г. в Одессе. Поэт, прозаик, драматург, переводчик и публицист, один из лидеров сионистского движения, идеолог и основатель ревизионистского (либерально-национального) течения в сионизме. Сделанный им в семнадцатилетнем возрасте перевод на русский язык стихотворения "Ворон" Э. По в свое время был признан лучшим. В 1898 – 1901 гг. корреспондент газет "Одесский Листок" и "Одесские новости" в Бёрне и в Риме. В 1904 г. перевёл на русский язык "Сказание о погроме" Х.-Н. Бялика. В 1911 г. основал издательство "Тургеман", выпускавшее в переводах на иврит лучшие произведения мировой литературы. В 1917-1918 гг. солдат, а затем офицер основанного по его инициативе Еврейского легиона, воевавшего в составе британской армии за освобождение Палестины, которая до Первой мировой войны была частью Османской империи. Постоянный сотрудник русскоязычного журнала "Рассвет", редактор выходившей на иврите газеты "Давар а-Йом". Автор написанных на русском языке романов "Самсон Назарей" (1926) и "Пятеро"

(1936). Перевел на иврит произведения Данте, Гёте, Ростана, Э. По.

Умер в 1940 г. в Нью-Йорке. В 1964 г., согласно завещанию Жаботинского, его останки перезахоронены в Иерусалиме. Именем Жаботинского названа одна из красивейших улиц столицы государства Израиль.

Евгения Завельская родилась в Ярославле. Жила и работала в Крыму, Сыктывкаре, Москве.

С 1993 г. живёт в Иерусалиме. Автор поэтических сборников "Праздник новорожденных" (Иерусалим, 1996) и "Тысяча путников" (Иерусалим, 1998).

Вита Иоффе родилась и выросла в Ташкенте. В 1980 г. переехала в Москву. Закончила Литинститут. Родила двух сыновей. Печаталась (под другой фамилией) в советских литературных журналах. Репатриировалась в 1991 году. Живет в Иерусалиме.

Елена Игнатовна родилась в Ленинграде.

С 1975 года постоянно публиковалась в изданиях русского зарубежья. Автор стихотворных книг: "Стихи о причастности" (Париж, 1976), "Теплая земля" (Ленинград, 1989), "Небесное зарево" (Иерусалим, 1992); "Книги о Петербурге" (Петербург, 1997), очерков и рассказов. Стихи включены в антологии русской поэзии XX века, переведены на разные языки.

С 1990 году переехала в Израиль. Живет в Бейт-Шемеше.

Григорий Канович родился в Каунасе в 1929 г. В Израиле – с 1993 г. Живет в Бат-Яме.

Дебютировал как поэт в 1954 г. книгой "Доброе утро". Выпустил четыре сборника стихотворений, девять романов о жизни литовского еврейства; автор двадцати пьес и пятнадцати сценариев художественных фильмов. В 1989-1993 гг. возглавлял еврейскую общину Литвы. За романы "Слезы и молитвы дураков", "И нет рабам рая" удостоен Национальной премии республики. За заслуги в области культуры награжден одним из высших орденов Литвы – орденом Гедиминаса. Книги переведены на одиннадцать языков и

вышли в свет общим тиражом свыше миллиона экземпляров.

Лауреат премии Союза писателей Израиля.

Арнольд Каштанов родился в 1938 г. По образованию – инженер. Автор более десятка книг прозы. Один из авторов российско-американской антологии "10 лучших рассказов". Вместе с В. Фридом написал несколько сценариев, по которым были поставлены художественные фильмы. Произведения писателя переведены на английский, немецкий и другие языки. После репатриации в Израиль живет и работает в Нетании.

Юлий Ким родился в 1936 г. в Москве. После ареста родителей покинул ее в 1938 г. на 16 лет, которые провел в Калужской области и в Туркмении. С 1954г. – коренной москвич. Закончил МГПИ, испытав сильное влияние Ю. Визбора и П. Фоменко, от которых, по словам писателя, и заразился страстью к писанию песен и пьес. Работал учителем в школе на Камчатке (3 года) и в Москве. В 1968 г. со школой расстался навеки по воле начальства, не простившего ему краткого участия в правозащитном движении. С тех пор – свободный художник.

Автор около 500 песен и трех десятков пьес, несколько из которых до сих пор идут в театрах СНГ. Автор 6 книг.

С 1998 г. живет в Иерусалиме.

Вениамин Клецель родился в 1932 году в городе Первомайске Одесской области. После службы в Советской армии окончил Ташкентское Художественное училище и художественное отделение Ташкентского Театрального института им А. Островского (1967). Жил и работал в Самаре. Репатрировался в 1990 году. Живёт в Иерусалиме. Картины художника находятся в музеях и частных коллекциях в России, Узбекистане, США, Израиле, Франции, Болгарии, Югославии и Южно-Африканской республике.

Игорь Коган родился в 1954 году в Харькове. Там же закончил университетский мехмат. Работал программистом, служил в Советской Армии. С 1980 года постоянный автор "Литературной газеты", "Недели", "Крокодила" (псевдоним – Игорь Савенко), В 1988 году " за лучший юмористический рассказ. удостоен первой премии журнала "Крокодил". (Вместе с Артом Бухвальдом и Расулом Гамзатовым, получившим аналогичную премию по другим номинациям). Рассказы писателя публиковались также в израильской, американской и германской периодике.

Репатриировался в 1991 году. В 1995 году в Израиле вышла книга рассказов "Свобода воли". Живет в Хайфе. Работает охранником.

Хава-Браха Корзакова родилась в 1969 году в Ленинграде. Закончила филфак ЛГУ. Репатриировалась в 1991 г. Автор четырех поэтических сборников, один из которых ("Я поднимаюсь", 1994) составили стихи, написанные по-русски. Стихи, составившие три остальных сборника, написаны на иврите. За книгу стихов "На краю луны" (1996) удостоена премии Министерства просвещения, за книгу стихов "Полосатая рубашка" (1998) – премии главы правительства им. Леви Эшколя.

Докторант Тель-Авивского университета Бар-Илан. Живет в Иерусалиме.

Елена Косоновская родилась в Ташкенте. По профессии – редактор. Репатриировалась в 1991 году. В 1996 году основала издательство ЛИРА, в котором за последние три года вышли в свет около сорока художественных и научно-популярных книг.

Живет и работает в Иерусалиме.

Леонид Левинзон родился в 1958 году на Украине. Школу закончил в городе Североморске Мурманской области. Медицинское образование получил в Ленинграде. Уехал в Израиль в 1991 году. Первая публикация в журнале "22" в 1994 году. В 1997 году выпустил книгу, куда вошли роман

"Ленинград-Иерусалим", повесть "Коми-Африка" и десять рассказов.

Живет в Иерусалиме. Работает в университетском медицинском центре «Хадасса».

Александр Окунь родился в 1949 г. в Ленинграде. Репатриировался в 1979 г. Преподает рисунок в академии Бецалель. Вместе с Игорем Губерманом ведет на радио РЭКА еженедельную передачу "Восемь с половиной". Публиковался в журналах "22" и "Время и мы". Живет в Иерусалиме.

Наталья Рубинштейн родилась в Ленинграде. Литературовед, критик, автор многочисленных статей в российской зарубежной и постсоветской периодике. Репатриировалась в 1973 г. Участвовала в основании израильского литературного журнала "22". Радиожурналист русской редакции Би Би Си.

Владимир Фромер (Зеев Бар-Ам) – журналист, писатель, историк, сотрудник радиостанции РЭКА. В Израиле с 1967 года.

Участник войны Судного дня. Публиковался в журналах "Континент", "22", "Рош Ходеш", "Алеф", "Взгляд на Израиль". Автор ставшего бестселлером двухтомника "Хроники Израиля".

Живет в Иерусалиме.

Авигдор Шахан – известный израильский педагог. Главная, (если не единственная) тема его литературного творчества – Иерусалим.

Светлана Шенбрунн родилась в Москве. Училась на высших сценарных курсах. Репатриировалась в 1975 г. Автор двух книг прозы. Перевела на русский язык произведения Шая Агнона, Амоса Оза, Ицхака Орена и других израильских прозаиков и драматургов. Живет в поселении Гиват-Зеев недалеко от Иерусалима.

Авраам-Иегошуа Элинсон (А. Белов) родился в 1911 г. в Могилеве (Белоруссия). Автор исторических научно-художественных книг, переведенных на многие языки мира. Перевел с иврита на русский язык произведения Шолом-Алейхема и современных израильских писателей и добился их публикации в Советском Союзе еще в 60-е годы. Переводил также с идиш, белорусского и арабского. В 1974 г. в связи с выездом в Израиль был исключен из Союза писателей СССР. Перевел романы, повести и рассказы и воспоминания Шая Агнона, Иегуды Бурла, Шауля Авигура, Арона Магеда, Муни Мардора и других авторов, опубликованные на русском языке в Израиле. Живет в Иерусалиме.

СОДЕРЖАНИЕ

ЛЬВИНЫЕ ВОРОТА

АВИ ДАН Библиотека ничейного пользования. Стихи	4
ЕЛЕНА ИГНАТОВА. Педивер. Правдивый рассказ о том, как некий рыцарь.....	9
ЕВГЕНИЯ ЗАВЕЛЬСКАЯ. На площадях белого света. Стихи ..	37
АВИГДОР ШАХАН. Иерусалим небесный. Рассказ. <i>Перевод Светланы Шенбрун</i>	43
ВИТА ИОФФЕ. Акула. Повесть	44
ИГОРЬ ГУБЕРМАН. И вышло все, как если бы спросили... Стихи	81
ЮЛИЙ КИМ. Из иерусалимской тетради. Стихи	87
ЛЕОНИД ЛЕВИНЗОН Полёт. Рассказы	90

ЯФФСКИЕ ВОРОТА

ГРИГОРИЙ КАНОВИЧ. Eskadron zyдовsky.	
Глава из романа "шелест срубленных деревьев"	99

ШХЕМСКИЕ ВОРОТА

ИГОРЬ КОГАН. Дрозды правления. Рассказы	112
---	-----

АМЕРИКАНСКАЯ КОЛОНИЯ

ВЛАДИМИР ДРУК. Второе Яблоко. Стихи	144
---	-----

УЛИЦА ЖАБОТИНСКОГО

АЛЕКСАНДР ОКУНЬ. Римские каникулы. Записки художника	150
ВЛАДИМИР ФРОМЕР. Иерусалим – "Москва – Петушки"	159

ГОРОД ДАВИДА

ХАВА-БРАХА КОРЗАКОВА. Загадка двадцатого псалма	176
---	-----

УЛИЦА БЕЦАЛЕЛЬ

МИХАИЛ МЕЛЬЦЕР. Художник Вениамин Клецель	212
---	-----

ПОДЗОРНАЯ ГОРА

АРНОЛЬД КАШТАНОВ. Успех как эстетический феномен	223
Два взгляда на поэта	
ЛЕВ АННИНСКИЙ. "Я влюбился в христианку..."	251
БОРИС РАСКОВСКИЙ. "И не где-нибудь, а тут"	253

НОВЫЕ ВОРОТА

НАТАЛЬЯ РУБИНШТЕЙН. Комментарии к сновидениям	256
ГРИГОРИЙ КАНОВИЧ. Знакомьтесь – "Волчонок Итро"	259
БОРИС ПРИВИН. Сон длиною в жизнь	263
АВРААМ ЭЛИНСОН. Неиссякающий родник	266
ЕЛЕНА КОСОНОВСКАЯ. Три судьбы	270

Книги 1998 года	273
------------------------------	-----

ИМЕНА	277
--------------------	-----

Contents

Lion Gate

Avi Dan. Library of Nobody's Use. Verses.

Elena Ignatova. Pediver. A True Story of One Knight, Who...

Evgeniya Zavel'skaya. In the Squares of the Wide World. Verses

Avigdor Shakhman. Jerusalem Celestial. Short Story. Translated by Svetlana Shenbrunn

Vita Yoffe. The Shark. Novelette.

Igor Guberman. And Everything Turned out as if Agreed Before...

Verses Yuli Kim. From *Jerusalem Notebook*. Verses

Leonid Levinson. Flight. Short Stories

Jaffa Gate

Gregory Kanovich. Eskadron Zydovsky. From the novel *Rustle of Felled Trees*

Shkhem Gate

Igor Kogan. Managing Thrushes. Short Stories

American Colony

Vladimir Druk. The Second Apple. Verses

Zhabotinsky Street

Alexandr Okun. Roman Holidays. Artist's Notes

Vladimir Fromer. Jerusalem – "Moscow – Petushki"

City of David

Chava Korzakova. The Enigma of the Twentieth Psalm

Betzalel Street

Michael Meltzer. Benjamin Kletzel, an artist

Mount Scopus

Arnold Kashtanov. Success as an Aesthetic. Phenomenon

Lev Anninsky. "I am in Love with a Christian Girl..."

Boris Raskovsky. "Just Here, Not Elsewhere"

New Gate

Natalia Rubinstein. Comments to Dreams

Gregory Kanovich. Meet "Itro, the Wolf Cub"

Boris Privin. A Dream as Long as a Life

Avraam Elinson. A Magic Spring

Elena Kosonovskaya. Three Destinies

Books of the Year 1998

Names

תוכן הענינים:

שער האריות

אבי דן. הספריה ללא שימוש. שירה
הלנה איגנטוב. פדיוור. סיפור אמיתי על אביר אלמוני...
יבגניה זבלסקי. על כיכרות העולם. שירה
אביגדור שחן. ירושלים של מעלה. סיפור. בתרגום סבטלנה
שנברון **ויטה יופה.** הכריש. סיפור
איגור גוברמן. ויצא כמו לפי הבקשה. שירה
יולי קיס. מתוך המחברת הירושלמית. שירה
לאוניד לוינזון. מעוף. סיפורים קצרים

שער יפו

גרגורי קנוביץ'. Eskadron zydovsky . פרק מרומן

שער שכם

איגור קוגן. מושכות השלטון סיפורים קצרים

המושבה האמריקאית

ולדימיר דרוק. התפוח השני. שירה

רחוב ז'בוטינסקי

אלכסנדר אוקון. חופשה ברומא. רשומות של צייר
ולדימיר פרומר. ירושלים - "מוסקבה - פטוּסקי"

עיר דוד

חוה-ברכה קורזקוב. חידת ספר תהילים, כ'.

רחוב בצלאל

מיכאל מלצר. בנימין קלצל, אומן

הר הצופים

ארנולד קשטנוב. הצלחה כפנומנה אסטטית
לב אנינסקי. "התאהבתי בנוצריה"
בוריס רסקובסקי. "לא אי שם אלא כאן"

שער החדש

נטליה רובינשטיין. פרשנות לחלומות
גרגורי קנוביץ'. תכירו - "זאב יתרו"
בוריס פריבין. חלום ארוך כחיים
אברהם אלינסון. מעיין איתן לעד
הלנה קוסונובסקי. שלושה גורלות

ספרי שנת 1998

שמות

כתב-עת ירושלמי

1. 1999

רבעון אמנותי
ספרות ישראלית בשפה הרוסית

אגודת הסופרים כותבי רוסית במדינת ישראל
עמותה "אנתולוגיה ירושלמית"

מערכת:

איגור ביאלסקי (עורך ראשי), סמיון גרינברג, רומן
טימנצ'יק, זינאידה פלבנוב, דינה רובין, סבטלנה שנבורן.

מזכיר- לאוניד לוינזון
ציירת - סוסנה צ'רנוברוב

הוצאות לאור:
"ארוע", "סקופוס".

בתמיכת המרכז לקליטת אמנים עולים,
משרד לקליטת העליה,
משרד החינוך התרבות והספורט,
מחלקת תרבות ורשות הקליטה של עיריית ירושלים
והפורום הציוני.

1999 כל הזכויות שמורות © "כתב-עת ירושלמי"

ISBN 965-7129-01-X

כתובת: "כתב-עת ירושלמי"
ת.ד. 32297, ירושלים 91322
טל. 02-6720025, 02-6434005

